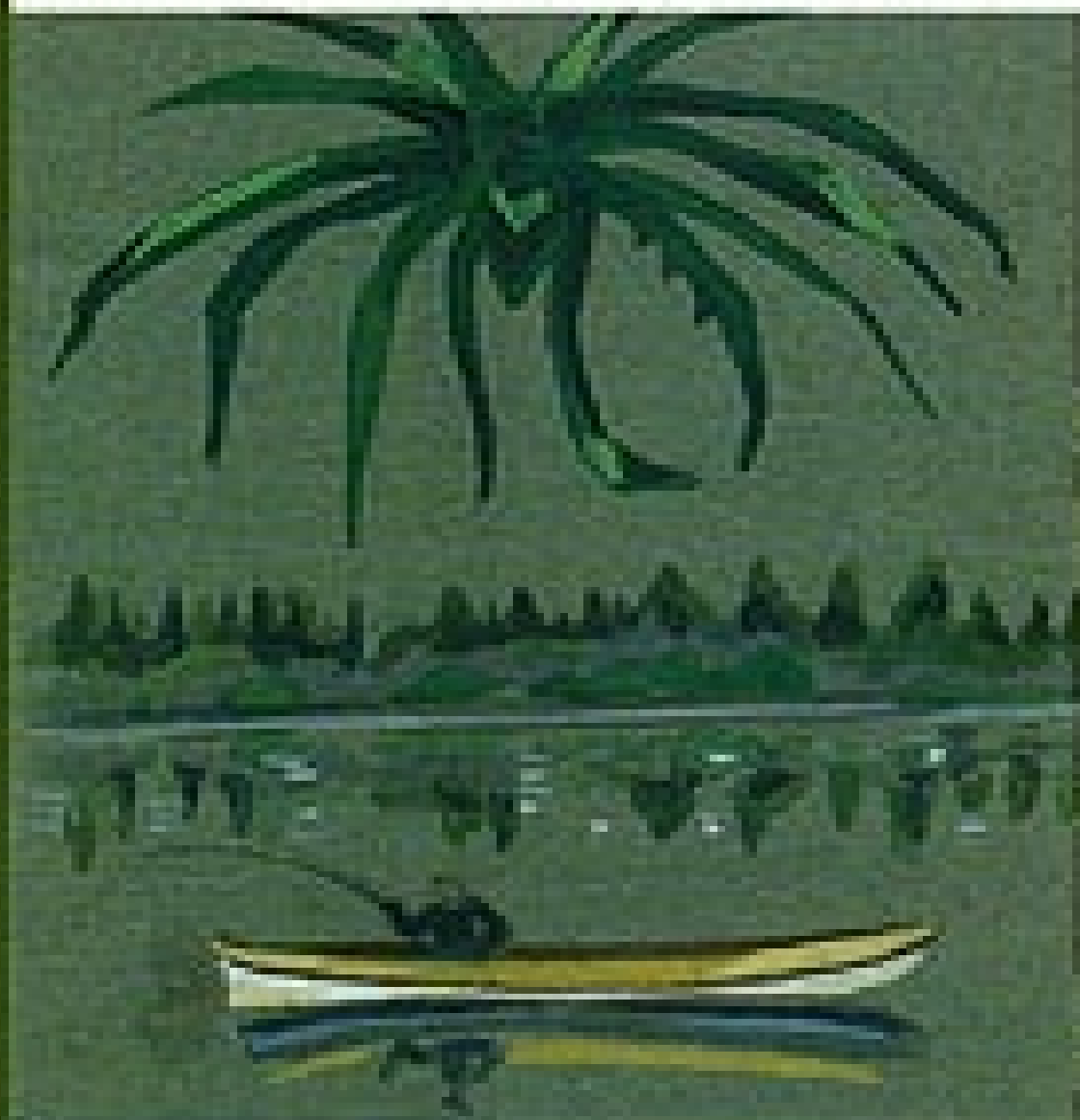


САМАЯ ЛЕГКАЯ ЛОДКА В МИРЕ



ИФ
«ГЕШКИНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА»
АСТ
АСТРЕЛЬ

ЮРИЙ
КОВАЛЬ

Д
В
А
Н
Д
К
О
В
А
Л
Ь

Annotation

В этот том прекрасного писателя Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995) входят циклы рассказов «Листобой», «Чистый Дор», а также замечательное произведение «Самая легкая лодка в мире».

Выдающийся поэт Арсений Александрович Тарковский написал об этом произведении: «Самая легкая лодка в мире» – вещь необычного жанра. В ней есть мечта и в ней есть сказка, а сказка, которая живет в нас с детства, никогда не умирает.

- [Юрий Коваль](#)
 - [«Магический кристалл» прозы Коваля](#)
 - [Листобой](#)
 - [Капитан Клюквин](#)
 - [Серая ночь](#)
 - [Лабаз](#)
 - [Лесник Булыга](#)
 - [Белозубка](#)
 - [Нулевой класс](#)
 - [У Кривой сосны](#)
 - [Картофельная собака](#)
 - [Гроза над картофельным полем](#)
 - [Листобой](#)
 - [Найда](#)
 - [По чернотропу](#)
 - [Веер](#)
 - [Ночные налимы](#)
 - [Шакалок](#)
 - [Кольшки](#)
 - [Снежура](#)
 - [Лось](#)
 - [Листья](#)
 - [Кувшин с листобоем](#)
- [Чистый Дор](#)
 - [По лесной дороге](#)
 - [Чистый Дор](#)
 - [Стожок](#)
 - [Весенний вечер](#)
 - [Фиолетовая птица](#)
 - [Под соснами](#)
 - [Около войны](#)

- [Березовый пирожок](#)
- [Лесовик](#)
- [Железяка](#)
- [Вишня](#)
- [Колобок](#)
- [Картофельный смысл](#)
- [Кепка с карасями](#)
- [Нюрка](#)
- [Бунькины рога](#)
- [Выстрел](#)
- [Вода с закрытыми глазами](#)
- [Клеенка](#)
- [По-черному](#)
- [Подснежники](#)
- [Последний лист](#)
- [Самая лёгкая лодка в мире](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
 - [Глава XIII](#)
 - [Глава XIV](#)
 - [Глава XV](#)
 - [Глава XVI](#)
 - [Глава XVII](#)
 - [Глава XVIII](#)
 - [Глава XIX](#)
 - [Глава XX](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)

- [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
 - [Глава XIII](#)
 - [Глава XIV](#)
 - [Глава XV](#)
 - [Глава XVI](#)
 - [Глава XVII](#)
 - [Глава XVIII](#)
 - [Глава XIX](#)
 - [Глава XX](#)
 - [Глава XXI](#)
 - [Глава XXII](#)
 - [Глава XXIII](#)
 - [Глава XXIV](#)
 - [Глава XXV](#)
 - [Глава XXVI](#)
 - [Глава XXVII](#)
 - [Глава XXVIII](#)
 - [Глава XXIX](#)
 - [Глава XXX](#)
 - [Глава XXXI](#)
 - [Глава XXXII](#)
 - [Глава XXXIII](#)
 - [Глава XXXIV](#)
-

Юрий Коваль

Самая легкая лодка в мире

(сборник)

«Магический кристалл» прозы Коваля

Замечено: с появлением на вашем столе прозрачно-сияющей пирамидки – «магического кристалла» – в доме многое меняется. Воздух как будто становится чище, настроение – лучше. А законный мир неожиданно расширяется...

Так бывает и когда вы вносите в дом книгу прозы Юрия Коваля.

Сколько граней у прозы Коваля?

Ровно на все четыре стороны света.

Природа.

Люди.

Зверье и всяческие там рыбы-птицы.

Ну и, конечно же, сам автор. Его яростно-яркое «Я».

Первая грань – циклы рассказов «Чистый Дор», «Листобой» и «Кепка с карасями». Вторая – повести «Приключения Васи Куролесова», «Пять похищенных монахов». Третья – «Пограничный пес Алы́й», «Недопесок», «От Красных ворот», «Капитан Клюквин», «Картофельная собака», «Полынные сказки» и многие другие.

Многогранна сама жизнь в прозе Коваля, неожиданна и достоверна во всех его проявлениях. В стогу сена въезжает на санях в деревню зазимовавший медведь; на картофельном складе объявляется пес прямо-таки с человеческим чувством юмора; человек играет на гитаре, а прирученная им птица сидит на грифе и подпевает; деревенская ворона «влюбляется» в жену тракториста; мальчик делает бабочку из бумаги, чтобы почувствовать «материальность» воздуха. Список обыкновенных чудес в книжках Коваля можно продолжать до бесконечности: сосны у него – медные трубы отбушевавшей войны; с наступлением зимы вода не замерзает, а просто на время закрывает глаза. Проницающий взгляд писателя способен различить и «колеса» – энергетические поля – вокруг наших голов: у людей получше – посветлее, похуже – потемнее.

И все это – увиденное, услышанное, пережитое – переливается и переплетается в «магическом кристалле» писателя, преломляется то в смешное, то в грустное... Завораживает какой-то особенной, хрустальной чистотой и глубиной. Волшебство еще и в том, что его житейский опыт копился как бы сам собой: учитель в сельской глубинке, прирожденный рыбак и заядлый охотник... Странствующий – с блокнотом и этюдником – художник.

Неудивительно, что отблески четвертой грани – его «Я» – все еще живут в сердцах и глазах знавших его людей.

О, как он пел!

И как играл на гитаре...

Как говорил и рассказывал...

Как смеялся!

Как...

К счастью, «магический кристалл» его прозы не имеет земных пределов. Вглядитесь, вглядитесь в него внимательно, дорогие читатели. Вглядитесь, и вы

увидите, как из солнечного сгустка навстречу вам выплывет его реальная и фантастическая, его самая легкая лодка в мире!

Леонид Мезинов

Капитан Клюквин

На Птичьем рынке за три рубля купил я себе клеста.

Это был клест-сосновик, с перьями кирпичного и клюквенного цвета, с клювом, скрещенным, как два кривых костяных ножа.

Лапы у него были белые, – значит, сидел он в клетке давно. Таких птиц называют «сиделый».

– Сиделый, сиделый, – уверял меня продавец. – С весны сидит.

А сейчас была уже холодная осень. Над Птичьим рынком стелился морозный пар и пахло керосином. Это продавцы тропических рыбок обогревали аквариумы и банки керосиновыми лампами.

Дома я поставил клетку на окно, чтоб клест мог поглядеть на улицу, на мокрые крыши сокольнических домов и серые стены мельничного комбината имени Цюрупы.

Клест сидел на своей жердочке торжественно и гордо, как командир на коне.

Я бросил в клетку семечко подсолнуха.

Командир соскочил с жердочки, взмахнул клювом – семечко разлетелось на две половинки. А командир снова взлетел на своего деревянного коня, пришпорил и замер, глядя вдаль.

Какой удивительный у него клюв – крестообразный. Верхняя часть клюва загнута вниз, а нижняя – вверх. Получается что-то вроде буквы «Х». Этой буквой «Х» клест лихо хватает подсолнух – трах! – шелуха в стороны.

Надо было придумать клесту имя. Мне хотелось, чтоб в имени был отмечен и его командирский нрав, и крепкий клюв, и красный цвет оперения.

Нашлось только одно слово, в котором есть и клюв и красный цвет, – клюква.

Подходящее слово. Жаль только, нет в клюкве ничего командирского. Я долго прикидывал так и эдак и назвал клеста – Капитан Клюквин.

Всю ночь за окном слышен был дождь и ветер.

Капитан Клюквин спал беспокойно, встряхивался, будто сбрасывал с перьев капли дождя.

Его настроение передалось мне, и я тоже спал неважно, но проснулся все же пораньше, чтобы послушать утреннюю песню Капитана.

Рассвело. Солнечное пятно еле наметилось в пасмурных облаках, низко бегущих над крышей мелькомбината.

«Цик...» – услышал я.

Потом еще:

«Цик, цик...»

«Убогая песня, – думал я. – „Цик“, и все. Маловато».

Почистив перья, Капитан Клюквин снова начал цикать. Вначале медленно и тихо, но после разогнался и кончил увесисто и сочно: «Цок!»

Новое колено в песне меня порадовало, но Капитан замолчал. Видно, он переживал, выдерживал паузу, прислушивался к песне, которая, так сказать, зрела у него в груди.

Впрочем, и настоящие певцы-солисты не сразу начинают кричать со сцены.

Настоящий солист-вокалист постоит немного, помолчит, прислушается к песне, которая зреет в груди, и только потом уж грянет: «Люблю я макарону!..»

Капитан помолчал, поглядел задумчиво в окно и запел.

Песня началась глухо, незаметно. Послышался тихий и печальный звук, что-то вроде «тиуууу-лиууу». Звук этот сменился задорным посвистом. А после зазвенели колокольчики, словно от жаворонка, трели и рулады, как у певчего дрозда.

Капитан Клюквин был, оказывается, настоящий певец, со своей собственной песней.

Все утро слушал я песню клеста, а потом покормил его подсолнухами, давленными кедровыми орехами и коноплей.

Пасмурная осень тянулась долго. Солнечных дней выпадало немного, и в комнате было тускло. Только огненный Капитан Клюквин веселил глаз.

Красный цвет горел на его перьях. А некоторые были оторочены оранжевым, напоминали осенние листья. На спине цвет перьев вдруг становился зеленый, лесной, моховой.

И характер у Капитана был веселый. Целый день прыгал он по клетке, расшатывал клювом железные прутья или выламывал дверцу. Но больше всего он любил долбить еловые шишки.

Зажав в когтях шишку, он вонзал клюв под каждую чешуйку и доставал оттуда смоляное семечко. Гладкая, оплывшая смолой шишка становилась похожей на растрепанного воробья. Скоро от нее оставалась одна кочерыжка. Но и кочерыжку Капитан долбил до тех пор, пока не превращал в щепки.

Прикончив все шишки, Капитан принимался долбить бузинную жердочку – своего деревянного коня. Яростно цокая, он смело рубил сук, на котором сидел.

Мне захотелось, чтоб Клюквин научился брать семечки из рук.

Я взял семечко и просунул его в клетку. Клюквин сразу понял, в чем дело, и отвернулся.

Тогда я сунул семечко в рот и, звонко цокнув, разгрыз его. Удивительно посмотрел на меня Капитан Клюквин. Во взгляде его были и печаль, и досада, и легкое презрение ко мне.

«Мне от вас ничего не надо», – говорил его взгляд.

Да, Капитан Клюквин имел гордый характер, и я не стал с ним спорить, сдался, бросил семечко в кормушку. Клест мигом разгрыз его.

– А теперь еще, – сказал я и просунул в клетку новое семечко.

Капитан Клюквин цокнул, вытянул шею и вдруг схватил семечко.

С тех пор каждый день после утренней песни я кормил его семечками с руки.

Осень между тем сменилась плохонькой зимой. На улице бывал то дождь, то снег, и только в феврале начались морозы. Крыша мелькомбината наконец-таки покрылась снегом.

Кривоклювый Капитан пел целыми днями, и песня его звучала сочно и сильно.

Один раз я случайно оставил клетку открытой.

Капитан сразу вылез из нее и вскарабкался на крышу клетки. С минуту он подбадривал себя песней, а потом решил лететь. Пролетев по комнате, он опустился

на стеклянную крышку аквариума и стал разглядывать, что там делается внутри, за стеклом.

Там под светом рефлектора раскинулись тропические водоросли, а между ними плавали королевские тетры – темные рыбки, рассеченные золотой полосой.

Подводный мир заворожил клеста. Радостно цокнув, он долбанул в стекло кривым клювом. Вздрогнули королевские тетры, а клест полетел к окну.

Он ударился головой о стекло и, ошеломленный, упал вниз, на крышу клетки...

В феврале я купил себе гитару и стал разыгрывать пьесы старинных итальянских композиторов. Чаще всего я играл Пятый этюд Джульяни.

Этот этюд играют все начинающие гитаристы. Когда его играешь быстро, звуки сливаются, и выходит – вроде ручеек журчит. У меня ручейка не получалось; вернее, тек он слишком уж медленно, но все-таки дотекал до заключительного аккорда.

Капитан Клюквин отнесся к моей игре с большим вниманием. Звуки гитары его потрясли. Он даже бросил петь и только изредка восхищенно цокал.

Но скоро он перешел в наступление. Как только я брал гитару, Клюквин начинал свистеть, стараясь меня заглушить.

Я злился и швырял в клеста пустыми шишками или загонял его в клетку, а клетку накрывал пиджаком. Но и оттуда доносилось злое цыканье Капитана.

Когда я выучил этюд и стал играть его получше, Клюквин успокоился. Он пел теперь тише, принаравливаясь к гитаре.

До этого мне казалось, что клест поет бестолково и только мешает, но, прислушавшись, я понял, что Капитан Клюквин украшает мою игру таинственными, хвойными, лесными звуками.

Конечно, выглядело все это не так уж прекрасно – корявая игра на гитаре сопровождалась кривоносым пением, но я пришел в восторг и мечтал уже выступить с Капитаном в Центральном доме детей железнодорожников.

Теперь ручеек потек более уверенно, и Капитан Клюквин добавлял в него свежую струю.

Он не любил повторяться и всякий раз пел новую песню. Иногда она бывала звонкой и радостной, иногда – печальной.

А я по-прежнему пилил одно и то же.

Каждый день перед заходом солнца Капитан вылетал из клетки, усаживался на аквариум и, пока я настраивал гитару, легонько цокал, прочищая горло.

Солнце постепенно уходило, пряталось за мелькомбинатом, и в комнате становилось сумеречно, только светился аквариум. В сумерках Клюквин пел особенно хорошо, душевно.

Мне нравились наши гитарные вечера, но хотелось, чтоб клест сидел ко мне поближе, не на аквариуме, а на грифе гитары.

Как-то после утренней песни я не стал его кормить. Капитан Клюквин вылетел из клетки, обшарил шкаф и письменный стол, но не нашел даже пустой ольховой шишечки. Голодный и злой, он попил из аквариума и вдруг почувствовал запах смолы.

На гитаре, что висела на стене, за ночь выросла шишка, как раз на грифе, на том самом месте, где находятся колки для натягивания струн. Шишка была свежая, от нее

крепко пахло смолой.

Капитан взлетел и, вцепившись в шишку когтями, стал отдирать ее от грифа. Однако шишка – хе-хе! – была прикручена проволокой. Пришлось долбить ее на месте.

Подождав, пока клест хорошенько вгрызется в шишку, я стал осторожно снимать с гвоздя гитару.

Капитан зарычал на меня.

Отделив гитару от стены, я плавно повлек ее по комнате и через минуту сидел на диване. Гитара была в руках, а на грифе трещал шишкой Капитан Клюквин.

Левая рука моя медленно поползла по грифу, все ближе подбираясь к шишке. Капитан сердито цокнул, подскочил ко второму ладу и ущипнул меня за палец. Раздраженно помахав крыльями, он пошел пешком по грифу доколупывать свою шишку.

Ласково взял я первую ноту – задрезжала шишка, а клест подпрыгнул и зацокал громко и радостно, как лошадь копытами по мостовой.

Оканчивался месяц март.

С крыши мелькомбината свешивались крупные сосульки, облепленные мукой.

В хорошую погоду я выставлял клетку на балкон, и Капитан Клюквин весь день дышал свежим воздухом, пел, клевал снег и сосульки.

На звук его голоса залетали синицы-московки. Они клевали коноплю и сало в кормушках, пересвистываясь с Капитаном.

Иногда синицы садились на крышу клетки и начинали дразнить клеста, сыпали на него снег и тинькали в самое ухо.

Клюквин реагировал на синиц по-капитански. Он воинственно цокал, стараясь ухватить москovicку за ногу.

Синицы увертывались и хохотали.

Но вот солнце стало припекать как следует, сосульки растаяли. С крыши мелькомбината рабочие скидывали старый серый снег.

Тепло подействовало на Капитана неважно. С кислым видом сидел он на жердочке, и я прикрывал его от солнца фанеркой. И синицы стали наводить на него уныние. С их прилетом Клюквин мрачнел, прятал голову в плечи и бросал петь. А когда они улетали, выпускал вдогонку звонкую трель.

В комнате он чувствовал себя даже лучше: аквариум, шишки, гитара – милая, привычная обстановка. По вечерам мы играли Пятый этюд Джульяни и глядели на аквариум, как там течет подводная жизнь в тропиках.

В середине апреля Клюквин совсем захандрил. Даже шишки он долбил теперь не с таким яростным интересом.

«Что ж, – думал я, – ему не хватает леса, воздуха. Понесу его в парк, в Сокольники».

В воскресенье отправились мы в парк.

В тени, окруженный елками, Клюквин оживился: пел, прыгал по клетке, глядел на макушки деревьев. На свист его подлетали воробьи, подходили поздние лыжники, еле бредущие последним снегом.

Но дома Клюквин скис, вечером даже не вылетел из клетки посидеть на

аквариуме – напрасно разыгрывал я Пятый этюд Джульяни.

«Дела неважные, – думал я. – Придется, видно, отпустить Капитана».

Но отпускать его было опасно. Слишком долго просидел Клюквин в клетке. Теперь он мог погибнуть в лесу, от которого отвык.

«Ладно, – решил я, – пусть сам выбирает».

И вот я устроил в комнате ярмарку: развесил под потолком гирлянды еловых и ольховых шишек, кисти калины и рябины, связанные вениками, повсюду натыкал еловых веток.

Капитан Клюквин следил за мною с интересом. Он весело цокал, удивляясь, видно, моей щедрости.

Потом я вынес клетку на балкон, повесил ее на гвоздик и открыл дверцу. Теперь Клюквин мог лететь в комнату, где раскачивались под потолком шишки, где светился аквариум.

Капитан Клюквин вышел на порог клетки, вскарабкался на ее крышу, клюнул зачем-то железный прут и... полетел.

С высокого седьмого этажа он полетел было вниз, к мельничному комбинату имени Цюрупы, потом резко повернул, набрал высоту. Мелькнули красные крылья – и Капитан пропал, улетел за наш дом, за пожарную каланчу, к сокольническому лесу.

Всю весну не снимал я клетку с гвоздя на балконе, а в комнате сохли под потолком связки калины и рябины, гирлянды шишек.

Стояли теплые майские дни. Каждый вечер я сидел на балконе и наигрывал Пятый этюд Джульяни, ожидая Капитана Клюквина.

Серая ночь

Стало смеркаться.

Над тайгой, над сумрачными скалами, над речкой с плещущим названием Вёлс взошел узенький лисий месяц.

К сумеркам поспела уха. Разыскавши в рюкзаках ложки, мы устроились вокруг ведра, выловили куски хариуса и отложили в отдельный котелок, чтоб хариус остывал, пока будем есть уху.

– Ну, Козьма да Демьян, садитесь с нами!

Длинной можжевелевой ложкой я пошарил в глубине ведра – рука по локоть ушла в пар. Выловил со дна картошки и рыбьих потрохов – печенки, икры, – потом зачерпнул прозрачной юшки с зеленой пеной.

– Ну, Козьма да Демьян, садитесь с нами! – повторил Леша, запуская свою ложку в ведро.

– Садитесь с нами, садитесь с нами, Козьма да Демьян! – подтвердили мы.

Но в наших городских голосах не было уверенности, что сядут за уху Козьма да Демьян, а Леша сказал так, будто они его слышат.

Костер мы разложили на низком берегу Велса. Наш берег весь завален грязными льдинами. Они остались от половодья – не успели потаять. Вот льдина, похожая на огромное ухо, а вот – на гриб груздь.

– Кто же это такие – Козьма да Демьян? – спросил Петр Иваныч, который в первый раз попал в уральскую тайгу.

Уху Петр Иваныч ест осторожно и почтительно. Голова его окутана паром, в очках горят маленькие костры.

– Это меня старые рыбаки научили, – ответил Леша. – Будто есть такие Козьма да Демьян. Они помогают хариуса поймать. Козьму да Демьяна на уху звать надо, чтоб не обиделись.

По часам уже полночь, а небо не потемнело, осталось ясным, сумеречным, и месяц добавил в него холода и света.

– Это, наверно, белая ночь, – задумчиво сказал Петр Иваныч.

– Белые ночи начнутся позже, – ответил Леша. – Они должны быть светлее. Для этой ночи названья нет.

– Может быть, серебряная?

– Какая там серебряная! Серая ночь.

Подстелив на землю лапника, мы разложили спальные мешки, прилегли. Я уткнулся головой в подножие елки. Нижние ветки ее засохли, на них вырос лишай и свисает к костру, как пакля, как мочало, как белая борода.

Неподалеку, за спиной у меня, что-то зашуршало.

– Серая ночь, – задумчиво повторил Петр Иваныч.

– Серая она, белая или серебристая, все равно спать пора.

Что-то снова зашуршало за спиной.

Уха так разморила, что лень повернуться, посмотреть, что это шумит. Я вижу месяц, который висит над тайгой, – молодой, тоненький, пронзительный.

– Бурундук! – вдруг сказал Леша.

Я оглянулся и сразу увидел, что из-за елки на нас смотрят два внимательных ночных глаза.

Бурундук высунул только голову, и глаза его казались очень темными и крупными, как ягода гонобобель.

Посмотрев на нас немного, он спрятался. Видно, на него напал ужас: кто это такие сидят у костра?!

Но вот снова высунулась глазастая головка. Легонько свистнув, зверек выскочил из-за елки, пробежал по земле и спрятался за рюкзаком.

– Это не бурундук, – сказал Леша, – нет на спине полосок.

Зверек вспрыгнул на рюкзак, запустил лапу в брезентовый карман. Там была веревка. Зацепив когтем, он потянул ее.

– Пошел! – не выдержал я.

Подпрыгнув к елке, он вцепился в ствол и, обрывая когтями кусочки коры, убежал вверх по стволу, в густые ветки.

– Кто же это? – сказал Петр Иванович. – Не белка и не бурундук.

– Не знаю, – сказал Леша. – На соболя не похож, на куницу тоже. Я такого, пожалуй, не видал.

Серая ночь еще просветлела. Костер утих, и Леша поднялся, подбросил в него сушину.

– Зря ты его шуганул, – сказал мне Петр Иванович. – Он теперь не вернется.

Мы смотрели на вершину елки. Ни одна ветка не шевелилась. Длинные искры от костра летели к вершине и гасли в светлом сером небе.

Вдруг с вершины сорвался какой-то темный комок и раскрылся в воздухе, сделавшись угловатым, четырехугольным. Перечеркнув небо, он перелетел с елки на елку, зацепив месяц краешком хвоста.

Тут мы сразу поняли, кто это такой. Это был летяга, зверек, которого не увидишь днем: он прячется в дуплах, а ночью перелетает над тайгой.

Крылья у него меховые – перепонки между передними и задними лапами.

Летяга сидел на той самой елке, что росла надо мной. Вот сверху посыпалась какая-то шелуха, кусочки коры – летяга спускался вниз. Он то выглядывал из-за дерева, то прятался, будто хотел подкрасться незаметно.

Вдруг он выглянул совсем рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки. Глаза его, темные, расширенные, уставились на меня.

– Хотите, схвачу?

От звука голоса дрожь ударила летягу. Он свистнул и спрятался за елку, но тут же высунулся.

«Схватит или нет?» – думал, видно, летяга.

Он сидел, сжавшись в комок, и поглядывал на костер.

Костер шевелился и потрескивал.

Летяга соскочил на землю и тут заметил большое темное дупло. Это был сапог Петра Ивановича, лежащий на земле.

Удивленно свистнув, летяга нырнул в голенище.

В то же мгновение я кинулся схватить сапог, но летяга выскочил и побежал, побежал по вытянутой руке, по плечу и – прыгнул на пенек.

Но это был не пенек. Это было колено Петра Иваныча с крупной круглой чашкой.

С ужасом заглянув в пылающие очки, летяга закашлял, перепрыгнул на елку и быстро вскарабкался наверх.

Петр Иваныч изумленно ощупывал свое колено.

– Легонький какой, – хрипловато сказал он.

Перелетев на другую елку, летяга снова спустился вниз. Видно, притягивал его затухавший огонь костра, манил, как лампа летним вечером манит мотылька.

На меня напал сон. Вернее, не сон – волчья дрема. Я то закрывал глаза и проваливался куда-то под еловый корень, то открывал их и видел тогда бороду лишайника, свисающую с веток, а за нею совсем посветлевшее небо и в нем летягу, перелетающего с вершины на вершину.

С первыми лучами солнца летяга исчез.

Утром, за чаем, я все приставал к Петру Иванычу, просил подарить мне сапог, в котором побывал летяга. А Леша сказал, допивая вторую кружку чаю:

– Не Козьма ли да Демьян к нам его подослали?

Лабаз

Все лето геологи искали в тайге алмазную трубку. Но не нашли. Трубка пряталась от них в каменных россыпях, под корнями деревьев.

Пришла осень. Начались дожди. Геологи стали собираться домой. Перед отъездом к начальнику партии пришел завхоз по прозвищу Пахан-Метла.

– Остались продукты, – сказал он. – Сто банок сгущенки, три пуда муки, мешок компота и ящик масла. Куда все это девать?

– Надо поставить лабаз, – решил начальник.

А моторист Пронька, который крутился около разговора, сказал:

– Да зачем это надо – лабазы ставить? Давайте рубанем в темпе продукты, и все дела.

– Это интересно, – сказал начальник, – в каком же темпе рубанешь ты сто банок сгущенки и три пуда муки?

– В быстром, – не растерялся Пронька.

– Знаешь что, – ответил начальник, – сходи-ка на склад за гвоздями.

Пронька сходил за гвоздями. Пахан-Метла взял топоры да пилу, и за три дня срубили они в тайге лабаз. Неподалеку от речки Чурол.

Лабаз получился вроде небольшой избушки без окон, с бревенчатыми стенами. Он поставлен был на четырех столбах, а столбы выбраны с таким расчетом, чтоб медведь по ним не мог залезть. По толстому-то столбу медведь сразу залезет в лабаз. А полезет по тонкому – столб задрожит, избушка заскрипит наверху, медведь напугается.

По приставной лестнице наверх подняли продукты и спрятали их в лабаз. Потом лестницу убрали в кусты. А то медведь догадается, возьмет да сам и приставит лестницу.

Геологи ушли, и лабаз остался стоять в тайге. Посреди вырубленной поляны он стоял, будто избушка на курьих ножках.

Через неделю пришел к лабазу медведь. Он искал место для берлоги, глядь – лабаз.

Медведь сразу полез наверх, но столб задрожал под ним, зашатался, лабаз наверху страшно заскрипел. Медведь напугался, что лабаз рухнет и придавит его. Он сполз вниз и побрел дальше. Лестницу он, видно, не нашел.

Скоро в тайге начались снегопады. На крыше лабаза выросла пышная шапка, а ноги его утонули в снегу по колено. Теперь-то по плотному снегу можно бы добраться до двери лабаза, да медведь уже спал.

Приходила россомаха, но не догадалась, как открыть дверь, полазила по столбам, посидела на крыше под холодным зимним солнцем, ушла.

А в конце марта проснулись бурундуки, проделали в крыше дырку и всю весну жевали компот – сушеные яблоки, груши и чернослив.

Весной вернулись геологи. Но теперь искали они алмазную трубку в другом месте, в стороне от Чурола.

– Как там наш лабаз-то? – беспокоился Пахан-Метла.

– Стоит небось, – отвечал ему Пронька.

– Ты сходи-ка проверь. Да принеси сгущенки, а то ребята просят.

Пронька взял мешок и ружье и на другой день утром пошел к лабазу на речку Чурол. Он шел и посвистывал в костяной пищик – дразнил весенних рябчиков.

«Странная это штука, – думал Пронька, – алмазная трубка. Может быть, как раз сейчас она под ногами, а я и не знаю».

Пронька глядел на елки – нету ли рябчиков и под ноги поглядывал – не мелькнет ли среди камушков какой-нибудь алмаз.

И вдруг – точно! Блеснуло что-то на тропе.

Пронька мигом нагнулся и поднял с земли курительный мундштук из черной кости с медным ободком.

«Во везет! – подумал он. – Геологи трубку ищут, а я мундштук нашел!»

Он сунул мундштук в карман, прошел еще немного и увидел на тропе нарты, запряженные тремя оленями. На нартах сидел человек в резиновых сапогах и в оленьей шубе, расшитой узорами. Это был оленевод Коля, по национальности манси. Он жил с оленями в горах, но иногда заезжал к геологам.

– Здравствуй, Коля-манси, – сказал Пронька.

– Здравствуй, Прокопий.

– Твой мундштук?

Коля задумчиво поглядел на мундштук и кивнул. Пронька отдал мундштук, и Коля сразу сунул его в рот.

– Вот я думаю, – сказал Пронька, – далеко отсюда будет до Чурола?

Коля-манси задумался. Он долго молчал, и Пронька стоял, ожидая, когда Коля ответит.

– Хороший олень, – сказал наконец Коля, – три километра. Плохой олень – пять километров.

– Давай-ка подвези, – сказал Пронька и лег на нарты на расстеленную оленью шкуру.

Коля взял в руки длинный шест – хорей, взмахнул, и олени тронули. Видно, олени были хороши, бежали быстро, нарты скользили по весенней грязи легко, будто по снегу.

Быстро добрались они до Чурола, и Коля отложил хорей.

– Надо остановку делать, – сказал он. – Чай надо пить. У оленя голова болит.

– А чего она болит-то? – не понял Пронька.

Коля подумал, пососал маленько свой мундштук и сказал:

– Рога растут.

Из мешка, стоящего в нартах, Пронька взял пригоршню соли и пошел к оленям. Они сразу заволновались, вытянули головы, стараясь разглядеть, что там у Проньки в кулаке.

– Мяк-мяк-мяк... – сказал Пронька, протягивая руку.

Отталкивая друг друга, олени стали слизывать с ладони соль. Они были еще безроги и по-зимнему белоснежны. Только у вожака появились молодые весенние рога. Они обросли мягкой коричневой шерстью, похожей на мох.

«Не у него ли голова болит?» – подумал Пронька.

Он поглядел оленю в глаза. Большие и спокойные глаза у оленя были такого цвета,

как крепко заваренный чай.

Они пили чай долго и вдумчиво. Коля молчал и только кивал иногда на оленей, приставляя палец ко лбу.

– Рога растут! – серьезно говорил он.

– Дело важное, – соглашался Пронька. – Сейчас весна – все кругом растет.

Напившись чаю, они посидели немного на камушке, послушали, как бурлит Чурол.

– Теперь у оленя голова не болит, – сказал Коля.

– Конечно, – согласился Пронька. – Теперь ему полегче.

Коля сел в нарты, взмахнул шестом своим, хореет, – олени побежали по весенней тропе. Пронька помахал ему рукой и пошел к лабазу.

Чурол ворчал ему вслед, ворочался в каменном русле, перекатывая круглые гольши.

«Ишь, разошелся! – думал Пронька. – Ворочается, как медведь в берлоге».

Не спеша углубился Пронька в тайгу, и шум Чурола стал затихать, только иногда откуда-то сверху долетало его ворчание.

Из-за кустов увидел Пронька свой лабаз, и тут в груди его стало холодно, а в голове – горячо. На корявых еловых ногах высился лабаз над поляной, а под ним стоял горбатый бурый медведь. Передними лапами он держался за столб.

Ничего не соображая, Пронька скинул с плеча ружье и прицелился в круглую булыжную башку. Хотел уже нажать курок, но подумал: «А вдруг промажу?»

Пронька вспотел, и из глаз его потекли слезы – он никогда не видел медведя так близко.

Медведь зарычал сильнее и трясанул столб лапой. Лабаз заскрипел. В раскрытой его двери что-то зашевелилось. Оттуда сам собою стал вылезать мешок муки.

«Мешок ползет!» – ошеломленно думал Пронька.

Мешок перевалился через порожек лобаза и тяжело шмякнулся вниз.

Когтем продрал медведь в мешке дырку, поднял его и стал вытряхивать муку себе на голову, подхватывая ее языком. Вмиг голова бурая окуталась мучной пылью и стала похожа на огромный одуванчик, из которого выглядывали красные глазки и высовывался ржавый язык.

«Карх...» – кашлянул медведь, сплюнул и отбросил мешок в сторону. Распустив пыльный хвост, мешок отлетел в кусты.

Пронька осторожненько шагнул назад.

А наверху в лабазе по-прежнему что-то шевелилось и хрустело. Из двери высунулась вдруг какая-то кривая рука в лохматой варежке и кинула вниз банку сгущенки.

Медведь подхватил банку, поднял ее над головой и крепко сдавил. Жестяная банка лопнула. Из нее сладким медленным языком потекло сгущенное молоко.

Медведь шумно облизнулся, зачмокал.

«Кто же это наверху-то сидит?» – думал Пронька.

Сверху вылетели еще две банки, а потом из двери лабаза выглянула какая-то небольшая рожа, совершенно измазанная в сливочном масле. Облизываясь, оставилась

она вниз.

«Медвежонок! – понял Пронька. – А это внизу – мамаша».

Медвежонок тем временем спустился вниз и тоже схватил банку сгущенки. Он сжал ее лапами, но, как ни пыжился, не мог раздавить. Заворчав, медведица отняла банку, раздавила и лизнула разок. Потом отдала банку обратно.

Медвежонок негромко заурчал, облизывая сплюсненную банку, как леденец. Подождав немного, медведица рывкнула и легкими шлепками погнала его к лабазу.

И тут Проньке вдруг показалось, что медведица оглядывается и смотрит на него исподлобья.

Пятясь и приседая, отошел Пронька несколько шагов и побежал.

Добежавши до Чурола, Пронька скинул с плеч мешок и ружье, опустился на коленки и стал пить воду прямо из речки. В горле у него пересохло, по лбу катился пот, и сердце так колотилось, что заглушало Чурол.

«Ишь, до чего додумалась, сатана, – удивлялся Пронька, – медвежонок на столб сажает!»

Вода была ледяная, от нее ныли зубы, и глоталась она со звоном.

Пронька пил и вздрагивал, оглядывался назад: не бежит ли медведица?

Из тайги вылетела к реке кедровка, села на сухую пихту и принялась кричать, надоедливо и грубо, как ворона.

– Чего кричишь! – разозлился Пронька. – Проваливай!

Он подумал, что кедровка нарочно привлекает к нему медведицу. Поднял ружье и подвел медную мушку прямо под черное крыло с рассыпанным на нем белым горошком.

– Сейчас вмажу третьим номером, покричишь тогда!

Пока Пронька раздумывал, вмазать или нет, кедровка сообразила, что к чему, и улетела.

«Что ж делать-то теперь? – думал Пронька. – В лагерь с пустыми руками идти нехорошо, а к лабазу – страшно».

И тут пришла вдруг ему в голову лихая мысль: поугатать медведицу.

Пронька поднял ружье и сразу из двух стволов ударил в воздух. Не успел еще заглухнуть выстрел, как Пронька крикнул во все горло:

– Прокопий! Ты чего стрелял?

Помолчал и ответил сам себе басом:

– Глухаря грохнул!

– А велик ли глухарь-то?

– Зда-а-аровый, черт, килишек на пять!

От крика своего Пронька развеселился, его насмешило, как он ловко соврал про глухаря.

«Ладно, – решил он, – пойду обратно! Буду орать на весь лес, издали пугать медведицу. Устрою ей симфонию! Небось не выдержит, убежит».

Не спеша пошел он к лабазу и действительно устраивал на ходу симфонию: стучал дубинкой по стволам деревьев, ломал сучки, выворачивал сухие пихточки, которые крякали и скрежетали, а потом вытащил из ружья патроны и затрубил в стволы, как

трубит лось во время гона.

– Эй, Коля-манси, – кричал Пронька, – у тебя ружье заряжено?

– А как же, – ответил он сам себе тоненьким Колиным голосом, – пулей заряжено!

А у тебя заряжено?

– И у меня заряжено! Пулей «жиган». Самый раз на медведя!

– Эй, Пахан-Метла, а ты чего молчишь?

– Я ружье заряжаю!

– Прокопий! Надо остановку делать. Чай надо пить! У оленя голова болит!

– А чего она болит-то? Рога, что ли, у него растут?

Уже перед самым лабазом Пронька даже запел.

Размахивая топором, он вывалился на поляну, где стоял лабаз.

Ни медведицы, ни медвежонка не было. В раскрытую дверь лабаза высунулся разорванный мешок, из которого сочилась струйка муки.

– «Ромашки сорваны, – орал Пронька, – увяли лютики!..»

Голос его звучал хрипло, мотив Пронька врал, потому что петь сроду не умел.

Он хотел кончить песню, но побоялся, что медведица где-нибудь рядом, и заорал для острастки еще сильнее.

Под песню разыскал он в кустах лестницу и полез наверх, в лабаз. Там было все вверх дном.

Пронька слез на землю, поднял сплюсненную банку сгущенки. Медведица так сдавила ее, что банка превратилась в жестяной блин.

«Вот уж кто действительно мог в темпе рубануть сгущенку, – подумал Пронька, – а ведь Пахан-Метла не поверит, скажет: сам рубанул».

Он завернул сплюсненную банку в тряпочку и сунул ее в карман.

Пронька устал, от криков и от пения у него драло в горле, потому-то разболелась голова.

– Надо остановку делать, – сказал он. – Чай надо пить, а то голова чего-то болит... И чего она болит-то? Рога, что ли, растут?

Лесник Булыга

Стоял на краю леса домишко-то Булыгин. Старенький был, совсем понурый. Осиновая щепка на крыше покоробилась, а между бревен изо всех щелей торчал наружу белесый мох.

Два дня назад началась весна, и эти два дня я добирался до Булыгина жилья, вначале на поезде, а потом пешком по раскисшей весенней дороге.

– Вон оно что, – сказал Булыга, завидев меня. – А я-то чувствую: из лесу русским духом пахнет, а ко мне гость из Москвы.

– Или не рад?

– И кошка сегодня целый день умывалась, и ножик на пол упал – так и есть, гость пожаловал.

Пока я скидывал на крыльце рюкзак да вытирал шапкой вспотевший лоб, Булыга сходил в избу и вытащил на двор самовар.

Скоро самовар запыхтел на проталинке, засиял старой медью.

– Глухарь токует вовсю, – сказал Булыга.

– Старый петух? – удивился я. – Неужто его не хлопнули?

– Жив, – подтвердил Булыга.

Этого петуха я видел не раз на боровом болоте Блюдечке, только на выстрел глухарь меня не подпускал: старый был, умный.

– А где он токует-то? – спросил я.

– На Блюдечке, где ж еще, – сказал Булыга. – Только завтра я сам пойду.

– Хлопнуть хочешь?

– А что? Или мы стрелять разучились?

Быстро подступала весенняя ночь, полная самых внезапных и запутанных звуков. Трещали в близком лесу дрозды, протянул над елками вальдшнеп – до нас донеслось его цвирканье.

Самовар чуть светился в сумерках, а в нижние его окошечки ссыпались раскаленные угольки.

Совсем стемнело, и самовар поспел. Булыга подхватил его, поперхнулся дымом и, накрыв жерло самовара крышкой с помпончиком, потащил его в дом.

По-прежнему что-то щелкало в ходиках и темно было в избе, но я проснулся.

Была самая середина ночи. Под подушкой моей чирикал сверчок, а с лавки доносился Булыгин храп.

– Пора вроде... – сказал я.

– Э-эх! – вздохнул Булыга, закряхтел, просыпаясь.

Мы выпили чуть теплого, с вечера, чая, надели сапоги, взяли ружья и вышли.

Темно-темно еще было, совсем темно и холодно. Ни месяца, ни звездочек в небе, да и неба-то не видно – холод и туман. Из лесу струей бил резкий запах тающего снега, прелых листьев. И тихо было, совсем тихо.

– Лови подсадную и валяй в салаш, – сказал Булыга. – А я пойду покамест глухаришку послушаю.

– Взял бы меня, а?

– Нету, – сказал он. – Нечего мне в лесу шуметь да кряхтеть. В салаш иди.

– В салаш, в салаш!.. – заворчал я.

Но Бульга уже пропал в темноте. Треснула ветка, прощуршал снег – ушел Бульга к маленькому болоту Блюдечку, где глухариный ток.

Подсадные утки жили у Бульги в сарае, в соломенном закутке. И как только я сунулся туда, заорали, оглашенные, стали носиться под ногами, хлопать крыльями.

Я поймал подсадную, засунул ее в кошелку-плетенку и побежал краем леса к болоту, к шалашу. Утка тяжело переваливалась в садке, крякала под самым локтем, а под ногами на все лады пели-трещали лужицы, схваченные утренним льдом. По клюквенной тропке, вдоль неглубокой канавы, я бежал к Кузьяевскому болоту.

В темноте еще я был на месте. Высадил подсадную на воду и спрятался в шалаше под старой елкой, вышедшей из лесу к болоту.

Стало светать, чуть-чуть, еле-еле. Низом потянул ветерок, как раз забрался под полушубок, в раструбы сапог, и скоро я так замерз, будто всю ночь проспал в весеннем лесу, без костра.

Откуда-то близко, с березовой вырубки, потянулся в тишине таинственный шипящий звук, и резкий и плавный одновременно:

«Чу-фффффф! Чу-ффффффышш...»

Это заиграл первый тетерев. Даже не заиграл, а только попробовал, только показал: здесь, мол, я. Но уже отозвался ему другой – понесся с березовой вырубки весенний тетеревиный клич:

«Чу-фффышшшш!..»

И будто подхлестнули тетерева мою подсадную. До этого она все молчала и охорашивалась, плескалась в воде, а тут развернулась к лесу, подняла голову и так закричала, что у меня сердце оборвалось:

«Кра-кра-кра-кра-кра-кра-кра!..»

Как от удара рассыпалась ночная тишина – забурлили-забормотали тетерева-косачи, так забурлили, будто в их черных горлах собрались все весенние ручьи. Заблеяли воздушные барашки-бекасы, ныряя с одной волны ветра на другую, а на дальнем, недоступном болоте в серебряные и медные трубы переливчато заиграли-закурлыкали журавли. И с журавлиной песней выкатилось из туманной пелены солнце и еще прибавило звону. Огненная стрела просвистела в небе, рассекла его серое дно, и зашевелились-зашуршали болотные кочки, лопнула пленка льда в луже, крикнула выпь, а в бочаге, под самым шалашом, гулко бухнула щука.

Бум!.. – грохнуло невдалеке, там, на Блюдечке. И второй раз: бум-ммм!.. И пошел этот звук вдоль всего леса, запутался в крайних ветвях, поднял в воздух стаю дроздов с макушки елки, и все другие звуки вдруг пропали, словно поперхнулись, но уже через секунду снова бушевали вовсю.

И тут я услышал над головой:

«Трр-трр-трр...»

– Что такое? Что?..

Но не успел я и сообразить, как в воду плюхнулся селезень! И замолчала сразу крякуха, а я медленно-медленно поднял ружье, которое стало жарким, и не видел уже

ничего – только селезень покачивается на волне...

Ахнул в ушах и отозвался вокруг мой выстрел, резко долбануло в щеку прикладом, дробь подняла фонтан вокруг селезня.

Я выскочил из шалаша, и мне открылось все залитое весной небо, и болото, и селезень, распластанный на воде.

Обалдевшая от выстрела крякуха снова заорала-запричитала, а в бочаге, у шалаша, снова бухнула хвостом щука...

Я достал битого селезня, положил его в шалаш, а в глазах все стояло, как он качается, качается на волне...

Когда откурлыкали журавли и в песне тетеревов поутихла ярость, тогда налетел второй селезень. Я услышал жужжание и свист его крыльев над шалашом. Он сделал круг над болотом и только на втором кругу отозвался крякухе. Так странно было слышать утиное кряканье сверху, с неба, что я не выдержал и встал в рост, развалив шалаш, и ударил влет.

Селезень взмыл кверху и пошел выше, выше – эх! – в сторону Блюдечка, на Булыгу! Эх, промазал! Эх! Дурак, дурак!

Я стал выправлять шалаш, а в двух шагах от меня снова ударила в бочаге щука – она была у самой поверхности, терлась боками о траву, выдавливала икру. Далеко же она забралась – больше километра отсюда до реки! По болотной-то канаве, против талой воды, и зашла она к лесу бросить икру...

А подсадная все орала и орала, и глухо бубнили тетерева на березовой вырубке...

К обеду я вернулся в избушку. Булыга был уже там. Я наколол щепок, стал раздувать самовар.

А солнце было уже высоко, от его света и от усталости слипались глаза. Только прикроешь их – видишь ослепительно рябую болотную воду, и на ней качается селезень...

– Ну как? – спросил я.

– А никак, – ответил Булыга. – Пустой.

– А что ж глухарь?

– А ничего, – сказал Булыга. – Ну, садимся самовар пить.

Мы пили чай, позванивали ложками, отдувались утомленно.

– Глухарей в этих местах всех перебили, – говорил Булыга. – Один остался.

Так устали глаза, что я и чай пил с закрытыми и видел: рябая болотная вода, а на ней качается селезень...

– Пошел я к нему, – рассказывал Булыга про глухаря, – а он и поет, и поет, ни черта не слышит. А кому поет? Ведь глухарки нету ни одной. А он и поет-то, и поет...

– По кому ж ты стрелял? – спросил я.

– По нему, по кому же еще.

– Или промазал?

– Нет, – ответил Булыга. – Маленько в сторону взял. Ладно, хоть душу отвел.

– Спугнул?

– Нет, и после выстрелов все поет. Совсем очумел от весны.

Я снова прикрыл глаза и видел, как один из другого возникают красные и

оранжевые круги, а за ними качается на воде весенний селезень... и качается, и качается на воде.

Белозубка

В первый раз она появилась вечером. Подбежала чуть ли не к самому костру, схватила хариусовый хвостик, который валялся на земле, и утащила под гнилое бревно.

Я сразу понял, что это не простая мышь. Куда меньше полевки. Темней. И главное – нос! Лопаточкой, как у крота.

Скоро она вернулась, стала шмыгать у меня под ногами, собирать рыбки косточки и, только когда я сердито топнул, спряталась.

«Хоть и не простая, а все-таки мышь, – думал я. – Пусть знает свое место».

А место ее было под гнилым кедровым бревном. Туда тащила она добычу, оттуда вылезала и на другой день.

Да, это была не простая мышь! И главное – нос! Лопаточкой! Таким носом только землю рыть.

А землероек, слышал я, знатоки различают по зубам. У одних землероек зубы бурые, у других – белые. Так их и называют: бурозубки и белозубки. Кем была эта мышка, я не знал и заглядывать ей в рот не торопился. Но почему-то хотелось, чтобы она была белозубкой.

Так я и назвал ее Белозубкой – наугад.

Белозубка стала появляться у костра каждый день и, как я ни топал, собирала хвосты-плавнички. Съесть все это она никак не могла, значит, делала на зиму запасы, а под гнилым кедровым бревном были у нее тайные погреба.

К осени начались в тайге дожди, и я стал ужинать в избушке.

Как-то сидел у стола, пил чагу с сухарями. Вдруг что-то зашуршало, и на стол выскочила Белозубка, схватила самый большой сухарь. Тут же я щелкнул ее пальцем в бок.

«Пи-пи-пи!» – закричала Белозубка.

Прижав к груди сухарь, она потащила его на край стола, скинула на пол, а сама легко сбежала вниз по стене, к которой был приколочен стол. Очутившись на полу, она подхватила сухарь и потащила к порогу. Как видно, в погребах ее, под гнилым кедровым бревном, было еще много места.

Я торопливо съел все сухари, запил это дело чагой.

Белозубка вернулась и снова забралась на стол.

Я шевелился, кряхтел и кашлял, стараясь напугать ее, но она не обращала внимания, бегала вокруг пустого стакана, разыскивая сухари. Я просто не знал, что делать. Не драться же с ней. Взял да и накрыл ее стаканом.

Белозубка ткнулась носом в стекло, поднялась на задние лапы, а передними стукнула в граненую стенку.

«Посидишь немного, – думал я. – Надо тебя проучить, а то совсем потеряла совесть».

Оставив Белозубку в заточении, я вышел из избушки поглядеть, не перестал ли дождь.

Дождь не переставал. Мелкий и холодный, сеялся он сквозь еловые ветки, туманом окутывал верхушки пихт. Я старался разглядеть вершину горы Мартай – нет ли

там снега? – но гора была закрыта низкими жидкими облаками.

Я продрог и, вернувшись в избушку, хотел налить себе чаги погорячей, как вдруг увидел на столе вторую Белозубку.

Первая сидела под стеклянным колпаком, а вторая бродила по столу.

Эта вторая была крупнее первой и вела себя грубо, бесцеремонно. Прошлась по моим рисункам, пнула плечом спичечную коробку. По манерам это была уже не Белозубка, а какой-то суровый дядя Белозуб. И лопаточка его казалась уже лопатой, на которой росли строгие короткие усы.

Дядя Белозуб обошел стакан, где сидела Белозубка, сунул нос под граненый край, стараясь его приподнять. Ничего не получилось. Тогда дядя ударил в стекло носом. Стакан чуть отодвинулся.

Дядя Белозуб отступил назад, чтоб разогнаться и протаранить стакан, но тут я взял второй стакан да и накрыл дядю.

Это его потрясло. Он никак не предполагал, что с ним может случиться то же, что с Белозубкой. Растеряв свою гордость, он сжался в комочек и чуть не заплакал.

Надо сказать, я и сам растерялся. Передо мной на столе кверху дном стояли два стакана, в которых сидели Белозубка и Белозуб. Сам я сидел на лавке, держа в руке третий стакан, треснутый.

Неожиданно почувствовал я всю глупость своего положения: один в таежной избушке, в сотне километров от людей, сидел я у стола и накрывал землероек стаканами. Отчего-то стало обидно за себя, за свою судьбу. Захотелось что-то сделать, что-то изменить. Но что я мог сделать? Мог только выйти поглядеть, не перестал ли дождь, хотя и так слышал, что он не перестал, все так же шуршал по крыше.

Тем временем из щели у порога высунулась новая лопаточка. Прежде чем вылезти наружу, третья землеройка внимательно все обнюхала. Как сыщик, который старается напасть на след, изучила она пол у порога, напала на след и отправилась к столу. Она не слишком торопилась, обдумывая каждый шаг.

И пока она шла, пока взбиралась по бревенчатой стене на стол, я вдруг понял, что там, под Гнилым Кедровым Бревном, сидит мышиный король Землерой. Это он посылает своих подчиненных спасать Белозубку. Дядя Белозуб, грубый солдат, должен был действовать силой, хвостатый Сыщик – хитростью.

Как только Сыщик явился на столе, Белозубка и Белозуб насторожились, ожидая, что он будет делать.

Он обошел перевернутые стаканы, обнюхал и третий, треснутый, стал разглядывать мою руку, лежащую на столе.

Тут я понял, что он меня почти не видит. Глазки его привыкли к подземной темноте, и видел он только то, что было прямо перед его носом. А перед его носом была моя рука, и некоторое время Сыщик раздумывал, что это такое.

Я пошевелил пальцем. Сыщик вздрогнул, отпрыгнул в сторону и спрятался за спичечной коробкой. Посидел, съездившись, подумал, быстро прокатился по столу, спустился на пол и шмыгнул в щель.

«Ваше величество! – докладывал, наверно, он королю Землерою. – Там за столом сидит какой-то тип и накрывает наших ребят стаканами».

«Стаканами? – удивился, наверно, Землерой. – В таежной избушке стаканы? Откуда такая роскошь?»

«У прохожих геологов выменял».

«И много у него еще стаканов?»

«Еще один, треснутый. Но есть под нарами трехлитровая банка, в которую влезет целый полк наших солдат».

Дождь к вечеру все-таки немного поредел. Кое-где над тайгой, над вершиной горы Мартай наметились просветы, похожие на ледяные окна. Очевидно, там, на Мартае, дождь превращался в снег.

Я надел высокие сапоги, взял топор и пошел поискать сушину на дрова. Хотел было отпустить пленников, но потом решил поддержать их еще немного, поучить уму-разуму.

В стороне от избушки нашел я сухую пихту и, пока рубил ее, думал о пленниках, оставшихся на столе. Меня немного мучила совесть. Я думал, что бы я сам стал делать, если б меня посадили под стеклянный колпак.

«Ваше величество, он ушел, – докладывали в это время лазутчики королю Землерою. – Сушину рубит и долго еще провозится. Ведь надо ее срубить, потом ветки обрубить, потом к избушке притащить».

«Надо действовать, а то будет поздно», – предлагал хвостатый Сыщик.

«Валяйте», – согласился король.

Когда я вернулся в избушку, оба стакана были перевернуты, а третий, треснутый, валялся на полу и был уже не треснутый, а вдребезги разбитый.

На улице стемнело. Я затопил печку, заварил чаги. Свечу зажигать не стал – огонь из печки освещал избушку. Огненные блики плясали на бревенчатых стенах, на полу. С треском вылетала иногда из печки искра, и я глядел, как медленно гаснет она.

«Залез с ногами на нары и чагу пьет», – докладывали лазутчики Землерою.

«А что это такое – чага?» – спросил король.

«Это – древесный гриб. Растет на березе, прямо на стволе. Его сушат, крошат и вместо чая заваривают. Полезно для желудка», – пояснил королевский лекарь – Кухарь, который стоял у трона, искусно вырезанного из кедровой коры.

Сам Землерой сидел на троне. На шее у него висело ожерелье из светящихся гнилушек. Тут же был и дядя Белозуб, который возмущенно раздувал щеки.

«Меня, старого служаку, посадить в стакан! Я ему этого никогда не прощу! Сегодня же ночью укушу за пятку».

«Ладно тебе, – говорила Белозубка. – Что было – то прошло. Давайте лучше выпьем кваса и будем танцевать. Ведь сегодня наша последняя ночь!»

«Хорошая идея! – хлопнул в ладоши король. – Эй, квасовары, кваса!»

Толстенные квасовары прикатали бочонок, и главный Квасовар, в передничке, на котором написано было: «Будь здоров», вышиб из бочки пробку.

Пенный квас брызнул во все стороны, и тут же объявились музыканты. Они дудели в трубы, сделанные из рыбьих косточек, тренькали на еловых шишках. Самым смешным был Балалаечник. Он хлестал по струнам собственным хвостом.

Дядя Белозуб выпил пять кружек кваса и пустился в пляс, да хвост ему мешал.

Старый солдат спотыкался и падал. Король хохотал. Белозубка улыбалась, только Сыщик строго принюхивался к окружающим.

«Пускай Белозубка споет!» – крикнул король.

Притащили гитару. Белозубка вспрыгнула на бочку и ударила по струнам:

Я ничего от вас не скрою,
Я все вам честно расскажу:
Всю жизнь я носом землю рою
И в этом счастье нахожу.
Свое я сердце вам открою:
Я всех готова полюбить,
Но тот мне дорог, кто со мною
Желает носом землю рыть.

«Мы желаем! Мы желаем!» – закричали кавалеры.

«Пошли в избушку! – крикнул кто-то. – Там теплей и места больше!»

И вот на полу у горящей печки в огненных бликах появились Землерой и Белозубка, Сыщик, лекарь и квасовары. Дядя Белозуб сам идти не мог, и его принесли на руках. Он тут же заполз в валенок и заснул.

Над печкой у меня вялились на веревочке хариусы. Один хариусок свалился на пол, и землеройки принялись водить вокруг него хоровод. Я достал из рюкзака последние сухари, раскрошил их и подбросил к порогу. Это добавило нового веселья. Хрустя сухарями, Землерой запел новую песню, и все подхватили:

Да здравствует мышиный дом,
Который под Гнилым Бревном.
Мы от зари и до зари
Грызем в том доме сухари!

Всю ночь веселились у меня в избушке король Землерой, Белозубка и все остальные. Только к утру они немного успокоились, сели полукругом у печки и смотрели на огонь.

«Вот и кончилась наша последняя ночь», – сказала Белозубка.

«Спокойной ночи, – сказал Землерой. – Прощайте до весны».

Землерой, Белозубка, музыканты исчезли в щели под порогом. Дядю Белозуба, который так и не проснулся, вытащили из валенка и унесли под Гнилое Бревно. Только Сыщик оставался в избушке. Он обнюхал все внимательно.

Рано утром я вышел из избушки и увидел, что дождь давно перестал, а всюду – на земле, на деревьях, на крыше – лежит первый снег. Гнилое Кедровое Бревно так было завалено снегом, что трудно было разобрать – бревно это или медведь дремлет под снегом.

Я собрал свои вещи, уложил их в рюкзак и по заснеженной тропе стал подыматься

на вершину Мартая. Мне пора уже было возвращаться домой, в город.

К обеду добрался я до вершины, оглянулся и долго искал избушку, которая спряталась в заснеженной тайге.

Нулевой класс

Приехала к нам в деревню новая учительница. Марья Семеновна.

А у нас и старый учитель был – Алексей Степанович.

Вот новая учительница стала со старым дружить. Ходят вместе по деревне, со всеми здороваются.

Дружили так с неделю, а потом рассорились. Все ученики к Алексей Степанычу бегут, а Марья Семеновна стоит в сторонке.

К ней никто и не бежит – обидно.

Алексей Степанович говорит:

– Бегите-ко до Марьи Семеновны.

А ученики не бегут, жмутся к старому учителю. И, действительно, серьезно так жмутся, прямо к бокам его прижимаются.

– Мы ее пугаемся, – братья Моховы говорят. – Она бруснику моет.

Марья Семеновна говорит:

– Ягоды надо мыть, чтоб сразу смыть.

От этих слов ученики еще сильней к Алексей Степанычу жмутся.

Алексей Степанович говорит:

– Что поделаешь, Марья Семеновна, придется мне ребят дальше учить, а вы заводите себе нулевой класс.

– Как это так?

– А так. Нюра у нас в первом классе, Федюша во втором, братья Моховы в третьем, а в четвертом, как известно, никого нет. Но зато в нулевом классе ученики будут.

– И много? – обрадовалась Марья Семеновна.

– Много не много, но один – вон он, на дороге в луже стоит.

А прямо посреди деревни, на дороге и вправду стоял в луже один человек. Это был Ванечка Калачев. Он месил глину резиновыми сапогами, воду запруживал. Ему не хотелось, чтоб вся вода из лужи вытекла.

– Да он же совсем маленький, – Марья Семеновна говорит, – он же еще глину месит.

– Ну и пускай месит, – Алексей Степанович отвечает. – А вы каких же учеников в нулевой класс желаете? Трактористов, что ли? Они ведь тоже глину месят.

Тут Марья Семеновна подходит к Ванечке и говорит:

– Приходи, Ваня, в школу, в нулевой класс.

– Сегодня некогда, – Ванечка говорит, – запруду надо делать.

– Завтра приходи, утром пораньше.

– Вот не знаю, – Ваня говорит, – как бы утром запруду не прорвало.

– Да не прорвет, – Алексей Степанович говорит и своим сапогом запруду подправляет. – А ты поучись немного в нулевом классе, а уж на другой год я тебя в первый класс приму. Марья Семеновна буквы тебе покажет.

– Какие буквы? Прописные или печатные?

– Печатные.

– Ну, это хорошо. Я люблю печатные, потому что они понятные.

На другой день Марья Семеновна пришла в школу пораньше, разложила на столе печатные буквы, карандаши, бумагу. Ждала, ждала, а Ванечки нет. Тут она почувствовала, что запруду все-таки прорвало, и пошла на дорогу. Ванечка стоял в луже и сапогом запруду делал.

– Телега проехала, – объяснил он. – Приходится починять.

– Ладно, – сказала Марья Семеновна, – давай вместе запруду делать, а заодно и буквы учить.

И тут она своим сапогом нарисовала на глине букву «А» и говорит:

– Это, Ваня, буква «А». Рисуй теперь такую же.

Ване понравилось сапогом рисовать. Он вывел носочком букву «А» и прочитал:

– А.

Марья Семеновна засмеялась и говорит:

– Повторение – мать учения. Рисуй вторую букву «А».

И Ваня стал рисовать букву за буквой и до того зарисовался, что запруду снова прорвало.

– Я букву «А» рисовать больше не буду, – сказал Ваня, – потому что плотину прорывает.

– Давай тогда другую букву, – Марья Семеновна говорит. – Вот буква «Б».

И она стала рисовать букву «Б».

А тут председатель колхоза на газике выехал. Он погудел газиком, Марья Семеновна с Ваней расступились, и председатель не только запруду прорвал своими колесами, но и все буквы стер с глины. Не знал он, конечно, что здесь происходит занятие нулевого класса.

Вода хлынула из лужи, потекла по дороге, все вниз и вниз в другую лужу, а потом в овраг, из оврага в ручей, из ручья в речку, а уж из речки в далекое море.

– Эту неудачу трудно ликвидировать, – сказала Марья Семеновна, – но можно. У нас остался последний шанс – буква «В». Смотри, как она рисуется.

И Марья Семеновна стала собирать разбросанную глину, укладывать ее барьерчиком. И не только сапогами, но даже и руками сложила все-таки на дороге букву «В». Красивая получилась буква, вроде крепости. Но, к сожалению, через сложенную ею букву хлестала и хлестала вода. Сильные дожди прошли у нас в сентябре.

– Я, Марья Семеновна, вот что теперь скажу, – заметил Ваня, – к вашей букве «В» надо бы добавить что-нибудь покрепче. И повыше. Предлагаю букву «Г», которую давно знаю.

Марья Семеновна обрадовалась, что Ваня такой образованный, и они вместе слепили не очень даже кривую букву «Г». Вы не поверите, но эти две буквы «В» и «Г» воду из лужи вполне задержали.

На другое утро мы снова увидели на дороге Ванечку и Марью Семеновну.

– Жэ! Зэ! – кричали они и месили сапогами глину. – Ка! Эль! И краткое!

Новая и невиданная книга лежала у них под ногами, и все наши жители осторожно обходили ее, стороной объезжали на телеге, чтоб не помешать занятиям нулевого класса. Даже председатель проехал на своем «газике» так аккуратно, что не

задел ни одной буквы.

Теплые дни скоро кончились. Задул северный ветер, лужи на дорогах замерзли.

Однажды под вечер я заметил Ванечку и Марию Семеновну. Они сидели на бревнышке на берегу реки и громко считали:

– Пять, шесть, семь, восемь...

Кажется, они считали улетающих на юг журавлей.

А журавли и вправду улетали, и темнело небо, накрывающее нулевой класс, в котором все мы, друзья, наверно, еще учимся.

У Кривой сосны

Высокая и узловатая, покрытая медной чешуей, много лет стояла над торфяными болотами Кривая сосна. Осенью ли, весной – в любое время года казались болота мрачными, унылыми, только Кривая сосна радовала глаз.

С севера была она строга, суховата. Она подставляла северу голый ствол и не прикрывалась ветками от ветров.

С востока ясно было, что сосна действительно кривая. Красный ствол туго загнулся вправо. За ним метнулись ветки, но тут же поворотили назад, напряглись и с трудом, цепляясь за облака, выправили ствол, вернули его на прежнюю дорогу.

С юга не было видно кривизны. Широкая хвойная шапка нависла над болотом. Вырос будто бы на торфу великий и темный гриб.

А с запада кривизна казалась горбом, уродством. С запада походила сосна на гигантский коловорот, нацеленный в небо.

В сухой год в июле над сосною прошла гроза. Торфяная туча навалилась на болота пухлым ржаным животом. Она ревела и тряслась, как студень. От ударов грома осыпалась голубика.

Прямая молния угодила в сосну, спиралью обошла ствол, пропахала кору до древесины и нырнула в торф. От этой молнии за год высохла сосна, но долго еще стояла над болотами, сухая, посеребренная. Осенний ветер – листвоной ухватил ее за макушку, поднажал в горб да и вывернул с корнем. Рыхлый торф не удержал корней.

Года через два после того я охотился на торфу.

Была ранняя весна, и утка летела плохо. В болотах млеял еще желтый кислый лед, но на берегах уже появилась из-под снега прошлогодняя трава и груды торфа.

Частым осинником вышел я на поляну, где лежала Кривая сосна. За зиму на нее намело снегу. Корень-выворотень весь зарос им и стоял торчком среди осинника, как белый горбатый бык. В осиннике снег таял медленней, чем на открытом месте, – всюду видны были светлые пятна, а на них зимние заячьи следы.

Вспрыгнув на ствол, я заглянул по ту сторону поваленного дерева. Здесь снега было еще больше – целый сугроб, и на снегу, притаившись, лежал большой серый зверь.

Рысь!

В глазах поплыли красные пятна, я стал сдергивать с плеча ружье, но зверь не шевелился. Постояв с минутку, я осторожно слез на землю, шагнул вперед.

Вытянув длинные голенастые ноги, запрокинув голову, на снегу передо мной лежал лосенок. Он был серый, как нелинявший заяц, – темная спина цвета осиновых сережек, а на животе мех светлый, облачный. Глаза его были закрыты. Рядом лежало несколько обглоданных осиновых веток.

Я подошел и не знаю зачем дотронулся до него сапогом. Нога ударилась, как об пень, – он давно уже окоченел. На боку заметно было белесое розовое пятно – след огнестрельной раны.

Дело было ясное. Кто-то стрелял в лосенка и ранил его. Стрелял браконьер, дурак. Он знал: лосей бить запрещено. Выстрелив, он напугался того, что сделал, убежал домой.

Измученный болью в боку, лосенок не один еще день бродил по лесу и пришел сюда, в осинник у Кривой сосны. Здесь он прилег на снег и лежал, защищенный корнем-выворотнем от ветра.

Закурив, я закинул за спину ружье и хотел осмотреть его рану, но замер на месте.

В десяти шагах, в ольховых кустах, приподняв лишь голову от земли, лежала лосиха. Она лежала неподвижно и тяжело, внимательно глядела на меня.

В деревне Стрюково охотников мало. Мужчинам хватает колхозной работы, и в лес бегают двое-трое. Настоящий охотник тут один – государственный лесник Булыга.

Я нашел его около дома, в саду. Поднявшись на лестницу-стремянку, он обрезал яблоню кривым ножом.

– Слышь, – крикнул я, – лосенка нашел! Мертвого.

– Где?

– У Кривой сосны.

Булыга слез на землю, достал сигарету «Памир», присел на корточки, привалясь спиной к стволу яблони. Он закурил и сразу окутался дымом. Его морщинистое лицо и вся большая голова походили сейчас на хмурую деревенскую баньку, которую топят по-черному: изо всех щелей валит дым.

– На боку рана, – объяснил я. – Кто-то стрелял. А мать лежит рядом, ждет, что он встанет.

– Лоси у меня на учете, – сказал Булыга. – Надо глядеть – акт составлять. Пошли – покажешь.

Весь день стояла пасмурная погода, но часам к пяти похолодало, облака частью ушли с неба, стало очень светло. Поля и перелески просматривались насквозь, и чуть ли не за километр заметна была пара тетеревов, сидящих на березке.

Я шел следом за Булыгой туда, к Кривой сосне, и думал: «Кто же это мог стрельнуть в лосенка? Зачем?»

Неподалеку уже от сосны, в осиннике, Булыга остановился.

– Слушай, – сказал вдруг он, – если это ты его стукнул, честно скажи.

Глянув мимо меня, он отвернулся.

Все так же вытянувшись и закинув голову, лежал на снегу лосенок. Лосиха рядом, в ольховом кусту. Она, наверно, не вставала с тех пор, как я ушел. Хрипло крича, над поваленной сосной летали две сороки.

Булыга оглядел следы на снегу и на торфе, потом подошел к лосенку и наклонился над ним. Тут же послышался тревожный треск.

С трудом, неуклюже лосиха поднялась на ноги. Она казалась огромной на тонких, сухих ногах, и особо велика была ее голова с насупленной губой. Ноги у нее дрожали.

– Экое буйло, – сказал Булыга, отходя на всякий случай в сторону. – Сгас твой парень, сгас...

Вздернув губу, лосиха прикусила осиновую веточку, сгрызла с нее кору.

– А я думал, это ты его ударил. Теперь вижу: не ты. А если не ты, тогда Шурка Сараев. Только он в лес ходил, искал, говорит, косачиные тока.

Лосиха поглочала осиновой коры, потом переломила зубами ветку и подошла к лосенку. Постояла, наклонилась, положила ветку на снег.

Следующим утром налетели на деревню Стрюково скворцы. Они свистели на всех заборах, на вербах, на сараях. Дороги и оттаявшие огороды были усыпаны скворцами, будто подсолнечными семечками.

А за огородами, над полем, подымаясь высоко в небо, непрерывно пели жаворонки. Теплое сдобное облако, плывущее над землей, было утыкано жаворонками, как изюмом.

Утром я пил у Бульги чай, и за чаем мы помалкивали, ожидая Шурку Сараева. Мы фыркали, отдувались, кривились от кислой клюквы!

– Эй, хозяин! – заорал с улицы Шурка Сараев. – Дома, что ли?

Прогредев дверь, Шурка вошел в дом, прислонил к стене ружье, а сам присел на порог.

– Иди в комнату.

– Дак сапоги грязные.

– Скинь.

В белых вязаных носках Шурка прошел в комнату, сел на диван, купленный для гостей, заслонил спиной вышитого на покрывале голубого петуха.

– Рассказывай, Шурка, как дело было, – сказал Бульга.

Голос его звучал спокойно, но в нем слышалась будущая гроза, и Шурка забеспокоился:

– Како?

– Тако! – передразнил Бульга, торопливо отхлебывая чай. – Ну-ка, подай ружье!

– Како? – снова не понял Шурка.

– Твое! – рявкнул Бульга и закашлялся, подавился клюквой. – Подай сей момент!

Шурка вскочил с дивана и за дуло выволок ружье из прихожей. Оно зацепилось за порог и не протаскивалось в комнату, упиралось.

– Ты не ори, – сказал Шурка, подавая ружье и не понимая еще, в чем дело. – Разберись вначале, потом ори.

– Мы уж во всем разобрались, – угрожающе сказал Бульга. – Все замерыли. Знаем, чье это дело.

Шурка напряженно присел на диван, голубой петух выглядывал из-за его плеча.

Бульга переломил ружье и понюхал ствол, а затем стал вроде бы исследовать ружье Шуркино изнутри.

– Так точно и выходит, – сказал он и сунул мне под нос переломленное ружье. – Видишь?

Поглядев на ржавый, несмазанный замок, я буркнул:

– Вижу.

– Вот и я вижу, – сказал Бульга и резко встал из-за стола. – Ружье, Шурка, придется у тебя отобрать.

Отворив шкаф-гардероб, он сунул в него Шуркину тулку.

– Ты погоди, погоди, – сказал Шурка, вскакивая с дивана и хватая Бульгу за локоть. – Не балуй! Ты ружья не покупал!

– Сядь! – сказал Бульга, отворачиваясь от шкафа. – Сядь, отвечай на вопросы. Ты когда был в лесу?

– В ту субботу.

– Стрелял?

Шурка кивнул:

– Утицу.

– Врешь! Утка еще не летела. Кого стрелял? Говори!

– Кого надо! – заорал Шурка. – Чего ты пристал, бульжник!

– Ну, ладно, – сказал Булыга, внезапно успокаиваясь. – Суд разберется.

Слова эти Шурку ошеломили, он окостенел, тупо разглядывая блюдо с клюквой.

За окном свистнул скворец, солнечный заяц пробился через ящик с рассадой, стоящий на подоконнике, забегал по дивану, по голубому петуху.

– Я ведь ничего такого не сделал, – тоскливо сказал Шурка. – И стрельнул-то разок – пугнуть хотел.

У Шурки Сараева карие глаза. Он умеет играть на гармонии.

Каждый вечер приходит Шурка в клуб, садится посреди залы на табурет, и пошло-поехало: пум-ба-па, пум-ба-па...

Льетса из гармонии музыка, а Шурка потряхивает в такт головой и сильно давит левой рукой на басы.

За музыку Шурку в деревне уважают. Не всякий сыграет на гармонии, да еще чтоб левая рука попевала за правой, а правая не ревела белугой, ласково нажимала на кнопки.

Потерянный сидит сейчас Шурка на Булыгином диване – голубой петух нацелился ему в висок.

– Ну, это... – говорит Шурка. – Ну, так уж получилось. Ну, шел я, а тут лосиха. Выскочила из куста – и на меня. Хотела, наверно, затоптать. Ну, я и пугнул, чтоб отстала.

– А как же в лосенка попал? – спросил я.

– Так я ж мимо стрелял! – обрадовался почему-то Шурка. – По кустам, а там лосенок стоял.

– Ты что ж, его разве не видел?

– Не видел, не видел, где там увидеть – кусты, елочки...

Шурка крутился на диване, глядел то на меня, то на Булыгу: верим или нет?

– Ступай на двор, – сказал Булыга. – Возьми лопату.

– Зачем?

Булыга не ответил, и Шурка решил, видно, не спорить; встал, прошел в своих белых носках по половикам, кряхтя, надел у порога сапоги и тихонько хлопнул дверью.

– Пошли и мы, – сказал Булыга. – Надо лосенка прибрать, а то ведь она не отойдет от него. Сгаснет.

Во дворе Булыга срезал бельевую веревку, навязанную на березы, и мы пошли к Кривой сосне. Шурка с лопатой на плече шел впереди и на поворотах тропы останавливался.

– Ты только до суда не доводи, – просил он Булыгу, виновато взмахивая лопатой.

В осиннике снега почти не осталось. Сугроб, на котором лежал лосенок, съезжился, пожелтел, под него подтекла теплая лужа. И лосиха лежала теперь подальше

от Кривой сосны и смотрела в сторону, на торфяные болота.

– Подойди-ка поближе, – сказал Бульга. – Погляди.

– Чего я буду глядеть? – сказал Шурка недовольно и отвернулся, играя лопатой.

– Гляди.

– Ну гляжу. Ну и что? Чего пристал?

– Копай яму, – сказал Бульга и плюнул мимо Шурки.

– Ну выкопаю, ну и что?

Шурка прошелся по поляне вокруг сосны, потыкал лопатой.

– Земля-то мерзлая, – уныло сказал он.

Наконец он примерился, нашел какую-то небольшую ямку, стал ее расширять. Торф поддавался плохо: не оттаял как следует. Шурка копал мучительно, часто останавливаясь отдохнуть.

– Ну, яму я выкопаю, ладно. Только ты до суда не доводи. Она меня затоптать хотела. Вон какая морда, она нас всех потопчет!

Лосиха повернула голову на шум, но не вставала, а только смотрела, что делает Шурка.

Через час яма была готова, и Шурка обвязал ноги лосенка бельевой веревкой. Потом, закинув веревку на плечо, стал подтягивать его к яме.

– Помогите, что ль, – сказал он, напрягаясь изо всех сил.

Я хотел было подсобить ему, чтоб скорее кончить все это тяжелое дело, но Бульга взял меня за рукав.

– Пускай сам, – сказал он. – Сам убил – сам пускай хоронит.

Уже у ямы лосенок застрял в кустах. Шурка дернул яростно и оборвал веревку.

– Барахло! – закричал он, чуть не плача и махая обрывком. – Веревка твоя дрянь!

Гнилушка.

– Надвяжешь.

Затрещали кусты – лосиха медленно поднялась и пошла к Шурке, высоко подымая ноги, выбирая место, куда ступить.

– Она ведь убьет! – закричал Шурка, бросая веревку. – Она меня помнит!

– Небось, не убьет, – сказал Бульга. – А убьет – похороним. Яма-то как раз готова.

Шурка сплюнул, поглядел еще на лосиху и вдруг бросился в сторону.

– Куда? – закричал Бульга.

Но Шурка не отвечал, ломал сучки, выбираясь на тропу.

– Вертайся, дурак! – заорал Бульга.

Выйдя из кустов на поляну, лосиха остановилась, подняла кверху голову, так что стала видна ее коротенькая бородка, и захрипела. Она жестоко исхудала, грязно-бурая шерсть на ней свалялась и висела клочьями.

– Опасно все-таки, – сказал я. – Может убить.

– Небось, не убьет, – повторил Бульга. – Сама еле дышит.

Лосиха обнюхала веревку, шумно выдохнула, отошла и снова тяжело легла в кусты.

– Эй, – закричал Бульга, – вертайся!

– Не вернись! – откликнулся Шурка неподалеку. – Она меня помнит!

Перемазанный торфом, с разодранным лбом вышел Шурка к сосне, боком-боком

подошел он к лосенку, наклонился, взял в руки веревку.

– Я сделаю, – сказал он. – Постараюсь. Ты токо до суда не доводи.

Спустив лосенка в яму, Шурка стал ее торопливо забрасывать землей.

– Все, – сказал он. – Теперь все. Пошли домой.

– Погоди, – сказал Бульга. – Посмотрим, что она будет делать.

Лосиха долго еще лежала на месте, потом поднялась и пошла к торфяной куче, наспех набросанной Шуркой. Подняв голову кверху, она вдруг коротко захрипела, забормотала что-то и легла животом на торфяную кучу.

Картофельная собака

Дядька мой, Аким Ильич Колыбин, работал сторожем картофельного склада на станции Томилино под Москвой. По своей картофельной должности держал он много собак.

Впрочем, они сами приставали к нему где-нибудь на рынке или у киоска «Соки-воды».

От Акима Ильича по-хозяйски пахло махоркой, картофельной шелухой и хромовыми сапогами. А из кармана его пиджака торчал нередко хвост копченого леща.

Порой на складе собиралось по пять-шесть псов, и каждый день Аким Ильич варил им чугуны картошки. Летом вся эта свора бродила возле склада, пугая прохожих, а зимой псам больше нравилось лежать на теплой, преющей картошке.

Временами на Акима Ильича нападало желание разбогатеть. Он брал тогда какого-нибудь из своих сторожей на шнурок и вел продавать на рынок. Но не было случая, чтоб он выручил хотя бы рубль. На склад он возвращался еще и с приплодом. Кроме своего лохматого товара, приводил и какого-нибудь Тузика, которому некуда было приткнуться.

...Весной и летом я жил неподалеку от Томилино, на дачном садовом участке. Участок этот был маленький и пустой, и не было на нем ни сада, ни дачи – росли две елки, под которыми стоял сарай и самовар на пеньке.

А вокруг, за глухими заборами, кипела настоящая дачная жизнь: цвели сады, дымились летние кухни, поскрипывали гамаки.

Аким Ильич часто наезжал ко мне в гости и всегда привозил картошки, которая к весне обрастала белыми усами.

– Яблоки, а не картошка! – расхваливал он свой подарок. – Антоновка!

Мы варили картошку, разводили самовар и подолгу сидели на бревнах, глядя, как между елками вырастает новое сизое и кудрявое дерево – самоварный дым.

– Надо тебе собаку завести, – говорил Аким Ильич. – Одному скучно жить, а собака, Юра, это друг человека. Хочешь, привезу тебе Тузика? Вот это собака! Зубы – во! Башка – во!

– Что за имя – Тузик? Вялое какое-то. Надо было назвать покрепче.

– Тузик хорошее имя, – спорил Аким Ильич. – Все равно как Петр или Иван. А то назовут собаку Джана или Жеря. Что за Жеря – не пойму.

С Тузиком я встретился в июле.

Стояли теплые ночи, и я приноровился спать на траве, в мешке. Не в спальном мешке, а в обычном, из-под картошки. Он был сшит из прочного ноздреватого холста для самой, наверно, лучшей картошки сорта «лорх». Почему-то на мешке написано было «Пичугин». Мешок я, конечно, выстирал, прежде чем в нем спать, но надпись отстирать не удалось.

И вот я спал однажды под елками в мешке «Пичугин».

Уже наступило утро, солнце поднялось над садами и дачами, а я не просыпался, и снился мне нелепый сон. Будто какой-то парикмахер намыливает мои щеки, чтоб побрить. Дело свое парикмахер делал слишком упорно, поэтому я и открыл глаза.

Страшного увидел я «парикмахера».

Надо мной висела черная и лохматая собачья рожа с желтыми глазами и разинутой пастью, в которой видны были сахарные клыки. Высунув язык, пес этот облизывал мое лицо.

Я закричал, вскочил было на ноги, но тут же упал, запутавшись в мешке, а на меня прыгал «парикмахер» и ласково бил в грудь чугунными лапами.

– Это тебе подарок! – кричал откуда-то сбоку Аким Ильич. – Тузик звать!

Никогда я так не плевался, как в то утро, и никогда не умывался так яростно. И пока я умывался, подарок – Тузик – наскакивал на меня и выбил в конце концов мыло из рук. Он так радовался встрече, как будто мы и прежде были знакомы.

– Посмотри-ка, – сказал Аким Ильич и таинственно, как фокусник, достал из кармана сырую картофелину.

Он подбросил картофелину, а Тузик ловко поймал ее на лету и слопал прямо в кожуру. Крахмальный картофельный сок струился по его кавалерийским усам.

Тузик был велик и черен. Усат, броваст, бородат. В этих зарослях горели два желтых неугасимых глаза и зияла вечно разинутая мокрая, клыкастая пасть.

Наводить ужас на людей – вот было главное его занятие.

Наевшись картошки, Тузик ложился у калитки, подстерегая случайных прохожих. Издали заприметив прохожего, он таился в одуванчиках и в нужный момент выскакивал с чудовищным ревом. Когда же член дачного кооператива впадал в столбняк, Тузик радостно валился на землю и смеялся до слез, катаясь на спине.

Чтоб предостеречь прохожих, я решил приколотить к забору надпись: «Осторожно – злая собака». Но подумал, что это слабо сказано, и так написал:

**ОСТОРОЖНО!
КАРТОФЕЛЬНАЯ СОБАКА!**

Эти странные, таинственные слова настраивали на испуганный лад. Картофельная собака – вот ужас-то!

В дачном поселке скоро прошел слух, что картофельная собака – штука опасная.

– Дядь! – кричали издали ребятишки, когда я прогуливался с Тузиком. – А почему она картофельная?

В ответ я доставал из кармана картофелину и кидал Тузику. Он ловко, как жонглер, ловил ее на лету и мигом разгрызал. Крахмальный сок струился по его кавалерийским усам.

Не прошло и недели, как начались у нас приключения.

Как-то вечером мы прогуливались по дачному шоссе. На всякий случай я держал Тузика на поводке.

Шоссе было пустынно, только одна фигурка двигалась навстречу. Это была старушка-бабушка в платочке, расписанном огурцами, с хозяйственной сумкой в руке.

Когда она поравнялась с нами, Тузик вдруг клацнул зубами и вцепился в хозяйственную сумку. Я испуганно дернул поводок – Тузик отскочил, и мы пошли было дальше, как вдруг за спиной послышался тихий крик:

– Колбаса!

Я глянул на Тузика. Из пасти его торчал огромный батон колбасы. Не коляска, а именно батон толстой вареной колбасы, похожий на дирижабль.

Я выхватил колбасу, ударил ею Тузика по голове, а потом издали поклонился старушке и положил колбасный батон на шоссе, подстелив носовой платок.

По натуре своей Тузик был гуляка и барахольщик. Дома он сидеть не любил и целыми днями бегал где придется. Набегавшись, он всегда приносил что-нибудь домой: детский ботинок, рукава от телогрейки, бабу тряпичную на чайник. Все это он складывал к моим ногам, желая меня порадовать. Честно сказать, я не хотел его огорчать и всегда говорил:

– Ну молодец! Ай запасливый хозяин!

Но вот как-то раз Тузик принес домой курицу. Это была белая курица, абсолютно мертвая.

В ужасе метался я по участку и не знал, что делать с курицей. Каждую секунду, замирая, глядел я на калитку: вот войдет разгневанный хозяин.

Время шло, а хозяина курицы не было. Зато появился Аким Ильич.

Сердечно улыбаясь, шел он от калитки с мешком картошки за плечами. Таким я помню его всю жизнь: улыбающимся, с мешком картошки за плечами.

Аким Ильич скинул мешок и взял в руки курицу.

– Жирная, – сказал он и тут же грянул курицей Тузика по ушам.

Удар получился слабенький, но Тузик-обманщик заныл и застонал, пал на траву, заплакал поддельными собачьими слезами.

– Будешь или нет?!

Тузик жалобно поднял вверх лапы и скорчил точно такую горестную рожу, какая бывает у клоуна в цирке, когда его нарочно хлопнут по носу. Но под мохнатыми бровями светился веселый и нахальный глаз, готовый каждую секунду подмигнуть.

– Понял или нет?! – сердито говорил Аким Ильич, тыча курицу ему в нос.

Тузик отворачивался от курицы, а потом отбежал два шага и закопал голову в опилки, горкой насыпанные под верстаком.

– Что делать-то с нею? – спросил я.

Аким Ильич подвесил курицу под крышу сарая и сказал:

– Подождем, пока придет хозяин.

Тузик скоро понял, что гроза прошла. Фыркая опилками, он кинулся к Акиму Ильичу целоваться, а потом вихрем помчался по участку и несколько раз падал от восторга на землю и катался на спине.

Аким Ильич приладил на верстак доску и стал обстругивать ее фуганком. Он работал легко и красиво – фуганок скользил по доске, как длинный корабль с кривою трубой.

Солнце пригревало крепко, и курица под крышей задышалась. Аким Ильич глядел тревожно на солнце, клонящееся к обеду, и говорил многозначительно:

– Курица тухнет!

Громила Тузик прилег под верстаком, лениво вывалив язык. Сочные стружки падали на него, повисали на ушах и на бороде.

- Курица тухнет!
- Так что ж делать?
- Надо курицу ощипать, – сказал Аким Ильич и подмигнул мне.

И Тузик дружелюбно подмигнул из-под верстака.

- Заводи-ка, брат, костер. Вот тебе и стружка на растопку.

Пока я возился с костром, Аким Ильич ощипал курицу, и скоро забурлил в котелке суп. Я помещивал его длинной ложкой и старался разбудить свою совесть, но она дремала в глубине души.

- Пообедаем, как люди, – сказал Аким Ильич, присаживаясь к котелку.

Чудно было сидеть у костра на нашем отгороженном участке. Вокруг цвели сады, поскрипывали гамаки, а у нас – лесной костер, свободная трава.

Отобедав, Аким Ильич подвесил над костром чайник и запел:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина...

Тузик лежал у его ног и задумчиво слушал, шуршал ушами, будто боялся пропустить хоть слово. А когда Аким Ильич добрался до слов «но нельзя рябине к дубу перебраться», на глаза Тузика набежала слеза.

- Эй, товарищи! – послышалось вдруг.

У калитки стоял какой-то человек в соломенной шляпе.

- Эй, товарищи! – кричал он. – Кто тут хозяин?

Разомлевший было Тузик спохватился и с проклятьями кинулся к забору.

- В чем дело, земляк? – крикнул Аким Ильич.

– В том, что эта скотина, – тут гражданин ткнул в Тузика пальцем, – утащила у меня курицу.

– Заходи, земляк, – сказал Аким Ильич, цыкнув на Тузика, – чего через забор попусту кричать.

– Нечего мне у вас делать, – раздраженно сказал хозяин курицы, но в калитку вошел, опасливо поглядывая на Тузика.

– Сядем потолкуем, – говорил Аким Ильич. – Сколько же вы кур держите? Наверно, десять?

– «Десять»!.. – презрительно хмыкнул владелец. – Двадцать две было, а теперь вот двадцать одна.

– Очко! – восхищенно сказал Аким Ильич. – Куриный завод! Может быть, и нам кур завести? А?.. Нет, – продолжал Аким Ильич, подумав, – мы лучше сад насадим. Как думаешь, земляк, можно на таком участке сад насадить?

- Не знаю, – недовольно ответил земляк, ни на секунду не отвлекаясь от курицы.

– Но почвы здесь глинистые. На таких почвах и картошка бывает мелкая, как горох.

– Я с этой картошкой совсем измучился, – сказал хозяин курицы. – Такая мелкая, что сам не кушаю. Курям варю. А сам все макароны, макароны...

– Картошки у него нету, а? – сказал Аким Ильич и хитро посмотрел на меня. – Так ведь у нас целый мешок. Бери.

– На кой мне ваша картошка! Курицу гоните. Или сумму денег.

– Картошка хорошая! – лукаво кричал Аким Ильич. – Яблоки, а не картошка. Антоновка! Да вот у нас есть отварная, попробуй-ка.

Тут Аким Ильич вынул из котелка отваренную картофелину и мигом содрал с нее мундир, сказавши:

– Пирожное.

– Нешто попробовать? – засомневался владелец курицы. – А то все макароны, макароны...

Он принял картофелину из рук Акима Ильича, посолил ее хозяйственно и надкусил.

– Картошка вкусная, – рассудительно сказал он. – Как же вы ее выращиваете?

– Мы ее никак не выращиваем, – засмеялся Аким Ильич, – потому что мы работники картофельных складов. Она нам полагается как паек. Насыпай сколько надо.

– Пусть ведро насыплет, и хватит, – вставил я.

Аким Ильич укоризненно поглядел на меня.

– У человека несчастье: наша собака съела его курицу. Пусть сыплет сколько хочет, чтоб душа не болела.

На другой же день я купил в керосиновой лавке толковую цепь и приковал картофельного пса к елке.

Кончились его лебединые деньки.

Тузик обиженно стонал, плакал поддельными слезами и так дергал цепь, что с елки падали шишки. Только лишь вечером я отмыкал цепь, выводил Тузика погулять.

Подошел месяц август. Дачников стало больше. Солнечными вечерами дачники в соломенных шляпах вежливо гуляли по шоссе. Я тоже завел себе шляпу и прогуливался с Тузиком, напустив на свое лицо вечернюю дачную улыбку.

Тузик-обманщик на прогулках прикидывался воспитанным и любезным псом, важно поглядывал по сторонам, горделиво топорщил брови, как генерал-майор.

Встречались нам дачники с собаками – с ирландскими сеттерами или борзыми, изогнутыми, как скрипичный ключ. Издали завидев нас, они переходили на другую сторону шоссе, не желая приближаться к опасной картофельной собаке.

Тузика на шоссе было неинтересно, и я отводил его подальше в лес, отстегивал поводок.

Тузик не помнил себя от счастья. Он припадал к земле и глядел на меня так, будто не мог налюбоваться, фыркал, кидался с поцелуями, как футболист, который забил гол. Некоторое время он стремительно носился вокруг и, совершив эти круги восторга, мчался куда-то изо всех сил, сшибая пеньки. Мигом скрывался он за кустами, а я бежал нарочно в другую сторону и прятался в папоротниках.

Скоро Тузик начинал волноваться: почему не слышно моего голоса?

Он призывно лаял и носился по лесу, разыскивая меня. Когда же он подбегал поближе, я вдруг с ревом выскакивал из засады и валил его на землю.

Мы катались по траве и рычали, а Тузик так страшно клацал зубами и так вытаращивал глаза, что на меня напал смех.

Душа у владельца курицы, видимо, все-таки болела.

Однажды утром у калитки нашей появился сержант милиции. Он долго читал плакат про картофельную собаку и наконец решился войти.

Тузик сидел на цепи и, конечно, издали заприметил милиционера. Он прицелился в него глазом, хотел было грозно залаять, но почему-то раздумал. Странное дело: он не рычал и не грыз цепь, чтоб сорваться с нее и растерзать вошедшего.

– Собак распускаете! – сказал между тем милиционер, строго приступая к делу.

Я слегка окаменел и не нашелся что ответить. Сержант смерил меня взглядом, прошелся по участку и заметил мешок с надписью «Пичугин».

– Это вы Пичугин?

– Да нет, – растерялся я.

Сержант достал записную книжку, что-то черкнул в ней карандашиком и принялся рассматривать Тузика. Под милицейским взглядом Тузик как-то весь подтянулся и встал будто бы по стойке «смирно». Шерсть его, которая обычно торчала безобразно во все стороны, отчего-то разгладилась, и его оперение теперь можно было назвать «приличной прической».

– На эту собаку поступило заявление, – сказал сержант, – в том, что она давит кур. А вы этих кур поедаете.

– Всего одну курицу, – уточнил я. – За которую заплачено.

Сержант хмыкнул и опять принялся рассматривать Тузика, как бы фотографируя его взглядом.

Миролюбиво виляя хвостом, Тузик повернулся к сержанту правым боком, дал себя сфотографировать и потом повернулся левым.

– Это очень мирная собака, – заметил я.

– А почему она картофельная? Это что ж, порода такая?

Тут я достал из кармана картофелину и бросил ее Тузику. Тузик ловко перехватил ее в полете и культурно скушал, деликатно поклонившись милиционеру.

– Странное животное, – подозрительно сказал сержант. – Картошку ест сырую. А погладить его можно?

– Можно.

Только тут я понял, какой все-таки Тузик великий актер. Пока сержант водил рукою по нечесаному загривку, картофельный пес застенчиво прикрывал глаза, как делают это комнатные собачки, и вилял хвостом. Я даже думал, что он лизнет сержанта в руку, но Тузик удержался.

– Странно, – сказал сержант. – Говорили, что это очень злая картофельная собака, которая всех терзает, а тут я ее вдруг глажу.

– Тузик чувствует хорошего человека, – не удержался я.

Сержант похлопал ладонью о ладонь, отряхнул с них собачий дух и протянул мне руку:

– Растрепин. Будем знакомы.

Мы пожали друг другу руки, и сержант Растрепин направился к воротам. Проходя

мимо Тузика, он наклонился и по-отечески потрепал пса.

– Ну молодец, молодец, – сказал сержант.

И вот тут, когда милиционер повернулся спиной, проклятый картофельный пес-обманщик встал вдруг на задние лапы и чудовищно гаркнул сержанту в самое ухо. Полубледный Растрепин отскочил в сторону, а Тузик упал на землю и смеялся до слез, катаясь на спине.

– Еще одна курица, – крикнул издали сержант, – и все! Протокол!

Но не было больше ни кур, ни заявлений. Лето кончилось. Мне надо было возвращаться в Москву, а Тузика – на картофельный склад.

В последний день августа на прощанье пошли мы в лес. Я собирал чернушки, которых высыпало в тот год очень много. Тузик угрюмо брел следом.

Чтоб немного развеселить пса, я кидался в него лопухими чернушками, да что-то все мазал, и веселья не получалось. Тогда я спрятался в засаду, но Тузик быстро разыскал меня, подошел и прилег рядом. Играть ему не хотелось.

Я все-таки зарычал на него, схватил за уши. Через секунду мы уже катались по траве. Тузик страшно разевал пасть, а я нахлобучил ему на голову корзинку вместе с грибами. Тузик скинул корзинку и так стал ее терзать, что чернушки запищали.

Под вечер приехал Аким Ильич. Мы наварили молодой картошки, поставили самовар. На соседних дачах слышались торопливые голоса, там тоже готовились к отъезду: увязывали узлы, обрывали яблоки.

– Хороший год, – говорил Аким Ильич. – Урожайный. Яблоков много, грибов, картошки.

По дачному шоссе пошли мы на станцию и долго ожидали электричку. На платформе было полно народу, повсюду стояли узлы и чемоданы, корзины с яблоками и с грибами, чуть ли не у каждого в руке был осенний букет.

Прошел товарный поезд в шестьдесят вагонов. У станции электровоз взревел, и Тузик разъярился. Он свирепо кидался на пролетающие вагоны, желая нагнать на них страху. Вагоны равнодушно мчались дальше.

– Ну, чего ты расстроился? – говорил мне Аким Ильич. – В твоей жизни будет еще много собак.

Подошла электричка, забитая дачниками и вещами.

– И так яблоку негде упасть, – закричали на нас в тамбуре, – а эти с собакой!

– Не волнуйся, земляк! – кричал в ответ Аким Ильич. – Было б яблоко, а куда упасть, мы устроим.

Из вагона доносилась песня, там пели хором, играли на гитаре. Раззадоренный песней из вагона, Аким Ильич тоже запел:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина...

Голос у него был очень красивый, громкий, деревенский.

Мы стояли в тамбуре, и Тузик, поднявшись на задние лапы, выглядывал в окно.

Мимо пролетали березы, рябины, сады, набитые яблоками, золотыми шарами.

Хороший это был год, урожайный.

В тот год в садах пахло грибами, а в лесах – яблоками.

Гроза над картофельным полем

Был странный августовский туман. Он клубился оранжевым и так занавесил ручей, что трудно было разобрать, где же солнце. Но оно вошло и подсвечивало влажные валы тумана, а от ручья по низкому лугу тянулся запах таволги и хвоща.

Я шел берегом, надеясь поднять уток, но видел только сплетенья тумана и метелки-языки приболотной травы. С каждым шагом сочно лопались под ногами ее стебли, мягко хлестали, обдавая росой, и скоро я стал мокр и облеплен созревшими семенами.

Немного я прошел, как дрогнула сеть тумана – обрушился на меня близкий выстрел, а за ним – шум поднимающихся с воды крякух.

– Тпр-р-р-у-у-у-у!.. – закричал кто-то им вслед. Потом, видно, еще раз насупонил губы, как делают, останавливая лошадь, и снова: – Тпр-р-р-у-у-у!..

Уток я не мог увидеть, только слышал, как они сделали круг и утянули к лесу.

– Эй! – слышалось недалеко. – Эй, Николай!..

– А-а...

– Чего убил?

– Ко-лен-ку-у-у... – тягуче сказал Николай.

В тумане ответ Николая показался особо глупым и безнадежным. Я присел на коряжку – спешить было некуда, уток перешумели. Было слышно, как медленно чопают впереди охотники. Они перекрикивались каждые две минуты, боялись, что ли, в тумане потеряться.

Скоро снова впереди лопнул выстрел.

– Эй, чего убил?

– Колен-ку-у-у!..

– Тьфу ты! – плюнул я и низким торфяным голосом пустил вдоль ручья: – Э-э-э-э-э-эй!..

– А-а-а? – дружно отозвались Николай с приятелем.

– В трясину у-тя-ну-у-у-у...

– А-а?

– У-у-тя-ну-у-у... у-тя-ну-у-у-у!.. – снова пригрозил я.

– Ты кто? – крикнул Николай.

Я ответил таким нелепым голосом, какого и сам от себя никогда не слышал:

– Леший я! Ле-е-е-ший...

Тут прозвенело что-то. Овалы тумана зашевелились, задрожали, и солнце разом развалило их.

Вспыхнул ручей. Стало видно, как он стелется по низкому лугу в глубину леса. Нигде не было охотников – вдаль стояли стога, нахлобученные на обкошенные пригорки. От них лился запах свежего сена...

Ясны обычно и солнечны августовские дни. Этот день был особый. То вдруг пригонял ветер облака – становилось темновато, то облака быстро раскисали в воздухе. При светлом небе громыхало неподалеку, и находил на лес пасмурный свет – только какая-нибудь сосна вспыхивала под одиноким лучом.

Когда солнце пошло к закату, я бросил пустую охоту, набрал маслят и на краю сосняка у картофельного поля поставил палатку. Надо было костер палить – грибы варить.

Над полем собиралась грозовая туча, да как-то все не решалась плотно обхватить небо и колебалась над закатом.

– Дочк, Дочк, Дочк... – послышалось с поля.

По меже шел парнишка в ковбойке и покрикивал.

– Телку потерял?

– Овцу, – сказал он, подойдя.

– Ты из Шишкина?

– Нет, с Екатериновки. Генка я, дядипашин.

Я знал дядю Пашу, перевозчика из Екатериновки. Он не раз перевозил меня через речку, и мы всегда толковали с ним о погоде.

– Ну, садись, суп с маслятами пробуй.

– Искать надо... Дочк, Дочк, Дочк!..

Генка был невелик, лет двенадцати. Он пошел дальше по опушке, покрикивая свое.

За краем неба начался глухой скрежет. Он все нарастал, нарастал, превращаясь в отчетливые удары грома. Неожиданный луч пал на картофельное поле, зажег ботву зеленым светом, и быстро земля всосала его. Я залез в палатку и прихлебывал понемногу суп. Было слышно, как тяжело повертывались в небе огромные жернова, но выбить искру им еще не удавалось, они еще не разгулялись и только притирались друг к другу.

Ссссссссссссс!.. – услышал я и подумал, что это мелкий дождик шелестит. Высунулся из палатки узнать – было темно и сухо, и ни капли не упало на руки, на лоб.

– Дядень! – крикнул издали Генка.

– Эй!

– Гроза собирается.

– Лезь в палатку, – сказал я. – Пересидим...

Генка залез в палатку, и я сунул ему ложку.

– Только от стола, – сказал он, но ложку взял, и мы стали есть суп, прихлебывая по очереди.

– Ну, как супок? – спросил было я, но тут возникла ослепительная искра, просветила каждый шов палатки и так грохнуло, что зазвенело в затылке, а Генка охватил меня руками, железными от страха.

Снова все стихло, и даже жернова перестали в небе переворачивать друг друга.

– Во долбануло! – сказал Генка.

Я хлебнул супа, и показалось, будто вкус его после удара молнии изменился.

Ссссссссссссс!.. – снова начался непонятный звук, вначале как шелест капель, потом набрал скорость и потянулся над головой томительной длинной пулей.

– Что это, а?

И со звоном ударило по крыше палатки, она туго загудела – брезентовый колокол.

Я высунулся наружу, и на голову мне обрушился поток воды, пригнул голову к земле, в глазах возник корень огненного дерева. Страшный удар лопнул над нами и

полетел окрест, выворачивая наизнанку картофельную ботву.

И снова молния – пляшущая береза – вонзилась в поле. А земля ухватила ее с таким звуком, как будто болотная трясина – выпавший нож. Задержалась, затряслась другая молния, ища место, в которое ударить, и – пропала. И, бешено чередуясь, возник будто бы лес ослепительных корней...

– Дядень, дядень...

...но только корни эти не высасывали из земли соков, а сами вбивали в нее свою белую голубую кровь.

Я втянул голову в палатку, как черепаха в панцирь. Генка прижался ко мне покрепче, зажмурился, и я плотно закрыл глаза, но все равно рассекал их свет молний, проникал в голову.

Ливень заливал, и брезент не гудел уже, палатка обмякла, стала вялой и прозрачной, не плотнее блина.

– Глянь, дядь, не видно овцы-то?

Я снова высунулся наружу и в свете молний увидел, как мечется по краю поля лохматое призрачное пятно. Это была овца. При каждом ударе грома она выпрыгивала из травы, как собака.

– Дочк, Дочк, Дочк! – закричал Генка и выскочил из палатки, побежал через поле.

Птичьей клеткой вспыхнула перед глазами его ковбойка, и Генка плеснул руками в сполохе света.

Я вылез из палатки и побежал следом за ним.

Ливень навалился на плечи, хотел расплющить, растворить, вогнать в землю. Щербатым гребнем, частоколом стояли вокруг молнии – сочные, разветвленные, как вилы. Гром бил – и небо вскидывалось в пене...

– Обходи! Обходи ее... обходи!

Зачарованная вспышками, овца прыгала на одном месте, будто дожидалась, когда же влепит прямо в нее. Между молниями вдруг слышалось:

«Э-э-э-э-э-э...»

Я бежал и тоже подпрыгивал – «Дочк, Дочк, Дочк!..» – давил картофельную ботву. Она лопалась, хрустела, вскрикивала под ногами, подкидывала вверх, под молнию. Я ждал, как молния настигнет меня, ударит в затылок и – в землю. Я чувствовал эту пустую точку на затылке. Вот упаду, расколуюсь со звоном, как бутылка, разбитая дробью.

Генка бежал шагах от меня в десяти. Голова его за картофельными кустами вдруг загоралась серебряной кочережкой.

– Заходи!.. Заходи!

Уах! – влип в поле дрожащий гвоздь – белая молния. Выбрызнула из земли недозревшая картошка. Овца, подпрыгнув, повисла над черной ботвой.

Я кинулся на нее, выставив руки, и она снова прыгнула – шальной невиданный зверь, вроде единорога.

Я схватил ее за шею, и тут же ослепительный огонь вывернул глаза, растянул их до ушей. Вскипел воздух, и голова моя закружилась над картофельным полем, плавно и мягко светясь...

– Башку ей прикройте, дядь! – кричал подоспевший Генка и лупил овцу по чем попало.

Оттянув с живота свитер – «Дочк, Дочк, Дочк!..» – я подсунул под него овечью голову, пятясь потянул ее к палатке – вот наткнушь спиной на столб молнии, стоящий в земле. И медленная молния, плавная, как масляная струя, потекла, подрагивая, прямо по щеке и, сухо расколовшись, угасла.

Мы затянули овцу в палатку. Шерсть на ней слиплась, припала к ребрам – овца казалась ягненком.

Ссссссссссс... – снова послышалось над головой. Вспыхнула молния, и я увидел, как бьется в углу палатки прозрачными крыльями изогнутая коромыслом синяя стрекоза...

Скоро гроза вколотилась в землю, смягчила резкие удары ливнем, иссякла. Молниеносные тучи ушли. Иногда только раскидывался на небе сполох – небо передергивалось и темнело.

– Пойдем к нам, дядь, – сказал Генка. – Обсохнешь хоть.

– Да ладно... У костра обсохну. Палатку собирать неохота.

Я взял ружье и, посвечивая фонарем, пошел проводить Генку да заодно поискать в сосенках сучков, пригодных для костра. Луч фонарика освещал пучки сосновых иголок. От ударов ливня они повернулись остриями к земле.

– Эй!.. – донеслось откуда-то.

Мы остановились, прислушиваясь, и даже Дочка, Генкина овца, замерла на тропинке.

– Эй, кто там с фонариком? – снова донеслось с другой стороны картофельного поля.

– Молчи, дядь, молчи! – шепнул Генка.

– Почему? – неуверенно спросил я.

– Кто его знает, чего он кричит...

Мы постояли немного, помолчали и снова пошли потихоньку краем поля. Рыхлой была земля под полегшей травой, и слышно было, как жадно, взახлеб, булькая, журча, всасывает она воду. Лужи разлились под ногами. Глинистая тропинка была – скользкая рыба налим.

– Эй, с фонариком!..

– Эй! – ответил я.

– Помогите...

Голос тревожно оборвался, заглох в сыром воздухе.

– Дядь, – сказал Генка, – мне домой надо. А то поздно. Отец будет ругать.

– Давай, – ответил я. – Будь здоров. А я схожу узнаю, чего он там орет.

Я включил фонарик и пошел по меже, прямо через поле. Генка остался было на тропинке, но потом, обругавши для чего-то овцу, потянул ее за собой, догоняя меня.

– Узнаю хоть, чего он там орет, – сказал Генка, и мы побежали через картофельное поле.

За мутью, проплывающей быстро по небу, то взмахивала, то застывала небольшая луна – плавно, как стеклянный поплавок от рыбацких сетей в волнах.

Плод на невидимом стебле – покачивалась луна в дрожащей пелене.

На бегу я светил фонариком, и перед нами прыгало круглое электрическое пятно, выхватывающее черные султаны картофеля и соцветия его, сочные после дождя, как сирень. Овца то путалась где-то сзади, то, как гончая, выскакивала вперед и спотыкалась, дико оглядываясь.

В электрическом пятне, над волнами картошки, я увидел темную фигуру. Человек, очень длинный, жердеобразный, кланялся земле и кричал, размахивая руками:

– Эй, с фонариком, беги шибче!..

Он горстями захватывал землю и скидывал ее в одно место, насыпал земляной холмик. Неприятной, чем-то опасной показалась мне эта фигура, не хотелось к нему подходить, да и Генка тормозил меня за рукав.

– Ты кто будешь? – спросил я, остановившись шагах в пяти.

– Да Грошев я с Большой Волги! – закричал он, как будто я всех должен был знать на Большой Волге. – Охотимся мы здесь.

– А зачем звал-то?

– Молния друга зашибла! Помогай! Заваливай!

– Погоди, – не понял я. – Молния? А где ж друг-то?

– Да вот он, – сказал Грошев и ткнул под ноги, наклонился, ухватил земли в пригоршни.

Землею он покрывал человека. Торчала наружу из холмика голова, и ясней лица видны были круглые картофелины, вырытые из земли. Страшным, обугленным показалось мне это лицо, и я не решался направить на него фонарик.

– Насмерть?

– Да не знаю я! – испуганно закричал Грошев. – Как молния лопнула, зашипел и лежит, а я-то в сторонке был, у сосенок.

– Что ж ты его хоронишь? Может, он жив?

– Так полагается. Полагается землей засыпать. Посвети-ка.

Он нагнулся, и захлюпала земля под его руками, чмокнуло что-то в ботве.

– Это верно, дядь, – зашептал Генка. – Земля молнию из человека обратно высасывает.

– Засыпай, засыпай скорее, что стоишь!

Я скинул куртку, бросил ружье, ковырнул ладонями землю. Взрыхленная ливнем, она легко расступалась под руками, выламывалась жирными тяжелыми комьями. Генка захлестнул овечью веревку петлей на руке и быстро-быстро стал выгребать землю из-под кустов картошки.

– Коля, вставай! Коля! – бормотал Грошев, обращаясь, как видно, к человеку, лежащему в земле.

Мгновенно прошиб пот. Я не видел в темноте, куда бросаю землю, и не разбирал, где земля, где картошка. Генка прерывисто дышал рядом, и подпрыгивала овца на соседней меже.

Горстями, комьями безостановочно кидали мы землю. Грошев сгибался-разгибался, как колодезный журавель.

– Давай, давай! – подгонял он и тут же сбивчиво начинал объяснять, как было

дело: – Кругом блестело, кругом. Ну гроза! А я-то в сторону глядел. Вдруг смотрю – лежит... Куда она ударила? В голову или нет?

– Земля молнию высосет, – шептал Генка и вдруг громко кричал: – Дочк, Дочк, Дочк!..

«Э-э-э-э-э...» – отвечала Дочка и дергала веревку, рвалась домой.

– Хватит, – сказал я. – Толку нет. Так мы его землей задушим.

Со стороны я осветил фонариком лицо лежащего. Оно было черно, неподвижно. И глаза были закрыты. Надбровные дуги, вобрав свет, казались особо выпуклыми.

От сполохов свинцом блестела вокруг картофельная ботва. Было б странно, если б из нее поднялась сейчас живая птица с перьями, клювом, глазами.

– Надо сердце послушать.

– Какое сердце! – раздраженно закричал Грошев. – Пускай ток в землю уйдет.

– Видишь – не уходит.

– Что ж делать? Что ж делать? В деревню, что ль, бечь! Сынок, беги в деревню, зови врача! Куда я дену-то его, если не встанет?

Я наклонился и стал разгребать грязь с груди лежащего. Засветилась медная военная пуговица. Так холодно показалось прижимать к ней ухо, безнадежно – слушать под ней, как слушать отпиленную чурку.

Я прислонил ухо, но не услышал ничего: ни боя, ни толчка – всхлипывала, пицала дождевая вода, пропитывая землю.

– Дядь, дядь! – закричал Генка. – Ведь он одетый!

Одежда не пускает ток!

– Фу, черт!.. Разгребай, разгребай скорее... Надо раздеть...

Я схватился за пуговицу, рванул... Где нож?

– Как же я забыл! – стонал Грошев. – Раздеть надо... Где нож? Режь, разрежай китель.

– Ген, посвети... Да нет, сюда свети!

Намокшая одежда выскальзывала из рук, растягивалась, как резина, корбилась, как жесть, и нож был туп, не резал нитку.

– Оставь сапоги... Сюда свети.

Мы разорвали, разрежали одежду, узлом сложили под голову Николая и снова стали закидывать его землей.

Сейчас, сейчас, еще немного, и все будет в порядке, земля высосет молнию, высосет, выпьет, вберет в себя вместе с дождевой водой.

– Надо железо приложить!

– Какое железо? Где оно? Засыпать полагается.

– Дядь, дядь, ружье, оно железное.

Я поднял ружье, грязное и мокрое, разрядил. В замках его влажно закрипела земля. Положил стволами на грудь Николая и стал водить по груди, по лицу.

– Хорошо, хорошо, сейчас оживет, – говорил Генка. – Оживает, оживает...

– Поздно, – сказал Грошев. – Беги, сынок, в деревню. Зови мужиков.

– Води, дядь, води, он оживет, вот увидите...

– Беги, Ген, в деревню.

– Да еще не поздно. Води ружьем, дядь.

Голос Генкин дрожал, он хватал меня за локоть, подталкивал, торопил. Видно, в голове его не укладывалось то, что в моей уже уложилось. Я бросил ружье.

– Дядь, дядь, надо что-то придумать. Придумай, дядь! Ну, скорее!

– Надо искусственное дыхание, – сказал я.

– Какое дыхание! – раздраженно вдруг крикнул Грошев. – Засыпать полагается! – И тут же обмяк. – Ну, делай, делай дыхание-то.

– Да я и сам не знаю, как его делать.

– Руками же надо разводить! – умоляюще сказал Генка. – Быстро-быстро!

Ткнув руку под затылок, я приподнял с земли голову Николая, а другой рукой надавил на грудь, отпустил, еще надавил, отпустил.

Генка схватил его руку и принялся быстро раскачивать ее к груди и обратно, и Грошев подхватил другую руку.

– Сейчас оживет, – убеждал Генка. – Еще, еще...

– Раз-два... – стал приговаривать я.

– Раз-два... Раз-два... – поддержал Генка. – Дыши, дыши...

Мы сами дышали сильно и шумно, как будто хотели увлечь, заразить своим дыханием человека, лежащего на земле. Сколько же времени прошло, как кончилась гроза?

– Вставай, дядь, вставай, – приговаривал Генка.

– Землей надо засыпать, – бормотал Грошев. Он отставал, сбивал с ритма.

– Раз-два... раз-два... – твердил Генка и не давал нам остановиться.

Наконец Грошев отпустил руку Николая, снял шляпу.

– Что я бабе его скажу? – спросил он.

– Тише, тише... Он дышит!

В голосе Генки прозвучала такая уверенность, что мы замерли, затаили дыхание, а он склонился, прислушиваясь, к самым губам Николая.

Где-то далеко на шоссе за рекой заворчал автомобильный мотор. Шумно вздохнула овца. Последние, особенно тяжелые капли падали на землю с листьев картошки.

Генка потрогал меня за руку, чуть-чуть прижался ко мне. Мы с ним были уже вроде родственники – вместе прятались от грозы, ловили овцу.

– Придумай что-нибудь, – попросил Генка. – Придумай, дядь. Он оживет.

– Можно воздух вдуть, – нерешительно сказал я.

– Вдувай! Вдувай! – сразу обрадовался Генка. – В нас воздух живой. Он войдет в него и оживит.

– Да уж поздно.

– Вдувай, дядь, – просил Генка, обнимая мою руку, гладил рукав, как будто я был человеком, способным вдуть живой воздух.

Грошев настороженно слушал нас. Овца легла на землю, задерганная веревкой.

– Ну, посвети.

Я отдал фонарь и наклонился над человеком, пластом лежащим на земле. Огромной картофелиной казалось в свете фонаря его лицо. Ладонями я сжал его щеки,

вздохнул глубоко, будто собираясь нырнуть. И Генка вздохнул за моей спиной. Медленно приблизил я губы к его рту, прижал и с силой выдохнул весь воздух, нажал локтями на грудь.

Гак! – вылетел вдутый мной воздух и рассыпался, как пыль.

Николай дрогнул, повел рукой. Приоткрылись его глаза, хлипнуло в горле:

– Чтой-то?

Час прошел или больше, как кончилась гроза?

У палатки горел уже костер. Дым от него шел влажный, утяжеленный, особенно горький. Он уплывал к полю, смешивался с ночным туманом.

Николай лежал в палатке, накрывшись мокрыми плащами. Он высунул к костру заляпанное землей лицо, тяжело дышал, закашливался дымом.

Грошев снял брюки и размахивал ими над огнем.

Генка сидел у костра, обхвативши за шею овцу, которая бессмысленно пялилась в огонь.

– Я прямо не верил, что все обойдется, – весело сказал Генка.

Он восхищенно глядел на Николая, не мог отвести глаза, будто боялся, как бы снова чего не случилось.

– И папиросы-то намокли, – хрипло сказал Николай, ни к кому особенно не обращаясь.

– А мы их посушим! – обрадовался Генка.

Николай вяло махнул рукой – дескать, ладно, чего там.

Я снял куртку и стал помахивать ею над костром, сушить.

Под взмахами загудели сучья, распольхались. Лопались и скрючивались в жару сосновые иголки.

– Сбоку молния ударила или как? – спросил я Николая.

– Прямо под ноги.

– Тогда б ты не встал. Она тебя тряхнула только и об землю бросила, – возразил Грошев.

– Говорю я – под ноги, – повторил Николай.

– Ух, жара! – сказал Грошев, отскочил от костра. – Ташкент!

– Это еще не Ташкент, – ответил Генка, протягивая к огню руки. – Сейчас-сейчас, разгорятся...

– Генка-а-а! – послышалось недалеко. – Гена-а-а-а!

– Батя! – испуганно вскочил Генка. – Батя меня ищет!

Он дернул овцу за веревку и побежал в темноту, сразу позабывши нас.

– Иду-у-у! – закричал он.

– Идешь? – слышался сердитый голос. – Ты куда провалился, а?

– Эй, дядя Паша! – крикнул я. – Иди к огню!

– Тебя мамка ждет или не ждет? – закричал дядя Паша, не обращая на меня внимания. – Ты где был, а?

В голосе его звучала такая гроза, что я схватил фонарь и поспешил за Генкой.

– Мамка кричит, что тебя молния убила! Ты думаешь об ней или нет?

– Бать, бать... – толковал в темноте Генка. – Я думаю... Правда думаю...

– Эй, дядя Паша, да погоди ты! – сказал я, догнавши их на тропинке.

– Тебя мамка ждет или нет? – кричал дядя Паша. – А ты костер жгешь! Я те дам костра!

Тут дядя Паша действительно дал костра и добавил овечьей веревкой. Генка сразу, не сходя с места, заревел басом.

– Да погоди ты! – закричал я, ослепляя дядю Пашу фонарем. – Генка не виноват. Тут человека молнией зашибло, а он помогал!

– Чего? – кричал дядя Паша, не признавая меня. – Тебя не спрашивают! Если тебя не ждут, так ты жги костер, а парня не приваживай!

– Да тут несчастье случилось!

– А ну пошли домой! Тебе мамка даст! Все глаза проплакала!

– «Проплакала»! – неожиданно возразил Генка. – Небось телевизор смотрит.

– Ты поговори, поговори! – кричал дядя Паша и быстро потащил и Генку и овцу его в темноту. – Костер они жгут! И так весь лес спалили!

Я остался на месте и долго еще слышал, как дядя Паша ругал сына:

– Тебя мамка ждет или нет?

Почему-то он особенно напирал на то, что Генку ждала именно мамка, а он вроде бы и не ждал.

– Бать, бать... – послышался в последний раз Генкин голос. – Я больше не буду...

Грошев все махал брюками над костром.

– Я-то в сторону глядел, – объяснял он Николаю. – Потом смотрю – тебя нет. А ты в картошке лежишь!

– Пыхнула только, – ответил Николай. – А дальше не помню.

Грошев махнул брюками – с костра взлетел пепел, закружились его хлопья, словно моль, серые мотыльки. Сосновые искры потянулись в небо, остановились высоко над костром.

– Дома, – сказал Грошев, – я б сейчас телевизор включил. Семечек насыплю в блюдо и весь вечер сижусь.

Он махал брюками и отскакивал от костра, когда искра попадала на голые колени.

– Ну гроза была! Только пыхнула – тебя нет! А ты в картошке лежишь.

– Прямо под ноги ударила, – добавил Николай.

– Я давай тебя засыпать. Сыплю, сыплю, а ты не отходишь. Тут этот прибежал с фонариком. Искусственное дыхание, говорит, надо. Ты не врач, а?

– Китель бы мне зашить, – сказал Николай.

Я залез в палатку, устроился рядом с ним, подложил под голову рюкзак.

Грошев перестал махать брюками, надел их, присел на корточки у костра.

– Ну и денек сегодня был! – сказал он. – Ну и денек! И ведь утром все началось. Кудлатый какой-то выскочил из тумана – прямо на меня! Руками машет и кричит: «Леший я, леший!» Морда страшная!

– Да, – вспоминал Николай, – верно. Утром все началось.

– Что ж, – спросил я, – и ты, Николай, видел лешего?

– Видать-то не видел. Слышал только, как он рычит.

– А я видел, – зашептал Грошев и оглянулся тревожно на темный за спиной лес. –

Кудлатый, белый. Прямо на меня выскочил. Я хотел врезать ему с правого ствола – осечка! С левого – опять осечка!

Николай, засыпая, дергался, будто колола его под локти и под колени электрическая искра. Жар костра доходил до палатки, горячил лицо.

– Леший! – все вспоминал Грошев, глядя в огонь. – Да что же это такое, а?

– Так, – ответил я, уже задремывая. – Так, наверное, явление природы.

Листобой

Ночью задул листобой – холодный октябрьский ветер. Он пришел с севера, из тундры, уже прихваченной льдом, с берегов Печоры.

Листобой завывал в печной трубе, шевелил на крыше осиновую щепу, бил, трепал деревья, и слышно было, как покорно шелестели они, сбрасывая листья.

Раскрытая форточка билась о раму, скрипела ржавыми петлями. С порывами ветра в комнату летели листья березы, растущей под окном.

К утру береза эта была уже раскрыта настежь. Сквозь ветки ее текли и текли холодные струи листобоя, четко обозначенные в сером небе битым порхающим листом.

Паутина, растянутая в елочках строгим пауком-крестовиком, была полна березовых листьев. Сам хозяин ее уже скрылся куда-то, а она все набухала листьями, провисая, как сеть, полная лещей.

Найда

Найда – это имя так же часто встречается у гончих собак, как Дамка у дворняжек. Верная примета: гончая по имени Найда всегда найдет зверя.

Когда я приезжаю в деревню Стрюково к леснику Бульге, у крыльца встречает меня старая Найда, русская пегая. Ее белая рубашка расписана темными и медовыми пятнами.

– Ей скоро паспорт получать, – шутит Бульга. – Шестнадцать осеней.

Не годами – осенями отмечают возраст гончих собак. Лето и весну они сидят на привязи, и только осенью начинается для них настоящая жизнь.

Про молодую собаку говорят – первоосенница. Про старую – осенистая.

Найда немало погоняла на своем веку и заработала на старости лет свободную жизнь.

Молодые гончие Ураган и Кама на привязи, а Найда бродит где хочет.

Да только куда особенно ходить-то? Все исхожено. И Найда обычно лежит на крыльце, приветливо постукивая хвостом каждому прохожему.

В октябре, когда грянет листобой и начнется для гончих рабочая пора – гон по чернотропу, – Найда исчезает.

Целый день пропадает она в лесу, и от дома слышен ее глухой голос – то ли гонит, то ли разбирает заячьи наброды.

Заслышав ее, Ураган и Кама подхватывают, воют, рвутся с привязи, раззадоренные гонным голосом Найды.

К ночи возвращается Найда, скребется на крыльце, просится в дом.

– Куда-а? – хрипло кричит от стола Бульга. – В дом? Там сиди!

Но после все-таки открывает дверь, впускает Найду.

Покачивая головой, кланяясь, она переступает порог и, прихрамывая, идет к печке. Мякиши – так называют подошвы собачьих лап – сбиты у нее в кровь.

Найда ложится в теплом углу у печки и спит тревожно, дергается, лает, перебирает

лапами во сне – гонит, видно, осенистая.

Гонит, гонит...

По чернотропу

– Эй, давай-давай! Догоняй-добирай!

Мы с Бульгой бежим по лесу, кричим-поем, разжигаем собак.

– Где он? Где он? Где он? – на высокой ноте стонет Бульга.

– Вот он! Вот он! – поддерживаю я.

Собаки уж и сами разожжены. Огромный камнелобый Ураган проламывается по кустам, глаза его приналиты кровью; узкокостная, извилистая Кама носится вокруг и нервно дрожит, фыркает, припадая к палому листу.

Вот Кама подает голос, короткий, неуверенный. Эту первую фразу гона даже и нельзя назвать лаем. Это возглас. Так охнула бы женщина, уронившая кувшин с молоком: «Ой!»

– Ой-е-е-ей! – сразу подхватываем мы с Бульгой, и где-то в кустах хрипло рывкает Ураган, прочищает горло, утомленное летним глупым, безгонным лаем.

Кама заливается сплошной трелью, голос ее возвышается с каждой фразой, к ней подваливают старая Найда и Ураган – звенит, бьется, колотится меж елок, разливается по чернотропу, по застывающему предзимнему лесу голос гона.

– Напересек! – кричит Бульга.

– Напересек! – отвечаю я и бегу куда-то, уж и сам не знаю куда: напересек, на поляну, на просеку, в березняк, где таится в кустах, где мчится мне навстречу взматеревший осенний беляк.

Веер

На рябине, что росла у забора, неведомо откуда появилась белка.

Распушив хвост, сидела она в развилке ствола и глядела на почерневшие гроздья, которые качались под ветром на тонких ветвях.

Белка побежала по стволу и повисла на ветке, качнулась – перепрыгнула на забор. Она держала во рту гроздь рябины.

Быстро пробежала по забору, а потом спряталась за столбик, выставив наружу только свой пышный, воздушный хвост.

«Веер!» – вспомнил я. Так называют охотники беличий хвост.

Белка спрыгнула на землю, и больше ее не было видно, но мне стало весело. Я обрадовался, что поглядел на белку и вспомнил, как называется ее хвост, очень хорошо – веер.

На крыльце застучали сапоги, и в комнату вошел лесник Бульга.

– Этот год много белки, – сказал он. – Только сейчас видел одну. На рябине.

– А веер видел?

– Какой веер? Хвост, что ли?

– Тебя не проведешь, – засмеялся я. – Сразу догадался.

– А как же, – сказал он. – У белки – веер, а у лисы – труба. Помнишь, как мы лису-то гоняли?

Лису мы гоняли у Кривой сосны.

Лиса делала большие круги, собаки сильно отстали, и мы никак не успевали ее перехватить.

Потом я выскочил на узкоколейку, которая шла с торфяных болот, и увидел лису. Мягкими прыжками уходила она от собак. В прыжке она прижимала уши, и огненный хвост стелился за нею.

– А у волка хвост грубый и толстый, – сказал Бульга. – Называется – полено.

– А у медведя хвостик коротенький, – сказал я. – Он, наверное, никак не называется?

– Куцик.

– Не может быть!

– Так говорят охотники, – подтвердил Бульга. – Куцик.

Этот куцик меня рассмешил. Я раскрыл тетрадку и стал составлять список хвостов: веер, труба, полено, куцик.

На рябину тем временем вернулась белка. Она снова уселась в развилке ствола и оглядывала ягоды, свесивши свой пышный хвост – веер.

Был конец октября, и белка вылиняла уже к зиме. Шубка ее была голубая, а хвост – рыжий.

– Мы забыли зайца, – сказал Бульга.

А ведь верно, список хвостов получался неполный. Зайца забыли.

Заячий хвост называется – пых.

Или – цветок.

Ночные налимы

С первыми холодами в Оке стал брать налим.

Летом налим ленился плавать в теплой воде, лежал под корягами и корнями в омутах и затонах, прятался в норах, заросших слизью.

Поздно вечером пошел я проверить донки.

Толстый плащ из черной резины скрипел на плечах, сухие ракушки-перловицы, усеявшие окский песчаный берег, трещали под сапогами.

Темнота всегда настораживает. Я шел привычной дорогой, а все боялся сбиться и тревожно глядел по сторонам, разыскивая приметные кусты ивняка.

На берегу вдруг вспыхнул огонь и погас. Потом снова вспыхнул и погас. Этот огонь нагнал на меня тревогу.

Чего он там вспыхивает и гаснет, почему не горит подольше?

Я догадался, что это деревенский ночной рыбак проверяет удочки и не хочет, видно, чтоб по вспышкам фонаря узнали его хорошее место.

– Эй! – крикнул я нарочно, чтоб попутать. – Много ли наловил налимов?

«Многолиналивилналимов...» – отлетело эхо от того берега, что-то булькнуло в воде, и не было больше ни вспышки.

Я постоял немного, хотел еще чего-нибудь крикнуть, но не решился и пошел потихоньку к своему месту, стараясь не скрипеть плащом и перловицами.

Донки свои я разыскал с трудом, скользнул рукой в воду и не сразу нащупал леску в ледяной осенней воде.

Леска пошла ко мне легко и свободно, но вдруг чуть-чуть напряглась, и неподалеку от берега возникла на воде темная воронка, в ней блеснуло белое рыбе брюхо.

Пресмыкаясь по песку, выполз из воды налим. Он не бился бешено и не трепетал. Он медленно и напряженно изгибался в руке – ночная скользкая осенняя рыба. Я поднес налима к глазам, пытаюсь разглядеть узоры на нем, тускло блеснул маленький, как божья коровка, налимий глаз.

На других донках тоже оказались налимы.

Вернувшись домой, я долго рассматривал налимов при свете керосиновой лампы. Их бока и плавники покрыты были темными узорами, похожими на полевые цветы.

Всю ночь налимы не могли уснуть и лениво шевелились в садке.

Шакалок

Около клуба мне повстречался уличный деревенский пес по прозвищу Шакалок. Он радостно кинулся ко мне, подпрыгивая от восторга.

Я дал Шакалку кусочек хлеба и пошел по своим делам, а Шакалок побежал за мною.

Мы прошли чуть не всю деревню и встретили почтальона дядю Илюшу. Дядя Илюша отдал мне газету «Труд», и мы распрощались. Шакалок побежал теперь за почтальоном.

Дядя Илюша заходил в каждый дом, а Шакалок терпеливо ждал его на улице. Скоро им повстречался завскладом Колька Кислов, и дядя Илюша остался без собаки. Шакалок бежал теперь за Колькой.

Так целыми днями Шакалок менял хозяина и бегал то за тем, то за другим. А когда не бывало на улице человека, Шакалок торчал у магазина, поджидая кого-нибудь, за кем можно побежать. Шакалок был пепельно-рыжий пес, с розовым носом и разными глазами. Бегал он вприпрыжку.

Но вот в деревню Стрюково приехал новый учитель. Он покормил Шакалка городской колбасой, и тот не отставал теперь от учителя ни на шаг. Даже поджидал его у школы.

Раз я встретил учителя на улице. Он торопился в школу, а за ним деловито бежал Шакалок. Мы поздоровались, и я порадовался, что Шакалок нашел хозяина.

Я пошел дальше и вдруг почувствовал, что кто-то лизнул мне руку.

Шакалок-то бежал за мною.

Колышки

Ночью в лесу у костра на меня напал страх.

Я глядел в огонь и боялся поднять голову: казалось, кто-то смотрит на меня из

темноты.

Костер медленно загасал. В лесу было тихо. Только вдруг в тишине слышался тоненький треск и короткий шепот. Кто-то шептался обо мне, и казалось, я даже разбираю одно слово: «ко-лы-шки...»

«Какое дикое слово! – думал я. – К чему оно?»

Взяв топор, я обошел вокруг костра. Тень двигалась по стволам деревьев, а за спиной кто-то шептался, шушукался.

– Эй! – закричал я. – Чего вы там шепчетесь! Идите к огню...

Испугавшись громкого голоса, надо мной в верхушках деревьев кто-то зашуршал, отпрянул, и не скоро я понял, что это шевелится там и шепчется листвоной.

Снежура

Листобой пригнал снеговую тучу.

Не доходя деревни, улеглась она на верхушки елок, раскинула пятнистые лапы, свесила серую рысью морду. Потом загребла лапой – из лесу посыпались на деревню листья, а с ними одинокие большие снежинки.

В полете снежинки слепливались друг с другом и падали на землю, как узорные блины.

Туча цеплялась за верхушки деревьев, а листвобой подталкивал ее, гнал, торопил.

Нехотя подползла туча к деревне – густыми волнами повалил снег. Сразу накрыл он огороды, крыши домов.

Несколько антоновских яблок, которые случаем остались на дереве, превратились в белые пухлые лампы.

Прошла туча, и показалось, что наступила зима.

Но уже через минуту снег стал таять. Проступили под ним желтые лужи, выползла дорожная грязь, увядшая картофельная ботва.

Побелевшее было поле опять запестрело, и через полчаса кое-где только остались снежные пятна.

Я побежал из дому, нагреб под березой снегу и слепил первый в этом году снежок.

Найда вышла на крыльцо поглядеть, что я делаю.

– Эй, Найда, Найда, лови! – закричал я и хотел залепить в нее снежком, а он уже растаял. В руке от снежка осталось несколько березовых листьев.

Октябрьский снег – это еще не снег. Снежура.

Лось

Кукла, белоснежная лайка, нашла в чернолесье лося.

Гончие сразу подвалили к ней и, когда мы выскочили на поляну, уже обложили лося кругом, заливались, хрипели, исходили яростью.

Наклонив голову к земле, он мрачно глядел на собак и вдруг выбрасывал вперед ногу – страшное живое копые.

Один удар пришелся в березку – она рухнула, как срубленная топором.

Мы с Бульгой долго бегали вокруг, ругались, трубили в рога, но никак не могли оторвать собак от лося.

Этого лося хорошо знают деревенские жители. Они боятся его, считают, что он «хулиган», «архаровец». Когда-то он будто погнался за молодой бабой, напал на коров, приходил много раз в деревню и подолгу стоял у Миронихина дома. Чуть ли не спрашивал: «А где Мирониха?»

Один раз он и меня сильно перепугал.

Затаившись, ждал я на лесном болоте уток, когда вдруг услышал в орешнике треск сучьев и тяжелое дыхание «архаровца».

Багровый на закате, огромный, ободранный, тонконогий, он вышел на поляну и стал в десяти шагах, глядя на меня.

Я поглубже ушел в елку, а он все глядел на меня, раздувая ноздри, шевеля тяжелой губой. Черт его знает, о чем он думал.

Листья

К утру иногда затихнет, но к вечеру снова расходится и свистит, шастает по деревьям, швыряется листьями надоедливый листобой.

Березки на опушке давно уже сдались ему; без листьев сразу стали они сиротливыми, растерянно стоят в пожухлой траве.

А осины совсем омертвели. Вытянув крючья веток, они ловят чужие листья, как будто никогда не имели своих.

Я поднял осиновый лист. Обожженный бабьим летом, лист горел, как неведомая раковина. Огненный в центре, он угасал к краям, оканчивался траурной каймой.

В глубине леса нашел я клены. Защищенные елками, неторопливо, с достоинством роняли они листья.

Один за другим я рассматривал битые кленовые листья – багряные с охристыми разводами, лимонные с кровяными прожилками, кирпичные с крапом, рассеянным четко, как у божьей коровки.

Клен – единственное дерево, из листьев которого составляют букеты. Прихотливые, звездчатые, они еще и разукрасились таким фантастическим рисунком, какого никогда не придумает человек.

Рисунок на листьях клена – след бесконечных летних восходов и закатов. Я давно замечаю: если лето бывало дождливым, малосолнечным, осенний кленовый лист не такой молодец.

Кувшин с листобоем

Сырой землей, опятами, дымом с картофельных полей пахнет листобой.

На речном обрыве, где ветер особенно силен, я подставил под его струю красный глиняный кувшин, набрал побольше листобая и закупорил кувшин деревянной пробкой, залил ее воском.

Зимним вечером в Серебряническом переулке соберутся друзья. Я достану

капусту, квашенную с калиной, чистодорские рыжики. Потом принесу кувшин, вытащу пробку.

Друзья станут разглядывать кувшин, хлопать по его звонким бокам и удивляться, почему он пустой. А в комнате запахнет сырой землей, сладкими опятами и дымом с картофельных полей.

Чистый Дор

По лесной дороге

Солнце пекло уже которую неделю.

Лесная дорога высохла и побелела от пыли.

В колеях, где стояли когда-то глубокие лужи, земля лопнула, и трещины покрыли ее густой сетью. Там, в колеях, прыгали маленькие, сухие лягушки.

Издали я увидел: в придорожной канаве в кустах малины мелькает белый платочек. Небольшая старушка искала что-то в траве.

– Не иголку ли потеряли? – пошутил я, подойдя.

– Топор, батюшка. Вчера попрятала, да забыла, под каким кустом.

Я пошарил в малине. С коричневых мохнатых стеблей и с вялых листьев сыпалась пыль. Топор блеснул в тени под кустами, как глубинная рыба.

– Вот он! – обрадовалась старушка. – А я-то думаю: не лесовик ли унес?

– Какой лесовик?

– А в лесу который живет. Страшный-то эдакий – бычьи бельмищи.

– Ну?

– Борода синяя, – подтвердила старушка, – а по ней пятнышки.

– А вы что, видели лесовика?

– Видела, батюшка, видела. Он к нам в магазин ходит сахар покупать.

– Откуда ж он деньги берет?

– Сам делает, – ответила старушка и пошла с дороги. Ее платочек сразу пропал в высокой траве и выпорхнул только под елками.

«Ну и ну!.. – думал я, шагая дальше. – Что же это за лесовик – бычьи бельмищи?»

Несмотря на солнечный день, темно было под елками. Где-нибудь в этой темноте, подалее от дороги, и сидит, наверно, лесовик.

Вдруг лес кончился, и я увидел большое поле, подобное круглому озеру. В самом центре его, как остров, стояла деревня.

Голубые масляные волны бродили по полю. Это цвел лен. Высокий небесный купол упирался в лесные верхушки, окружавшие поле со всех сторон.

Я глядел на деревню и не знал, как она называется, и, уж конечно, не думал, что стану жить здесь, снова увижу старушку в белом платочке и даже лесовика.

Чистый Дор

Лесная дорога пошла через поле – стала полевой. Дошла до деревни – превратилась в деревенскую улицу.

По сторонам стояли высокие и крепкие дома. Их крыши были покрыты осиновой щепой. На одних домах щепа стала от ветра и времени серой, а на других была новой, золотилась под солнцем.

Пока я шел к журавлю-колодцу, во все окошки смотрели на меня люди: что это, мол, за человек идет?

Я споткнулся и думал, в окошках засмеются, но все оставались строгими за стеклом.

Напившись, я присел на бревно у колодца.

В доме напротив раскрылось окно. Какая-то женщина поглядела на меня и сказала внутрь комнаты:

– Напился и сидит.

И окно снова закрылось.

Подожли два гусака, хотели заготовить, но не осмелились: что это за человек чужой?

Вдруг на дороге я увидел старушку, ту самую, что искала в лесу топор. Теперь она тащила длинную березовую жердь.

– Давайте пособию.

– Это ты мне топор-то нашел?

– Я.

– А я-то думала: не лесовик ли унес?

Я взял жердь и потащил ее следом за старушкой.

В пятиоконном доме распахнулось окно, и мохнатая голова высунулась из-за горшка с лимоном.

– Пантелевна, – сказала голова, – это чей же парень?

– Мой, – ответила Пантелевна. – Он топор нашел.

Мы прошли еще немного. Все люди, которые встречались нам, удивлялись: с кем это идет Пантелевна?

Какая-то женщина крикнула с огорода:

– Да это не племянник ли твой из Олюшина?

– Племянник! – крикнула в ответ Пантелевна. – Он топор мне нашел.

Тут я сильно удивился, что стал племянником, но виду не подал и молча поспедал за Пантелевной.

Встретилась другая женщина, с девочкой на руках.

– Это кто березу-то везет? – спросила она.

– Племянник мой, – ответила Пантелевна. – Он топор нашел, а я думала: не лесовик ли унес?

Так, пока мы шли по деревне, Пантелевна всем говорила, что я ей племянник, и рассказывала про топор.

– А теперь он березу мне везет!

– А чего он молчит? – спросил кто-то.

– Как так молчу? – сказал я. – Я племянник ей. Она топор потеряла и думает, не лесовик ли унес, а он в малине лежал. А я племянник ей.

– Давай сюда, батюшка племянник. Вот дом наш.

Когда выстраивается шеренга солдат, то впереди становятся самые рослые и brave, а в конце всегда бывает маленький солдатик. Так дом Пантелевны стоял в конце и был самый маленький, в три оконца. Про такие дома говорят, что они пирогом подперты, блином покрыты.

Я бросил березу на землю и присел на лавочку перед домом.

– Как называется ваша деревня? – спросил я.

– Чистый Дор.

– Чего Чистый?

– Дор.

Дор... Такого слова я раньше не слышал.

– А что это такое – Чистый Дор?

– Это, батюшка, деревня наша, – толковала Пантелевна.

– Понятно, понятно. А что такое дор?

– А дор – это вот он весь, дор-то. Все, что вокруг деревни, – это все и есть дор.

Я глядел и видел поле вокруг деревни, а за полем – лес.

– Какой же это дор? Это поле, а вовсе не дор никакой.

– Это и есть дор. Чистый весь, глянь-ка. Это все дор, а уж там, где елочки, – это все бор.

Так я и понял, что дор – это поле, но только не простое поле, а среди леса. Здесь тоже раньше был лес, а потом деревья порубили, пеньки повыдергивали. Дергали, дергали – получился дор.

– Ну ладно, – сказал я, – дор так дор, а мне надо дальше идти.

– Куда ты, батюшка племянник? Вот я самовар поставлю.

Ну что ж, я подождал самовара. А потом приблизился вечер, и я остался ночевать.

– Куда ж ты? – говорила Пантелевна и на следующее утро. – Живи-ка тут. Места в избе хватит.

Я подумал-подумал, послал куда надо телеграмму и остался у Пантелевны. Уж не знаю, как получилось, но только прожил я у нее не день и не месяц, а целый год.

Жил и писал свою книжку. Не эту, а другую.

Эту-то я пишу в Москве.

Гляжу в окошко на пасмурную пожарную каланчу и вспоминаю Чистый Дор.

Стожок

У излучины реки Ялмы в старой баньке жил, между прочим, дядя Зуй.

Жил он не один, а с внучкою Нюркой, и было у него все, что надо, – и куры, и корова.

– Свиньи вот только нету, – говорил дядя Зуй. – А на что хорошему человеку свинья?

Еще летом дядя Зуй накопил в лесу травы и сметал стожок сена, но не просто сметал – хитро: поставил стог не на землю, как все делают, а прямо на сани, чтоб сподручней было зимой сено из лесу вывезти.

А когда наступила зима, дядя Зуй про то сено забыл.

– Дед, – говорит Нюрка, – ты что ж сено-то из лесу не везешь? Ай позабыл?

– Какое сено? – удивился дядя Зуй, а после хлопнул себя по лбу и побежал к председателю лошадь просить.

Лошадь председатель дал хорошую, крепкую. На ней дядя Зуй скоро до места добрался. Смотрит – стожок его снегом занесен.

Стал он снег вокруг саней ногой раскидывать, оглянулся потом – нет лошади: ушла, проклятая!

Побежал вдогонку – догнал, а лошадь не идет к стогу, упирается.

«С чего бы это она, – думает дядя Зуй, – упирается-то?»

Наконец-таки запряг ее дядя Зуй в сани.

– Но-о-о!..

Чмокает дядя Зуй губами, кричит, а лошадь ни с места – полозя к земле крепко примерзли. Пришлось по ним топориком постучать – сани тронулись, а на них стожок. Так и едет, как в лесу стоял.

Дядя Зуй сбоку идет, на лошадь губами чмокает.

К обеду добрались до дому, дядя Зуй стал распрягать.

– Ты чего, Зуюшко, привез-то? – кричит ему Пантелевна.

– Сено, Пантелевна. Чего ж иное?

– А на возу у тебя что?

Глянул дядя Зуй и как стоял, так и сел в снег. Страшная какая-то, кривая да мохнатая морда выставилась с воза – медведь!

«Р-ру-у-у!..»

Медведь зашевелился на возу, наклонил стог набок и вывалился в снег. Тряхнул башкой, схватил в зубы снегу и в лес побежал.

– Стой! – закричал дядя Зуй. – Держи его, Пантелевна.

Рявкнул медведь и пропал в елочках.

Стал народ собираться.

Охотники пришли, и я, конечно, с ними. Толпимся мы, разглядываем медвежьи следы.

Паша-охотник говорит:

– Вон какую берлогу себе придумал – Зуев стожок.

А Пантелевна кричит-пугается:

– Как же он тебя, Зуюшко, не укусил?..

– Да-а, – сказал дядя Зуй, – будет теперь сено медвежатиной разить. Его, наверно, и корова-то в рот не возьмет.

Весенний вечер

Солнце повисело в осиновых ветках и пропало за лесом. Закат расплылся в небе.

Низко, в половину березы, над просекой пролетел большой ястреб. Он летел бесшумно, совсем не шевеля синими крыльями.

Я стоял на поляне, снега на которой почти не было. Только под высокими деревьями еще холодели сугробы.

Дрозды-дерябы трещали и голосили на елках. Казалось, это еловые шишки трутся друг о друга зазубренными боками.

Я почувствовал странный запах, который шел с земли. Из старой травы, из прелых листьев торчали какие-то короткие стебли. На них распустились небольшие сиреневые цветочки. Я хотел сорвать несколько, но стебли не поддавались, гнулись в руках и наконец лопнули, переломившись. Они оказались полыми – пустыми внутри.

От цветов пахло так приятно, что даже закружилась голова, но стебли их будто зашевелились в руке. Показалось, они живые и ядовитые.

Стало неприятно, и я отложил цветы на пенек.

«Свис-с-с-с!..» – пронеслись над поляной чирки. Еле заметен в темном небе их серебряный след.

Сумрак поднялся с земли, стемнело, и тогда послышался хриплый и ласковый голос за березами:

«Хорх... хорх... хорх... хорх...»

Длинноклювая, с косыми крыльями птица вылетела из-за леса и пошла над поляной – «хорх... хорх...», – то ныряя вниз, то вскидываясь, как бабочка.

Вальдшнеп! Вальдшнеп тянет!..

Совсем стемнело, и я пошел к дому.

Холодом тянуло по земле, хрустела под ногами корка льда, схватившая лужи.

На опушке в лицо вдруг повеяло теплом. Земля оттаяла, согрелась за день, теперь воздух греется об нее.

Я шел полем и вспоминал цветы, оставленные на пеньке. Снова показалось, что стебли их шевелятся, шевелятся в руке.

Я не знал, как называются эти цветы.

Потом только узнал – волчье лыко.

Фиолетовая птица

Как-то в мае, когда снег уже потаял, я сидел на стуле, вынесенном из дому, и чистил ружье.

Дядя Зуй сидел рядом на чурбаке и заворачивал махорочную самокрутку.

– Видишь ты, какие дела-то... – сказал он. – Куры у меня не ноские.

– Яиц не несут?

– Яйцо в неделю – разве ж это носкость?

Такого слова я вроде не слышал. Чудное – сразу в нем и «нос» и «кость».

Сквозь ружейные стволы я глянул в небо. В них вспыхнули и нанизались одно на другое светлые оранжевые кольца, где-то в конце стволов слились в голубой пятачок – кусок неба.

– Я уж тут новую несущку купил, – толковал дядя Зуй. – У Витьки Белова. У него все куры ноские.

Дочистив ружье, я пошел поглядеть на новую несущку.

Три курицы бродили у Зуюшки во дворе. Две-то были знакомые пеструшки, а третья – необыкновенного фиолетового цвета. Но вела она себя нормально, говорила «ко-ко-ко» и клевала намятую вареную картошку.

– Что это за масть у нее?

– Она белая, – сказал дядя Зуй. – Но, видишь ты, белые куры в каждом дворе, так я ее чернилами приметил, чтоб не спутать.

– Гляди, станет она фиолетовые яйца носить.

Тут курица вдруг подошла ко мне и – хлоп! – клюнула в сапог.

– Пошла! – сказал я и махнул ногой.

Курица отскочила, но потом снова подбежала и – хлоп! – клюнула в сапог.

– Цыпа-цыпа, – сказал дядя Зуй, – ты что, холера, делаешь?

Тут я догадался, в чем дело. Сапоги были все облеплены весенней грязью. С утра я ходил на конюшню, а там кто-то просыпал овес. Потом белил яблони, обкапал сапоги известкой. Каждый сапог превратился теперь в глиняный пирог с овсом и с известкой.

Фиолетовой несущке так понравились мои сапоги, что, когда я пошел домой, она двинула следом.

На крыльце я снял сапоги и отдал ей на растерзание. Из окошка я видел, что она обклевала весь овес и всю известку. Известка ей нужна, чтоб скорлупа у яиц была прочнее.

Обклевав сапоги, курица опрокинула банку с червями, накопанными для налимов, и принялась за них.

Тут я не выдержал, выскочил на крыльцо и схватил полено.

Взмахнув чернильными крыльями, она перелетела со страху весь двор и уселась на березе.

На другой день, возвращаясь с охоты, я увидел на дороге фиолетовую птицу. Издалека она узнала меня и подбежала, чтоб клюнуть в сапог.

Пока была на дорогах грязь, курица встречала и провожала меня. Но вот весна кончилась, грязь на дорогах подсохла. Как-то я шел из леса и снова увидел на дороге

свою знакомую.

А она-то даже и не поглядела на меня, пошла прочь.

«Что такое?» – подумал я.

Глянул на свои сапоги и увидел – нету сапог. Иду я по траве босиком – лето наступило.

Под соснами

Апрель превратился в май. Снега в лесу совсем не осталось, а солнце грело и грело. Оно меня совсем разморило после бессонной ночи на глухаринном току.

Я шел по болоту и время от времени бухался на колени в моховую кочку – собирал прошлогоднюю клюкву.

Перележав зиму под снегом, клюква стала синеватой и сладкой.

За болотом оказался бугор. Здесь росли десятка два сосен.

Я снял куртку, постелил ее и прилег под соснами.

Бугор сплошь был усыпан божьими коровками, как давешние болотные кочки клюквой. Мне это понравилось, но скоро я понял, что клюква лучше божьих коровок хотя бы потому, что она не двигается.

Напрасно я просил их улететь на небо и принести хлеба – божьи коровки ползали по лицу, забирались в волосы и за пазуху. Вначале я сощелкивал их, а потом плюнул и, перевернувшись на спину, стал глядеть вверх.

Сосны уходили в небо.

Казалось, они растут прямо из меня, из моей груди.

Божьи коровки взлетали, и тогда было видно, как закручивается между стволов кирпичная и прозрачная точка.

Вверху дунул ветер. Сосна уронила шишку.

Шишка гулко ударилась о землю.

Я прикрыл глаза и задремал. Было слышно, как шумят сосновые ветки и далеко бубнят-бормочут тетерева.

Послышался приглушенный звук трубы.

«Лось, что ли? – подумал я. – Да нет, гон у лосей осенью».

Труба была еле слышна, но играла отчетливо, с переливами.

Звук ее был медный, не лесной. Лось не умеет так трубить. У него голос – стон, глухой, хриплый, а этот будто неживой.

Очень тихо, незаметно за первой трубой вступила вторая. Ее голос был ниже. Он помогал, подпевал первой.

«Что это за трубы? – думал я. – Не лось это и не журавель».

Солнце припекало, и я дремал, а потом и вовсе заснул и во сне уже сообразил, что звуки эти доносятся из земли, из бугра. А бугор похож на огромный кривой барабан. Он ухаает и глухо гудит, а совсем-совсем глубоко в земле слышатся переливы, будто кто-то струны перебирает.

Мне снилось, что сосны – это и есть медные музыкальные трубы, только корявые, обросшие ветками. Они трубят, медленно раскачиваясь надо мною.

Когда я проснулся, солнце опускалось. Ни звуков трубы, ни струнных переборов не было теперь слышно. Только на нижних ветках сосны бил зяблик.

Я приложил ухо к сосновому стволу: слышался шум, далекий, как в морской раковине.

Спустившись с бугра, я пошел к дому, а сам все думал, что же это за звуки доносились из земли. Может быть, в бугре был подземный ручей – играл, захлебывался

весенней водой?

В тот день я добрался к дому под вечер, сразу пошел в баню и, конечно, думать забыл о звуках, которые доносились из бугра.

Я бы и не вспомнил о них, если б не услышал вот какую историю.

Во время войны здесь, неподалеку от Чистого Дора, был бой.

Наши солдаты шли через лес и через болота, а немцы обстреливали их из минометов. Вместе со всеми шел солдатский духовой оркестр.

Перед боем музыканты спрятали свои инструменты. На каком-то бугре среди леса они закопали в землю трубы и валторны, флейты, барабаны и медные тарелки. Чтоб не достались врагу.

Оркестр не достался врагу, но многие солдаты погибли в бою, а те, что остались живы, не смогли потом разыскать в лесу этот бугор.

А я-то теперь думаю, что как раз спал на том самом месте.

Около войны

До Чистого Дора немец не дошел.

Но был он близко.

За лесом слышался рев орудий и такой скрежет, будто танкетки грызлись между собой. В серых облаках, висящих над деревней, иногда вдруг вспыхивали ослепительные искры, а между вспышками сновали маленькие крестообразные самолеты.

Все дома Чистого Дора стояли тогда пустые. Мужчины были на фронте, женщины эвакуировались.

Только в одном доме жили люди: тетка Ксения с двумя детьми и Пантелевна. Они собрались жить вместе, чтобы не было так страшно.

Ночами, когда дети спали, женщины глядели в окно на снежное поле и лес. Им казалось – немец подкрадывается, таясь за деревьями.

Как-то ночью в дверь им вдруг стукнул кто-то и крикнул:

– Открывай, что ли!

Женщины не стали открывать.

– Открывай! – снова крикнул человек с крыльца. – Я ведь замерз.

Тетка Ксения подошла к двери и спросила:

– Кто?

Это был Мохов-безрукий из соседней деревни, из Олюшина. Его не взяли на фронт.

– Что ж вы свечку не зажжете? – сказал Мохов, входя в избу. – Темень у вас.

– Нету свечки, – сказала Пантелевна, – садись вот на сундук.

– Мохов, – сказала тетка Ксения, – ты к нам жить перебирайся, страшно без мужика.

– Куда я из дому? У меня там тоже бабы с детьми. Вы к нам перебирайтесь.

– Нет, – сказала Ксения, – тут наш дом.

Мохов достал из кармана горсть чернослива.

– Красноармейцы дали, – сказал он.

Тетка Ксения повынимала из слив косточки и сунула спящим ребятам каждому в рот по сливине. Они дальше спали и сосали чернослив.

– Вот что, – сказал Мохов, – сидеть мне с вами некогда, надо идти, а завтра утром приходите ко мне. Я вам насыплю картошки. У меня еще осталась.

Мохов ушел, а женщины снова глядели в окно до самого свету.

Утром они подняли детей и пошли в Олюшино.

За лесом сегодня не скрежетало и не было слышно взрывов.

– Бой кончился, – сказала тетка Ксения, – только не знаю, на чьей стороне победа. Ладно бы на нашей.

– А вдруг на его? – сказала Пантелевна.

– Он бы тогда сюда пришел.

– Может быть, подкрадывается, – сказала Пантелевна.

Они поглядели за деревья, но никого не было видно – только снег лежал.

Просветлело.

Сизые перья протянулись по небу, и за лесом зажглась солнечная полоса.

И тут женщины увидели вдруг какой-то предмет. Он плыл над лесом медленно-медленно. Ветки заслоняли его, и нельзя было разобрать, что это.

– Бежим! – сказала Пантелевна.

Ей стало страшно: что это летит по небу?

Темный предмет выплывал из-за деревьев. Восходящее солнце вдруг осветило его, и они увидели, что это по небу летит человек. Только очень большой.

– Мужик! – крикнула Пантелевна.

А тетка Ксения заплакала и села в снег. Она не могла понять, как летит человек, и плакала, и крепко держала детей.

Огромный человек плыл над лесом.

Огромный, больше деревьев, стоящих под ним.

Он плыл-летел, лежа на боку и поджав ноги.

Он был в солдатской шапке и в шинели. Полы шинели развевались, и слышно было, как они трещат от ветра, дующего наверху.

Пантелевна побежала по снегу, чтобы спрятаться от этого страшного летящего мужика, а он молча плыл над лесом, над Чистым Дором.

Бежать было некуда, и Пантелевна остановилась.

Она глядела, как висит над ней огромный солдат, поджавший ноги к животу, и не могла понять, мертвый он или живой. И почему он такой большой? И зачем по небу летит?

В шинели его были видны большие дыры. И еще была видна красная звезда, только не на шапке, а на плече.

– Не бойся! – крикнула Пантелевна, увидев звезду. – Это наш!

Но тетка Ксения боялась поднять голову и поглядела наверх, только когда огромный солдат отплыл в сторону.

– Его, наверно, ранили, – сказала Пантелевна.

Она теперь думала, что у нас есть такие большие солдаты, которые умеют летать.

Он отплывал в сторону, по-прежнему поджав колени и подложив под голову ладонь.

Лицо его было совсем серым.

Солнце поднялось выше, и сильнее задул ветер, подхватил солдата, понес его дальше.

Нет, он, видимо, был убит, этот огромный солдат, и уже не сопротивлялся ветру. Скоро он ушел за лес на другой стороне Чистого Дора.

А женщины все никак не могли понять, откуда взялся этот большой человек, зачем он летал по небу и как его убили. Они пошли дальше по дороге в Олюшино и ждали, что по небу поплывут новые огромные люди. Но небо было пусто.

А огромный солдат летел дальше, по-прежнему поджав ноги к животу. Потом он стал медленно опускаться и наконец лег на верхушки елок.

Он сделался меньше и постепенно сползал с елок на землю.

Какие-то запутанные веревки протянулись от него по елочным верхушкам, куски

толстой материи нависли на ветках, ссыпали с них снег.

Это был аэростат воздушного заграждения. Немецкий самолет налетел на него, переломил себе крыло и разбился об землю. От удара самолета аэростат тоже получил пробоину, опустился к земле, выпустив через дырку часть газа.

Он перекрутился весь и превратился в солдата, в огромного человека, и утреннее солнце призрачно осветило его. Ни тетка Ксения, ни Пантелевна не знали этого. Они сидели у Мохова в избе, варили картошку и рассказывали, какие у нас есть огромные летающие солдаты.

– Как жалко-то его! – сказала Ксения. – Такой был большой, а не уберегся. Снаряд, наверно, в него попал.

– Ему бы затаиться, – сказала Пантелевна, – а он эвон куда – по небу поплыл.

Березовый пирожок

Братья Моховы с Нюркой пошли в лес по ягоды, а я так пошел, сам по себе.

И хоть шел я сам по себе, а они по ягоды – все равно мы все время оказывались рядом. Я иду, а сбоку то Нюрка выглянет, то какой-нибудь брат Мохов.

Заверну в сторону, чтоб побыть в тишине, а уж из кустов другой брат Мохов вылезает. Эти братья особенно надоедали – бидонами дрались, валуями кидались или вдруг начинали кричать:

– Надо свинку подколоть! Надо свинку подколоть!

Нюрка была потише, но, как дело до свинки доходило, тоже кричала изо всех сил:

– Надо свинку подколоть! Надо свинку подколоть!

– Эй! – крикнул я. – Кого вы там подкальваете?

– Свинку! – хором отозвались братья Моховы.

– Какую еще свинку? Тащите ее сюда!

Братья Моховы и Нюрка выскочили из кустов с бидонами в руках, никакой свинки видно не было.

– А свинка где? – строго спросил я.

– Вот, – сказала Нюрка и протянула мне травинку, на которую нанизаны были земляничины.

– Земляника, – сказал я.

– Земляника, – согласилась Нюрка. – Но только – свинка.

Я пригляделся и увидел, что ягоды, нанизанные на стебель, были особенно крупные, особенно спелые, черные от густой красноты. Снял ягоду со стебля, положил в рот и понял, что и вкус у нее особенный. У простой земляники – солнечный вкус, а тут – лесной, болотный, сумрачный.

Долго, видно, зрела эта ягода, набиралась солнца и сока, сделалась лучшей из земляничин.

Я нашел подходящую травинку, выдернул из нее стебель и вместе с ребятами стал собирать ягоды и покрикивать:

– Надо свинку подколоть! Надо свинку подколоть!

Скоро травинка моя стала тяжелой от нанизанных на нее земляничин. Приятно было нести ее, помахивать ею, разглядывать.

К обеду бидоны у ребят были полны, и я подколот свинки травинки пять. Присели отдохнуть. Тут бы и перекусить, а никто из нас не взял в лес ни сухаря, ни лепешки.

– Надо свинку рубануть! – кричали братья Моховы.

– Что собрали – домой понесем, – сказала Нюрка. – Погодите, я сейчас пирожков напеку.

Она сорвала с березовой ветки листок, завернула в него пяток земляничин и первому, как старшему, протянула мне.

– Что это? – спросил я.

– Березовый пирожок. Ешь.

Очень вкусным оказался березовый пирожок. Земляникой от него пахло и солнцем, лесным летом, глухим лесом.

Лесовик

Я плыл по Ялме.

Сидел на корме лодки, помахивал веслом. Далеко уже отплыл от Чистого Дора, вместе с речкой углубился в лес.

Вода под лодкой черная, настоялась на опавших листьях. Над нею синие стрекозы перелетают.

Захотелось что-нибудь спеть, просто так, от хорошего настроения. А вдруг, думаю, здесь какая-нибудь девушка малину собирает! Услышит, как я хорошо пою, – выйдет на берег. Размечтался я и грянул:

Ой, когда мне было лет семнадцать,
Ходил я в Грешнево гулять...

Допел первый куплет и уже хотел за второй взяться – вдруг слышу:

– Ты чего орешь?

Вот тебе на! Оказался кто-то на берегу. Только не девушка. Голос грубый, болотный.

Огляделся – не видно никого в берегах. Кусты.

– Чего головой крутишь? Ай не видишь?

– Не вижу чтой-то, дядя.

– А не видишь, так и не видь.

– Эй, дядя, – сказал я, – да ты кустиком пошевели!

Молчит.

Ну, глупое положение!

Отложил я весло, хотел закурить. Шарь-пошарь – нету махорки. Только что в кармане шевелилась – теперь нету.

Вдруг стемнело над рекой. Солнце-то, солнце за тучку ушло!

Куда ж это я забрался? Лес кругом страшный, корявый, черный, вода в реке черная, и стрекозы над ней черные. Какие тут девушки? Какая малина? Ударил я веслом – и ходом к дому, в Чистый Дор, к Пантелевне.

– Ну, батюшка, – сказала Пантелевна, – спасибо, жив остался. Он бы тебя в болото завел.

– Кто?

– Лесовик! Знаешь, как он Миронику-то водил? Иди, говорит, сюда, девушка, я тебе конфетку дам. А Мирониха по глупости идет за конфеткой. А он ей в руку впился и в болото тянет. Тут магушка Мирониха помирать начала. Во ведь как бывает.

Не стал я спорить с Пантелевной, а Миронику, конечно, знал. Как придет вечером, обязательно что-нибудь приврет.

Месяц прошел с тех пор, и я забыл про лесовика. А как в августе рыжики-то пошли – вспомнил.

С дядей Зуем отправились мы за рыжиками. Босиком.

Чистодорские жители все ходят за рыжиками босиком – ногами ищут. Вот ведь история! А делается это для того, чтоб найти в траве самый маленький рыжик. Руками шарить – колени протрешь. Главная задача – найти такой рыжик, чтоб он в бутылочное горлышко пролезал. Подберезовики и маслята солят в бочках, а рыжики – только в бутылках. Насолишь на зиму бутылочек двадцать, потом только вытряхивай.

Я-то вначале ходил собирать в сапогах, на месте разувался. А потом плюнул – ходишь, как неумный, с сапогами в руках. Стал было ходить в одном сапоге – как-никак одна нога рабочая, – но и это бросил: задразнили.

С дядей Зуем пришли мы в сосняки. Рыжиков много.

Зуюшко ногой строчит, как швейная машина «Зингер», а я осторожно собираю. Еле-еле ногой шарю – боюсь змею собрать.

За спиной у меня что-то зашелестело в кустах. Оглянулся я и замер. Медленно-медленно высовывается из куста длинная палка. А на конце ее приделан острый кривой нож. И вот этот нож тянется ко мне!

Тут у меня сердце зашло. Стою столбом, а нога сама по себе рыжики ищет.

Кусты раздвинулись, и из листьев показался человечек, маленький, ростом с пень. Лесовик! В руках держит палку с ножом на конце, сам весь корявый, борода серо-синяя, а руки черные, как головешки. Смотрит на меня, ножовой палкой покачивает и говорит, как из дупла:

– Рыжики берешь?

– Ага, – говорю я. – Рыжичков бы нам.

– Нам бы рыжичков, – сбоку говорит дядя Зуй. – В бутылочку.

– В каку таку бутылочку?

– А в поллитровочку, для прелести посола.

– Ага, – говорит лесовик и башкой кивает. – Сей год рыжичков много, прошлый меньше было. А махорки у вас нету ли?

– Есть, – говорит дядя Зуй. – Есть махорка.

Лесовик сел на пень и стал самокрутку крутить. Тут я его как следует разглядел: все верно, точно такой, как Пантелевна рассказывала, только что-то клыков не видно.

Дядя Зуй подошел к пню и говорит:

– А вы каким промыслом занимаетесь?

– Живицу я собираю, – говорит лесовик. – Смолку сосновую. Я насквозь просмоленный, как птица клест. Руки мои ни за что не отмоешь, вон и в бороду смола накапала.

Тут мне все стало ясно. Часто в лесу я видел сосны с насечками на стволах. Эти насечки делаются уголками, одна над другой. Смола перетекает из насечки в насечку, а потом капает в баночку. Смола эта и называется «живица», потому что она рану на стволе дерева заживляет.

Я даже огорчился, что лесовик смоловиком оказался, спрашиваю дальше:

– А это что за палка у вас страшная?

– Это палка-хак. Этой палкой-хаком я делаю насечки на сосне, чтобы живица выступила.

– А сосна не мрет ли от вашей работы? – спрашивает дядя Зуй.

– Не, – говорит смоловик, – пока не мрет.

Дали мы смоловику еще махорки и пошли дальше. А когда уже разошлись, я вспомнил: надо было спросить, не он ли окликал меня, когда я в лодке плыл...

Вечером всю эту историю я рассказал Пантелевне. Так, мол, и так, видел лесовика.

– Э, батюшка, – сказала Пантелевна, – да разве ж это лесовик? Настоящий лесовик в лесу сидит, бельмищи свои пучит да деньги делает.

Железяка

Безоблачной ночью плавает над Чистым Дором луна, отражается в лужах, серебрят крытые щепой крыши. Тихо в деревне.

С рассветом от берега Ялмы раздаются глухие удары, будто колотит кто-то в заросший мохом колокол. За вербами темнеет на берегу кузница – дощатый сарай, древний, закопченный, обшитый по углам ржавыми листами жести. Отсюда слышны удары.

Рано я выхожу на рыбалку. Темно еще, темно, и странно выглядит этот сарай в пасмурном ольховнике.

Вдруг открывается дверь, а там – огонь, но не яркий, как пламя костра, а приглушенный. Такого цвета бывает калина, когда ее ударит мороз. Огненная дверь кажется пещерой, которая ведет, может быть, и внутрь земли.

Из нее выскакивает на берег маленький человек. В руках – длинные клещи, а в них зажата раскаленная драконья кость. Он сует ее в воду – раздается шипение похлеще кошачьего или гадючьего. Облако пара вырывается из воды.

– Здравствуй, Волошин, – говорю я.

В полдень, возвращаясь домой, я снова прохожу мимо. Вокруг кузницы теперь полно народу: кто пришел за гвоздями, кто лошадь подковать.

Внутри пылает горн. Шурка Клеткин, молотобоец, раздувает мехи – выдыхает воздух в горн, на уголья. В самом пекле лежит железная болванка. Она так раскалилась, что не отличишь ее от огня.

Длинными клещами Волошин выхватывает ее, ставит на наковальню. Шурка бьет по ней молотом, и болванка сплющивается, а Волошин только поворачивает ее под ударами. Шурка Клеткин крепкий малый; плечи у него тяжелые, как гири. Он – силач, а Волошин – мастер.

– Ну что, парень? – говорит мне Волошин. – На уху наловил ли?

Я вываливаю из сетки язей.

– Будет навар, – хрипло говорит Шурка Клеткин, разглядывая язей. – Во, блестят, ну прямо железяки!

У Шурки все железяки. Трактор – железяка, ружье – железяка, котелок – тоже железяка.

Шурка парень молодой, а голос у него хриплый, как у старого чугунного человека.

На берегу мы чистим язей. Чешуя брызгами разлетается под ножом, блестит в прибрежной траве. Потом Волошин берет клещами котелок и ставит его в середину горна, на самый жар.

К ухе дядя Зуй подоспел. Прикатил в кузницу колесо, старое да ржавое. Где он такое выкопал? Дядя Зуй любит Волошина, таскает ему разные железки. Шурка подошел, пнул колесо сапогом.

– Барахло, – говорит. – Гнилая железяка.

– Гнилая? – обижается дядя Зуй. – Смотри, какие гаечки. Тут одних гаечек на паровоз хватит.

Волошин помалкивает, прикидывает, сгодится ли на что-нибудь это колесо.

Вот странное дело, никому не была нужна ржавая железяка, а теперь стоит в кузнице и с каждой минутой становится все более ценной. Теперь это материал для мастера. Неизвестно, что сделает из нее Волошин, но что-нибудь обязательно сделает. И может быть, такую вещь, про которую и Шурка скажет: «Вроде ничего получилась железяка».

– А то сказал: гнилая! – горячится дядя Зуй. – Сам ты, Шурка, вроде железяки! Вон нос какой кривой.

Шурка обиделся, трогает нос пальцами – кривой ли?

Уха готова – кипит, клокочет. Пена выплескивается из котелка на уголья, и пар от язывой ухи смешивается с кислым запахом кованого железа.

Волошин достает из шкафчика ложки. Всем – деревянные, Шурке – железяку.

Уху все едят внимательно. Задумываются – хороша ли?

Хороша!

Вишня

Во дворе зоотехника Николая стояла лошадь, привязанная к забору. Здесь же, на заборе, висело снятое с нее седло. Николай и бригадир Фролов стояли рядом.

– Что случилось? – спросил я.

– Да вот, – кивнул Николай, – погляди.

На боку лошади была рваная рана. Сильно текла кровь, капала в крапиву.

– Понимаешь, – стал объяснять мне Фролов, – кто-то проволоку натянул между столбами, колючую. А я на ферму гнал, спешил, не заметил и вот зацепился...

– Надо замечать, – сказал Николай и подобрал ватой стекающую кровь, залил рану йодом.

– Да как же, Коля, – сказал Фролов, – ведь я спешил, не видел проволоки этой.

– Надо было видеть, – сказал Николай.

Я стал шарить по карманам. Мне казалось, что где-то у меня должен был завалиться кусок сахара. И верно, нашелся кусок сахара, облепленный табаком.

Николай приготовил уже иглу, шелковую нитку и стал зашивать рану.

– Не могу! – сказал Фролов и отошел в сторону. – Как по мне шьет!

– Гонять лошадь он может, – сказал Николай, – а проволоку замечать он не может!

Лошадь, казалось, не чувствовала боли. Она стояла спокойно, но сахар брать с руки не стала.

– Терпи, терпи, – сказал ей Николай. – Сейчас кончу.

Лошадь наклонила голову к крапиве. Она прикрывала глаза и чуть вздрагивала.

– Гонять лошадь он может, – сказал Николай, – а поберечь ее он не может!

Бригадир Фролов стоял в стороне и курил, отвернувшись.

– Все, – сказал Николай.

Лошадь поняла это. Она обернулась поглядеть, что там у нее на боку. Тут я всучил ей кусок сахара. Она разгрызла его и стала обнюхивать мое плечо.

Фролов взял под мышку седло, отвязал лошадь и повел ее на конюшню.

Она шла в поводу спокойно, раскачиваясь с каждым шагом. Очень крепкая на вид и даже чуть округлая лошадь. Ее звали Вишня.

Колобок

Я пошел на рыбалку, а за мною увязался дядя Зуй.

– Ушицы похлебаю с тобой, и ладно, – сказал он.

У ивы, склонившейся над омутом, я закинул удочки, а дядя Зуй сел у меня за спиной – глядеть.

Дело шло к вечеру, и солнце спокойно плыло над лесом. Но потом из-за бугра выкатилась туча, пушистая и разлапистая. Солнце нырнуло в нее, как в черное дупло, и небо потемнело.

– Гроза идет, – сказал дядя Зуй. – Домой надо бы бечь.

Тут у меня клюнуло. Я подсек, и леска запела, натянувшись. Медный язь засиял в глубине, упираясь, вышел на поверхность, плеснул-затрепыхался. Я подвел его к берегу и выбросил в траву.

Зарница пронеслась по небу, грохнуло над головой, а язь подпрыгнул в траве.

Дождь вдруг ударил по воде сразу всеми каплями и с такой силой, будто сто язей шлепнули хвостами о поверхность. Река закипела, зашевелилась, молнии гнулись над нею, а в свете их прыгал в траве пойманный язь.

– Ну и дела! – бубнил дядя Зуй, накрывшись плащом. – Страшно-то как...

Внезапно дождь кончился. И засияло что-то на ветках ивы, и сполз с них, потрескивая, закачался в воздухе сверкающий колобок.

Он покатился к реке и вдруг подпрыгнул.

– Что?! – крикнул дядя Зуй. – Что это?

Колобок повис неподвижно в воздухе и чуть дрожал, колебался. Ослепительный свет его резал глаза, а кругом огненного колобка горела радуга.

Засияло все: и река, и кусты молочая по берегам, и листья рогоза прорезались из воды, блестящие, как лезвия ножей.

Покачиваясь и кружась, колобок полетел над берегом, и шел низко над кустами молочая, и взлетал, и стоял высоко, и обрывался белым яблоком, созревшим в небе.

Вдруг померк его свет.

Колобок раздулся и стал огромным черным шаром.

В нем вспыхнули лиловые жилы, и грохнул взрыв.

Мы бежали к дому.

Дядя Зуй, насквозь мокрый, еле поспевал за мной.

– Что ж это? – кричал он. – Неуж атомная бомба?

– Шаровая молния.

– Шаровая? Да откуда она взялась?

– Не знаю! – кричал я через плечо. – Иногда во время грозы получают такие шаровые молнии!

– Ага! – кричал дядя Зуй мне вдогонку. – Это, наверно, простая молния в клубок скрутилась! Ну дела!

Мы прибежали домой и сразу скинули мокрые рубахи, поставили самовар.

– Ну и дела! – твердил дядя Зуй. – Простая молния в клубок скрутилась. Чтоб я больше пошел с тобой на рыбалку – ни за что!

Картофельный смысл

– Да, что ты ни говори, батюшка, а я картошку люблю. Потому что в картошке смыслу много.

– Да какой там особенный-то смысл? Картошка и картошка.

– Э-э... не говори, батюшка, не говори. Наваришь с полведерочки – тут и жизнь вроде повеселей становится. Вот такой и смысл... картофельный.

Мы сидели с дядей Зуем на берегу реки у костра и ели печеную картошку. Просто так пошли к реке – поглядеть, как рыбка плавится, да и разложили костер, картошечки поднакопали, напекли. А соль у дяди Зуя в кармане оказалась.

– А как же без соли-то? Соль, батюшка, я всегда с собой ношу. Придешь, к примеру, в гости, а у хозяйки суп несоленый. Тут и неловко будет сказать: суп, дескать, у вас несоленый. А я уж тут потихоньку из кармана соль достану и... подсолю.

– А еще-то ты чего носишь в карманах? И верно – они у тебя все время оттопыриваются.

– Чего еще ношу? Все ношу, что в карманы влезает. Вот гляди – махорка... соль в узелочке... веревочка, если что надо подвязать, хорошая веревочка. Ну, ножик, конечно! Фонарик карманный! Недаром сказано – карманный. Есть у тебя карманный фонарик, – значит, и положи его в карман. А это конфеты, если кого из ребят встречу.

– А это что? Хлеб, что ли?

– Сухарь, батюшка. Давно ношу, хочу кому из лошадей отдать, да все позабываю. Смотрим теперь в другом кармане. Этот у меня карман поглубже. Нарочно так сделан... надставленный. Ну, это, конечно, отвертка и пассатижи. Пара гвоздей, еще махорка, мундштук... А вот еще веревочка, на случай если та коротка окажется. А это... хэ... еще одна отвертка. Откуда еще-то одна? Ага, все понял. Я про ту отвертку забыл, ну и вторую сунул. Хочешь, тебе одну отдам?

– Мне-то на кой отвертка? Стану я ее таскать.

– А вдруг отвернуть чего понадобится?

– Да я тебя позову.

– Ладно, прямо ко мне беги, вместе и отвернем... Смотрим дальше – очки, читательские, а это очки – грибные. В этих очках я книжки читаю, а этими грибы ищу. Ну, вот и все, пожалуй. Давай теперь ты показывай, что там у тебя в карманах? Интересно.

– Да у меня вроде и нет ничего.

– Да как же так? Ничего. Ножик-то, ножик есть небось?

– Забыл я ножик, дома оставил.

– Как же так? На речку идешь, а ножик дома оставил?

– Я не знал, что мы на речку идем. Так думал: вышли погулять.

– Так ведь и я не знал, что мы на речку идем, а соль-то у меня в кармане оказалась. А без соли и картошка свой смысл теряет. Хотя, пожалуй, в картошке и без соли смыслу много.

Я выгреб из золы новую кривую картофелину. Разломил черно-печеные ее бока. Белой оказалась картошка под угольной кожурой и розовой. А в сердцевине не

пропеклась, захрустела, когда я откусил. Это была сентябрьская, совсем созревшая картошка. Не слишком велика, а ведь в кулак.

Летними дождями пахла непропеченная сердцевина, а корочка коричневая – раскаленной осенней землей.

– Дай-ка соли-то, – сказал я дяде Зую. – Смысл надо бы подсолить.

Дядя Зуй сунул пальцы в ситцевый узелок, посыпал соли на картофелину.

– Смысл, – сказал он, – подсолить можно. А соль к смыслу придача.

Далеко, на другом берегу реки, двигались в поле фигурки – заречная деревня копала картошку. Кое-где, поближе к берегу, подымался над ольшаником картофельный дым.

И с нашего берега слышались в поле голоса, подымался дым. Весь мир копал в этот день картошку.

Долго сидели мы с дядей Зуем на берегу, глядели на закат, на дальние леса и размышляли о великом осеннем картофельном смысле.

Кепка с карасями

Километрах в пяти от Чистого Дора, в борах, спряталась деревня Гридино. Она стоит на высоком берегу, как раз над озером, в котором водятся белые караси. В самом большом, в самом крепком доме под красною крышей живет дядизуев кум.

– Кум у меня золотой. И руки у него золотые, и головушка. Его дядей Ваней зовут. Он пчел держит. А карасей знаешь как ловит? Мордой!

Дядя Зуй сидел на корточках, привалясь спиною к печке, подшивал валенки и рассказывал о куме. Я устроился на лавке и тоже подшивал свои, готовился к зиме. Шило и дратва меня плохо слушались, а Зуюшко уже подшил свои да Нюркины и теперь подшивал мой левый валенок. А я все возился с правым.

– Морду-то знаешь небось? – продолжал дядя Зуй.

– Какую морду?

– Какой карасей ловят.

– А, знаю. Это вроде корзины с дыркой, куда караси залазят.

– Во-во! Поставит мой дорогой кум дядя Ваня морду в озеро, а караси шнырь-шнырь и залезают в нее. Им интересно поглядеть, чего там внутри, в морде-то. А там нет ничего – только прутики сплетенные. Тут кум дерг за веревочку и вынимает морду. Кум у меня золотой. Видишь этот воск? Это кум подарил.

Воск был черный, замусоленный, изрезанный дратвой, но дядя Зуй глядел на него с восхищением и покачивал головой, удивляясь, какой у него кум – воск подарил!

– Пойдем проведем кума, – уговаривал меня дядя Зуй. – Медку поедим, карасей нажарим.

– А что ж, – сказал я, перекусив дратву, – пойдем.

После обеда мы отправились в Гридино. Взяли соленых грибов, да черничного варенья Пантелевна дала банку – гостинцы. Удочки дядя Зуй брать не велел – кум карасей мордой наловит. Мордой так мордой.

– К ночи вернетесь ли? – провожала нас Пантелевна. – Беречь ли самовар?

– Да что ты! – сердился дядя Зуй. – Разве ж нас кум отпустит! Завтра жди.

Вначале мы шли дорогой, потом свернули на тропку, петляющую среди елок. Дядя Зуй бежал то впереди меня, то сбоку, то совсем отставал.

– У него золотые руки! – кричал дядя Зуй мне в спину. – И золотая голова. Он нас карасями угостит.

Уже под самый вечер, под закат, мы вышли к Гридино. Высоко над озером стояла деревня. С каменистой гряды сбегали в низину, к озеру, яблоньки и огороды. Закат светил нам в спину, и стекла в окнах кумова дома и старая береза у крыльца были ослепительные и золотые...

Кум окучивал картошку.

– Кум-батюшка! – окликнул дядя Зуй из-за забора. – Вот и гости к тебе.

– Ага, – сказал кум, оглядываясь.

– Это вот мой друг сердечный, – объяснил дядя Зуй, показывая на меня. – Золотой человек. У Пантелевны живет, племянник...

– А-а-а... – сказал кум, отставив тятку.

Мы зашли в калитку, уселись на лавку у стола, врытого под березой. Закурили...

– А это мой кум, Иван Тимофеевич, – горячился дядя Зуй, пока мы закуривали. – Помнишь, я тебе много про него рассказывал. Золотая головушка!

– Помню-помню, – ответил я. – Ты ведь у нас, Зуюшко, тоже золотой человек.

Дядя Зуй сиял, глядел то на меня, то на кума, радуясь, что за одним столом собралось сразу три золотых человека.

– Вот мой кум, – говорил он с гордостью. – Дядя Ваня. Он карасей мордой ловит!

– Да, – сказал кум задумчиво. – Дядя Ваня любит карасей мордой ловить.

– Кто? – не понял было я.

– Дак это кум мой дядя Ваня, Иван Тимофеевич! Это он карасей-то мордой ловит.

– А, – понял я. – Понятно. А что, есть караси-то в озере?

– Ну что ж, – отвечал кум с расстановкой. – Караси в озере-то, пожалуй что, и есть.

– А я хозяйство бросил! – кричал дядя Зуй. – Решил кума своего проведать. А дома Нюрку оставил, она ведь совсем большая стала – шесть лет.

– Дядя Ваня любит Нюрку, – сказал кум.

– И Нюрка, – подхватил дядя Зуй, – и Нюрка любит дядю Ваню.

– Ну что ж, – согласился кум, – и Нюрка любит дядю Ваню.

Разговор заглох. Закат спрятался в темный лесистый берег, но окна кумова дома еще улавливали его отсветы и сияли, как праздничные зеркала.

– А у нас ведь и подарки тебе есть, – сказал дядя Зуй, ласково глядя на кума и выставляя на стол подарки.

– И вареньица принесли? – удивился кум, разглядывая подарки.

– И вареньица, – подхватил дядя Зуй. – Черничного.

– Дядя Ваня любит вареньице, – сказал кум. – Черничное.

По берегу озера из лесу вышло стадо. Увидав дом, коровы замычали, забренчали боталами – жестяными банками-колокольцами. С луговины поднялась пара козодоев и принялась летать над стадом, подныривать коровам под брюхо, хватая на лету мух и пауков. Из кумова дома вышла женщина в вязаной кофте и закричала однообразно:

– Ночк, Ночк, Ночк, Ночк, Ночк...

– А что, кум, – спрашивал дядя Зуй, подмигивая мне, – где же у тебя морда-то? Не в озере ли стоит?

– Зачем в озере, – ответил кум. – Дядя Ваня починает морду. Вон она стоит, морда-то, у сарая.

У сарая стояла морда, похожая на огромную бутылку, сплетенную из ивовых прутьев.

– Починяется морда, – с уважением пояснил мне дядя Зуй. – А другая не в озере ли, кум, стоит?

– А другая, наверно что, в озере, – ответил кум, сомневаясь.

– Так не проверить ли? – намекнул дядя Зуй. – Насчет карасей.

– Зачем же? – сказал кум. – Чего ее зря проверять?

Закат окончательно утонул в лесах. Козодои все летали над лугом, но уже не было их видно, только слышалась однообразная глухая трель.

– Ну, кум, – сказал дядя Зуй, – попробуй, что ли, волвяночек.

– Ну что ж, – вздохнул кум, – это, пожалуй что, и можно.

Он встал и задумчиво отправился в дом.

– Видал? – обрадовался дядя Зуй и снова подмигнул мне: – Начинается. Сейчас медку поедим.

Кум долго-долго возился в доме, выглядывал для чего-то из окна, а потом вынес тарелку и вилку.

– А вот хлеба-то у нас нет, – смутился дядя Зуй, вытряхивая грибы в тарелку. – У нас, извиняюсь, магазин был, кум, закрыт...

– Да ладно, – вставил я. – Волвяночки и так хороши.

Мы попробовали грибков, похвалили их, покурили. Дядя Зуй задумался, глядел на потемневшее озеро, в котором отражались светлые еще облака.

– Не пора ли нам? – спросил я.

– Кум, – сказал дядя Зуй, – а ведь нам пора.

– Ну что ж, – сказал кум. – Спасибо, что погостили.

– Это, – сказал дядя Зуй, глядя на озеро, – вот друг-то мой интересуется карасей поглядеть. Белых. Золотых, говорит, видел, а белых чтой-то не попадалось.

– Ну что ж, – сказал кум. – Это верно, что карасей надо бы поглядеть. Давай кепку-то.

Он взял со стола Зуюшкину кепку и пошел к бочке, что стояла у сарая. Зачерпнув сачком, кум выловил из бочки с десятков полусонных карасей, вывалил их в кепку.

– На вот, – сказал он. – Тут и другу твоему поглядеть хватит, и Нюрке отнести, гостинца...

По каменистой тропинке, еле заметной в сумерках, мы спустились вниз, к лесу. Высоко над нами стояла теперь деревня Гридино. В окнах домов мерцали уже слабые огоньки, а высоко поднятый над кумовым домом скворечник еще был освещен далеким закатом.

А в лесу была уже совсем ночь. Луна то появлялась над лесом, то запрятывалась в еловые ветки.

Дядя Зуй все время отставал от меня, спотыкался, и караси вываливались тогда из кепки в траву. Они были еще живые и шевелились в траве, выскользывали из рук.

– Видал теперь белых-то карасей? – говорил дядя Зуй, снова укладывая их в кепку. – Это тебе не золотые. Золотых-то всюду полно, а белых поискать надо. Вот ведь какие караси! Белые! Прямо как платочек.

Долго мы шли лесом и старались не сбиваться с тропинки. Дядя Зуй запинался за корни, заботясь о карасях. Уже перед самой деревней он опять просыпал их. Собрал, бережно уложил в кепку и вдруг рассердился:

– А ну их к черту!

Размахнувшись, он выбросил карасей вместе с кепкой.

Издали, с края леса, мы увидели огоньки Чистого Дора, и, пока шли полем, я все старался разглядеть – спит Пантелевна или не спит. Горит ли огонь?

– А ведь Пантелевна, наверно, не спит, – сказал я. – Поджидает.

– Пантелевна-то? – подхватил дядя Зуй. – Конечно, не спит. Она ведь у нас золотая

душа. Как раз к самовару поспеем.

Нюрка

Нюрке дядизуевой было шесть лет.

Долго ей было шесть лет. Целый год.

А как раз в августе стало Нюрке семь лет.

На Нюркин день рождения дядя Зуй напек калиток – это такие ватрушки с пшенной кашей – и гостей позвал. Меня тоже. Я стал собираться в гости и никак не мог придумать, что Нюрке подарить.

– Купи конфет килограмма два, – говорит Пантелевна. – Подушечек.

– Ну нет, тут надо чего-нибудь посерьезнее.

Стал я перебирать свои вещи. Встряхнул рюкзак – чувствуется в рюкзаке что-то тяжелое. Елки-палки, да это же бинокль! Хороший бинокль. Все в нем цело, и стекла есть, и окуляры крутятся.

Протер я бинокль сухой тряпочкой, вышел на крыльцо и навел его на дядизуев двор. Хорошо все видно: Нюрка по огороду бегает, укроп собирает, дядя Зуй самовар ставит.

– Нюрка, – кричит дядя Зуй, – хрену-то накопила?

Это уже не через бинокль, это мне так слышно.

– Накопила, – отвечает Нюрка.

Повесил я бинокль на грудь, зашел в магазин, купил два кило подушечек и пошел к Нюрке.

Самый разный народ собрался. Например, Федюша Миронов пришел в хромовых сапогах и с мамашей Миронихой. Принес Нюрке пенал из бересты. Этот пенал дед Мироша сплел.

Пришла Маня Клеткина в возрасте пяти лет. Принесла Нюрке фартук белый, школьный. На фартуке вышито в уголке маленькими буквами: «Нюри».

Пришли еще ребята и взрослые, и все дарили Нюрке что-нибудь школьное: букварь, линейку, два химических карандаша, самописку.

Тетка Ксения принесла специальное коричневое перwokлассное школьное платье. Сама шила. А дядя Зуй подарил Нюрке портфель из желтого кожзаменителя.

Братья Моховы принесли два ведра черники.

– Целый день, – говорят, – собирали. Комары жгутся.

Мирониха говорит:

– Это нешкольное.

– Почему же нешкольное? – говорят братья Моховы. – Очень даже школьное.

И тут же сами поднавалились на чернику.

Я говорю Нюрке:

– Ну вот, Нюра, поздравляю тебя. Тебе теперь уже семь лет. Поэтому дарю тебе два кило подушечек и вот – бинокль.

Нюрка очень обрадовалась и засмеялась, когда увидела бинокль. Я ей объяснил, как в бинокль глядеть и как на что наводить. Тут же все ребята отбежали шагов на десять и стали на нас в этот бинокль по очереди глядеть.

А Мирониха говорит, как будто бинокль первый раз видит:

– Это нешкольное.

– Почему же нешкольное, – обиделся я, – раз в него будет школьница смотреть!

А дядя Зуй говорит:

– Или с учителем Алексей Степанычем залезут они на крышу и станут на звезды глядеть.

Тут все пошли в дом и как за стол сели, так и навалились на калитки и на огурцы. Сильный хруст от огурцов стоял, и особенно старалась мамаша Мирониха. А мне понравились калитки, сложенные конвертиками.

Нюрка была веселая. Она положила букварь, бинокль и прочие подарки в портфель и носилась с ним вокруг стола.

Напившись чаю, ребята пошли во двор в лапту играть.

А мы сели у окна, и долго пили чай, и глядели в окно, как играют ребята в лапту, как медленно приходит вечер и как летают над сараями и над дорогой ласточки-касатки.

Потом гости стали расходиться.

– Ну, спасибо, – говорили они. – Спасибо вам за огурцы и за калитки.

– Вам спасибо, – отвечала Нюрка, – за платье спасибо, за фартук и за бинокль.

Прошла неделя после этого дня, и наступило первое сентября.

Рано утром я вышел на крыльцо и увидел Нюрку.

Она шла по дороге в школьном платье, в белом фартуке с надписью «Нюри». В руках она держала большой букет осенних золотых шаров, а на шее у нее висел бинокль.

Шагах в десяти за нею шел дядя Зуй и кричал:

– Смотри-ка, Пантелевна, Нюрка-то моя в школу пошла!

– Ну-ну-ну... – кивала Пантелевна. – Какая молодец!

И все выглядывали и выходили на улицу посмотреть на Нюрку, потому что в этот год она была единственная у нас первоклассница.

Около школы встретил Нюрку учитель Алексей Степаныч. Он взял у нее цветы и сказал:

– Ну вот, Нюра, ты теперь первоклассница. Поздравляю тебя. А что бинокль принесла, так это тоже молодец. Мы потом залезем на крышу и будем на звезды смотреть.

Дядя Зуй, Пантелевна, тетка Ксения, Мирониха и еще много народу стояли у школы и глядели, как идет Нюрка по ступенькам крыльца. Потом дверь за ней закрылась.

Так и стала Нюрка первоклассницей. Еще бы, ведь ей семь лет. И долго еще будет. Целый год.

Бунькины рога

Пастуха чистодорского звать Васька Марей. Он ходит в резиновых сапогах, носит на плече сумку, в руках – кнут. Настоящий пастух.

Когда на закате он пригоняет стадо, за ним бегут братья Моховы и кричат:

Васька Марей!
Не корми
Комарей!

– Да как же не кормить-то их? – отвечает Васька. – Они же ведь кусаются. Хозяйки Марей уважают.

– Кушай, Васенька, сытней, гляди веселей! – потчует его Пантелевна, когда он обедает у нас.

И Вася налегает на щи с мясом.

А обедает Вася в очередь. Сегодня – у нас, завтра – у Зуюшки, потом – у Мироники, и пошло, и пошло. Каждый день – в новом доме.

Кормить его стараются как можно лучше, чтоб дело свое знал. Кормят и дело втолковывают:

– Ты уж, Вася, за Ночкой-то моей доглядай как следоват.

– Ладно, – кивает Вася. – Не печалься, Пантелевна. Я за твоей Ночкой во как доглядаю!

Часто в лесу я натыкался на стадо, но ни разу не видел, чтоб Вася особенно доглядал. Скотина сама по себе ходит, а Вася спит в бузине – сны доглядает.

– Вась! Вась! Коровы ушли!

– Что? Ах, черт! – вскакивает Вася. – Куда-а-а?

Потом видит меня и говорит:

– Ну перешорохал ты меня!.. Давай закуривай.

Перешорохал – значит напугал.

Но однажды Вася крепко перепугался. Из-за быка. Бык чистодорский очень злой. Глаза наливные, как яблоки. Звать Буня.

Он даже траву-то страшно жрет. Жамкнет, жамкнет и подымает голову – нет ли кого рядом, чтоб забодать.

Он многих бодал: Туголукова бодал, деда Мирошу. Бригадир Фролова бодал, но не забодал – бригадир в трактор спрятался, в ДТ-75. А Буня в кабинку глядит и широким языком стекло лижет.

На другой день бригадир пошел к зоотехнику Николаю.

– Что, – говорит, – хочешь делай, надо Буньке рога спилить.

Николаю рога пилить не хотелось.

– У меня такой пилы нет. Надо специальную роговую пилу. Ножовкой их не возьмешь.

– Подыщи какой-нибудь лобзик, – говорит Фролов. – Что касемо меня или деда

Мироши, – пускай бодает. Но вот скоро к нам комиссия приедет. Что, как он комиссию забодает? Будешь тогда отвечать.

Гибель комиссии Николая напугала.

– Ладно, – говорит, – найду лобзик.

И на другой день зазвал к себе вечером Ваську Марей. Стал пельменями угощать.

Потом говорит:

– Вася, надо рога пилить.

– Какие, – Вася говорит, – рога?

– Бунькины.

Вася пельмени доел и говорит:

– Нет.

– Вася, он комиссию забодает.

– Пускай бодает, – говорит Вася. – Мне комиссии не жалко.

Так Вася и не согласился. Тогда Николай стал Туголукова уговаривать, плотника.

– Ладно, – говорит Туголуков, – я согласен. Я – человек, Бунькой боданный.

Вечером завели Буню в загон с толстой изгородью. Он как вошел, сразу понял – дело нечисто. Взревел так, что сразу все собаки отозвались. Задрал Бунька хвост и пошел по кругу. Разогнался – ударил грудью в изгородь. Изгородь выдержала, а Туголуков на рога веревку накинул, прикрутил бычью башку к изгороди. Потом и ноги ему связал – стреножил. Только хвост у Буни свободный остался, и этим-то хвостом он все-таки съездил Туголукова по уху.

Николай залез на изгородь, достал свой лобзик, и вдруг над самым ухом у него – трах! – выстрел. Трах! Трах!

– Слезай с изгороди! Всех перестреляю!

Васька Марей бежит, кнутом стреляет.

– Не дам быка пилить!

– Да что ты, Вася? – говорит Николай. – Рога опасны.

– Ничего-ничего, – говорит Вася, – их можно и стороной обойти.

Так и не дал спилить Буньке рога. И правильно сделал. Хоть и злой бык, зато настоящий. Чистодорский. Уважаемый.

Выстрел

Школа у нас маленькая.

В ней всего-то одна комната. Зато в этой комнате четыре класса.

В первом – одна ученица, Нюра Зуева.

Во втором – опять один ученик, Федюша Миронов.

В третьем – два брата Моховы.

А в четвертом – никого нет. На будущий год братья Моховы будут.

Всего, значит, в школе сколько? Четыре человека. С учителем Алексей Степанычем – пять.

– Набралось-таки народу, – сказала Нюрка, когда научилась считать.

– Да, народу немало, – ответил Алексей Степаныч. – И завтра после уроков весь этот народ пойдет на картошку. Того гляди, ударят холода, а картошка у колхоза невыкопанная.

– А как же кролики? – спросил Федюша Миронов.

– Дежурной за кроликами оставим Нюру.

Кроликов в школе было немало. Их было больше ста, а именно – сто четыре.

– Ну, наплодились... – сказала Нюрка на следующий день, когда все ушли на картошку.

Кролики сидели в деревянных ящиках, а ящики стояли вокруг школы, между яблонями. Даже казалось, что это стоят ульи. Но это были не пчелы.

Но почему-то казалось, что они жужжат!

Но это, конечно, жужжали не кролики. Это за забором мальчик Витя жужжал на специальной палочке.

Дежурить Нюрке было нетрудно.

Вначале Нюрка дала кроликам всякой ботвы и веток. Они жевали, шевелили ушами, подмигивали ей: мол, давай-давай, наваливай побольше ботвы.

Потом Нюрка выметала клетки. Кролики пугались веника, порхали от него. Крольчат Нюрка выпустила на траву, в загон, огороженный сеткой.

Дело было сделано. Теперь надо было только следить, чтобы все было в порядке.

Нюрка прошлась по школьному двору – все было в порядке. Она зашла в чулан и достала сторожевое ружье.

«На всякий случай, – думала она. – Может быть, ястреб налетит».

Но ястреб не налетал. Он кружил вдалеке, высматривая цыплят.

Нюрке стало скучно. Она залезла на забор и поглядела в поле. Далеко, на картофельном поле, были видны люди. Изредка приезжал грузовик, нагружался картошкой и снова уезжал.

Нюрка сидела на заборе, когда подошел Витя, тот самый, что жужжал на специальной палочке.

– Перестань жужжать, – сказала Нюрка.

Витя перестал.

– Видишь это ружье?

Витя приложил к глазам кулаки, пригляделся, как бы в бинокль, и сказал:

– Вижу, матушка.

– Знаешь, как тут на чего нажимать?

Витя кивнул.

– То-то же, – сказала Нюрка строго, – изучай военное дело!

Она еще посидела на заборе. Витя стоял неподалеку, желая пожужжать.

– Вот что, – сказала Нюрка. – Садись на крыльцо, сторожи. Если налетит ястреб, кричи изо всех сил, зови меня. А я сбегаяю за ботвой для кроликов.

Витя сел на крыльцо, а Нюрка убрала в чулан ружье, достала порожний мешок и побежала в поле.

На краю поля лежала картошка – в мешках и отдельными кучами. Особый, сильно розовый сорт. В стороне была сложена гора из картофельной ботвы.

Набив ботвой мешок и набрав картошки, Нюрка пригляделась: далеко ли ребята? Они были далеко, даже не разобрать, где Федюша Миронов, а где братья Моховы.

«Добежать, что ль, до них?» – подумала Нюрка.

В этот момент ударил выстрел.

Нюрка мчалась обратно. Страшная картина представлялась ей: Витя лежит на крыльце весь убитый.

Мешок с ботвой подпрыгивал у Нюрки на спине, картофелина вылетела из ведра, хлопнулась в пыль, завертелась, как маленькая бомба.

Нюрка вбежала на школьный двор и услышала жужжание. Ружье лежало на ступеньках, а Витя сидел и жужжал на своей палочке. Интересная все-таки это была палочка. На конце – сургучная блямба, на ней петлею затянут конский волос, к которому привязана глиняная чашечка. Витя помахивал палочкой – конский волос терся о сургуч: жжу...

– Кто стрелял? – крикнула Нюрка.

Но даже и нечего было кричать. Ясно было, кто стрелял, – пороховое облако еще висело в бузине.

– Ну, погоди! Вернутся братья Моховы! Будешь знать, как с ружьем баловать!.. Перестань жужжать!

Витя перестал.

– Куда пальнул-то? По Мишукиной козе?

– По ястребу.

– Ври-ври! Ястреб над птичником кружит.

Нюрка поглядела в небо, но ястреба не увидела.

– Он в крапиве лежит.

Ястреб лежал в крапиве. Крылья его были изломаны и раскинуты в стороны. В пепельных перьях были видны дырки от дробинок.

Глядя на ястреба, Нюрка не верила, что это Витя его. Она подумала: может быть, кто-нибудь из взрослых зашел на школьный двор. Да нет, все взрослые были на картошке.

Да, видно, ястреб просчитался.

Как ушла Нюрка, он сразу полетел за крольчатами, а про Витю подумал: мал, дескать. И вот теперь – бряк! – валялся в крапиве.

С поля прибежали ребята. Они завопили от восторга, что такой маленький Витя убил ястреба.

– Он будет космонавтом! – кричали братья Моховы и хлопали Витю по спине.

А Федюша Миронов изо всей силы гладил его по голове и просто кричал:

– Молодец! Молодец!

– А мне ястреба жалко, – сказала Нюрка.

– Да ты что! Сколько он у нас кроликов потаскал!

– Все равно жалко. Такой красивый был!

Тут все на Нюрку накинулись.

– А кого тебе больше жалко, – спросил Федюша Миронов, – ястреба или кроликов?

– И тех и других.

– Вот дуреха-то! Кроликов-то жалче! Они ведь махонькие. Скажи ей, Витька. Чего ж ты молчишь?

Витя сидел на крыльце и молчал.

И вдруг все увидели, что он плачет. Слезы у него текут, и он совсем еще маленький. От силы ему шесть лет.

– Не реви, Витька! – закричали братья Моховы. – Ну, Нюрка!

– Пускай ревет, – сказала Нюрка. – Убил птицу – пускай ревет.

– Нюрка! Нюрка! Имей совесть! Тебя же поставили сторожить. Сама должна была убить ястреба.

– Я бы не стала убивать. Я бы просто шуганула его, он бы улетел.

Нюрка стала растапливать печку, которая стояла в саду. Поставила на нее чугуна с картошкой.

Пока варилась картошка, ребята все ругались с ней, а Витя плакал.

– Вот что, Нюрка, – под конец сказал Федюша Миронов, – Витька к ястребу не лез. Ястреб нападал – Витька защищался. А в сторону такой парень стрелять не станет!

Это были справедливые слова.

Но Нюрка ничего не ответила.

Она надулась и молча вывалила картошку из чугуна прямо на траву.

Вода с закрытыми глазами

С рассветом начался очень хороший день. Теплый, солнечный. Он случайно появился среди пасмурной осени и должен был скоро кончиться.

Рано утром я вышел из дома и почувствовал, каким коротким будет этот день. Захотелось прожить его хорошо, не потерять ни минуты, и я побежал к лесу.

День разворачивался передо мной. Вокруг меня. В лесу и на поле. Но главное происходило в небе. Там шевелились облака, терлись друг о друга солнечными боками, и легкий шелест слышен был на земле.

Я торопился, выбегал на поляны, заваленные опавшим листом, выбирался из болот на сухие еловые гривы. Я понимал, что надо спешить, а то все кончится. Хотелось не забыть этот день, принести домой его след.

Нагруженный грибами и букетами, я вышел на опушку, к тому месту, где течет из-под холма ключевой ручей.

У ручья я увидел Нюрку.

Она сидела на расстеленной фуфайке, рядом на траве валялся ее портфель. В руке Нюрка держала старую жестяную кружку, которая всегда висела на березке у ручья.

– Закусываешь? – спросил я, сбрасывая с плеч корзину.

– Воду пью, – ответила Нюрка. Она даже не взглянула на меня и не поздоровалась.

– Что пустую воду пить? Вот хлеб с яблоком.

– Спасибо, не надо, – ответила Нюрка, поднесла кружку к губам и глотнула воды.

Глотая, она прикрыла глаза и не сразу открыла их.

– Ты чего невеселая? – спросил я.

– Так, – ответила Нюрка и пожала плечами.

– Может, двойку получила?

– Получила, – согласилась Нюрка.

– Вот видишь, сразу угадал. А за что?

– Ни за что.

Она снова глотнула воды и закрыла глаза.

– А домой почему не идешь?

– Не хочу, – ответила Нюрка, не открывая глаз.

– Да съешь ты хлеба-то.

– Спасибо, не хочу.

– Хлеба не хочешь, домой не хочешь. Что ж, так не пойдешь домой?

– Не пойду. Так и умру здесь, у ручья.

– Из-за двойки?

– Нет, не из-за двойки, еще кое из-за чего, – сказала Нюрка и открыла наконец глаза.

– Это из-за чего же?

– Есть из-за чего, – сказала Нюрка, снова хлебнула из кружки и прикрыла глаза.

– Ну расскажи.

– Не твое дело.

– Ну и ладно, – сказал я, обидевшись. – С тобой по-человечески, а ты... Ладно, я

тоже тогда лягу и умру.

Я расстелил на траве куртку, улегся и стал слегка умирать, поглядывая, впрочем, на солнце, которое неумолимо пряталось за деревья. Так не хотелось, чтоб кончался этот день. Еще бы часок, полтора.

– Тебе-то из-за чего умирать? – спросила Нюрка.

– Есть из-за чего, – ответил я. – Хватает.

– Болтаешь, сам не зная... – сказала Нюрка.

Я закрыл глаза и минут пять лежал молча, задумавшись, есть мне от чего умирать или нет. Выходило, что есть. Самые тяжелые, самые горькие мысли пришли мне в голову, и вдруг стало так тоскливо, что я забыл про Нюрку и про сегодняшний счастливый день, с которым не хотел расставаться.

А день кончался. Давно уж миновал полдень, начинался закат.

Облака, подожженные солнцем, уходили за горизонт.

Горела их нижняя часть, а верхняя, охлажденная первыми звездами, потемнела, там вздрагивали синие угарные огоньки.

Неторопливо и как-то равнодушно взмахивая крыльями, к закату летела одинокая ворона. Она, кажется, понимала, что до заката ей сроду не долететь.

– Ты бы заплакал, если б я умерла? – спросила вдруг Нюрка.

Она по-прежнему пила воду мелкими глотками, прикрывая иногда глаза.

– Да ты что, заболела, что ли? – забеспокоился наконец я. – Что с тобой?

– Заплакал бы или нет?

– Конечно, – серьезно ответил я.

– А мне кажется, никто бы не заплакал.

– Вся деревня ревела бы. Тебя все любят.

– За что меня любить? Что я такого сделала?

– Ну, не знаю... а только все любят.

– За что?

– Откуда я знаю, за что. За то, что ты – хороший человек.

– Ничего хорошего. А вот тебя любят, это правда. Если бы ты умер, тут бы все стали реветь.

– А если б мы оба вдруг умерли, представляешь, какой бы рев стоял? – сказал я.

Нюрка засмеялась.

– Это правда, – сказала она. – Рев был бы жуткий.

– Давай уж поживем еще немного, а? – предложил я. – А то деревню жалко.

Нюрка снова улыбнулась, глотнула воды, прикрыла глаза.

– Открывай, открывай глаза, – сказал я, – пожалей деревню.

– Так вкусней, – сказала Нюрка.

– Чего вкусней? – не понял я.

– С закрытыми глазами вкусней. С открытыми всю воду выпьешь – и ничего не заметишь. А так – куда вкусней. Да ты сам попробуй.

Я взял у Нюрки кружку, зажмурился и глотнул.

Вода в ручье была студеной, от нее сразу заныли зубы. Я хотел уж открыть глаза, но Нюрка сказала:

– Погоди, не торопись. Глотни еще.

Сладкой подводной травой и ольховым корнем, осенним ветром и рассыпчатым песком пахла вода из ручья. Я почувствовал в ней голос лесных озер и болот, долгих дождей и летних гроз.

Я вспомнил, как этой весной здесь в ручье нерестились язи, как неподвижно стояла на берегу горбатая цапля и кричала по-кошачьи иволга.

Я глотнул еще раз и почувствовал запах совсем уже близкой зимы – времени, когда вода закрывает глаза.

Клеенка

Осенью, в конце октября, к нам в магазин привезли клеенку.

Продавец Петр Максимыч как получил товар, сразу запер магазин, и в щели между ставен не было видно, чего он делает.

– Клеенку, наверное, меряет, – толковал дядя Зуй, усевшись на ступеньке. – Он вначале ее всю перемеряет, сколько в ней метров-сантиметров, а потом продавать станет... Пстой, ты куда, Мирониха, лезешь? Я первый стою.

– Кто первый? – возмутилась Мирониха, подлезая к самой двери. – Это ты-то первый? А я три часа у магазина стою, все ножки обтоптала! Он первый! Слезай отсюда!

– Чего? – не сдавался дядя Зуй. – Чего ты сказала? Повтори!

– Видали первого? – повторяла Мирониха. – А ну слезай отсюда, первый!

– Ну ладно, пускай я второй! Пускай второй, согласен.

– Что ты, батюшка, – сказала тетка Ксения, – за Миронихой я стою.

– Эх, да что же вы, – огорчился дядя Зуй, – пустите хоть третьим!

Но и третьим его не пускали, пришлось становиться последним, за Колькой Дрождевым.

– Слышь, Колька Дрождев, – спрашивал дядя Зуй, – не видал, какая клеенка? Чего на ней нарисовано: ягодки или цветочки?

– Может, и ягодки, – задумчиво сказал Колька Дрождев, механизатор, – а я не видал.

– Хорошо бы ягодки. Верно, Коля?

– Это смотря какие ягодки, – мрачно сказал Колька Дрождев, – если чернички или бруснички – это бы хорошо. А то нарисуют волчию – вот будет ягодка!

– Надо бы с цветочками, – сказала тетка Ксения, – чтоб на столе красота была.

Тут все женщины, что стояли на крыльце, стали вздыхать, желая, чтоб клеенка была с цветочками.

– А то бывают клеенки с грибами, – снова мрачно сказал Колька Дрождев, – да еще какой гриб нарисуют. Рыжик или опенок – это бы хорошо, а то нарисуют валуев – смотреть противно.

– Я и с валуями возьму, – сказала Мирониха, – на стол стелить нечего.

Наконец дверь магазина загрохотала изнутри – это продавец Петр Максимыч откладывал внутренние засовы.

А в магазине было темновато и холодно. У входа стояла бочка, серебрящаяся изнутри селедками. Над нею, как черные чугунные калачи, свисали с потолка висячие замки. За прилавком на верхних полках пасмурно блистали банки с заграничными компотами, а на нижних, рядом, стояли другие банки, полулитровые, наполненные разноцветными конфетами. При тусклом свете ириски, подушечки и леденцы сияли за стеклом таинственно, как самоцветы.

В магазине пахло клеенкой. Запах селедки, макарон и постного масла был начисто заглушен. Пахло теперь сухим клеем и свежей краской.

Сама клеенка лежала посреди прилавка, и, хоть свернута была в рулон, верхний

край все равно был открыт взглядам и горел ясно, будто кусок неба, увиденный со дна колодца.

– Ох, какая! – сказала тетка Ксения. – Поднебесного цвета!

А другие женщины примолкли и только толпились у прилавка, глядя на клеенку. Дядя Зуй дошел до бочки с селедками да и остановился, будто боялся подойти к клеенке.

– Слепит! – сказал он издали. – Слышь, Колька Дрождев, глаза ослепляет! Верить или нет?

И дядя Зуй нарочно зажмурился и стал смотреть на клеенку в узкую щелочку между век.

– Кажись, васильки нарисованы, – хрипло сказал Колька Дрождев, – хоть и сорная трава, но голубая.

Да, на клеенке были нарисованы васильки, те самые, что растут повсюду на поле, только покрупнее и, кажется, даже ярче, чем настоящие. А фон под ними был подложен белоснежный.

– Поднебесная, поднебесная, – заговорили женщины, – какая красавица! Надо покупать!

– Ну, Максимыч, – сказала Мирониха, – отрезай пять метров.

Продавец Петр Максимыч поправил на носу металлические очки, достал из-под прилавка ножницы, нанизал их на пальцы и почикал в воздухе, будто проверял, хорошо ли они чикают, нет ли сцеплений.

– Пяти метров отрезать не могу, – сказал он, перестав чикать.

– Это почему ж ты не можешь? – заволновалась Мирониха. – Отрезай, говорю!

– Не кричи, – строго сказал Петр Максимыч, чикнув ножницами на Мирониху, – клеенки привезли мало. Я ее всю измерил, и получается по полтора метра на каждый дом. Надо, чтоб всем хватило.

Тут же в магазине начался шум, все женщины стали разом разбираться, правильно это или неправильно. Особенно горячилась Мирониха.

– Отрезай! – наседала она на Петра Максимыча. – Кто первый стоит, тот пускай и берет сколько хочет.

– Ишь, придумала! – говорили другие. – Нарезет себе пять метров, а другим нечем стол покрывать. Надо, чтоб всем хватило.

– А если у меня стол длинный? – кричала Мирониха. – Мне полтора метра не хватит! Что ж мне, стол отпиливать?

– Можешь отпиливать, – сказал Петр Максимыч, чикая ножницами.

Тут же все стали вспоминать, у кого какой стол, а Мирониха побежала домой стол мерить. За нею потянулись и другие женщины.

В магазине остались только дядя Зуй да Колька Дрождев.

– Слышь, Колька, а у меня-то стол коротенький, – говорил дядя Зуй. – Нюрка сядет с того конца, я с этого – вот и весь стол. Мне клеенки хватит, еще и с напуском будет.

– А у меня стол круглый, – хмуро сказал Колька Дрождев, – а раздвинешь – яйцо получается.

Первой в магазин вернулась Мирониха.

– Режь метр восемьдесят! – бухнула она.

– Не могу, – сказал Петр Максимыч.

– Да что же это! – закричала Мирониха. – Где я возьму еще тридцать сантиметров?

– Да ладно тебе, – сказал дядя Зуй, – останется кусочек стола непокрытым, будешь на это место рыбы кости складывать.

– Тебя не спросила! – закричала Мирониха. – Сам вон скоро свои кости сложишь, старый пень!

– Ишь, ругается! – сказал дядя Зуй добродушно. – Ладно. Максимыч, прирежь ей недостаю из моего куска. Пускай не орет. Пускай рыбы кости на клеенку складывает.

Продавец Петр Максимыч приложил к клеенке деревянный метр, отмерил сколько надо, и с треском ножницы впились в клеенку, разрубая васильки.

– Бери-бери, Мирониха, – говорил дядя Зуй, – пользуйся. Хочешь ее мылом мой, хочешь стирай. От этой клеенки убыли не будет. Ей износу нет. Пользуйся, Мирониха, чашки на нее ставь, супы, самовары ставь. Только смотри будь осторожна с ней, Мирониха. Не погуби клеенку!

– Тебя не спросила, – сказала Мирониха, взяла, кроме клеенки, селедок и пряников и ушла из магазина.

– Твой кусок, Зуюшко, укоротился, – сказал Петр Максимыч.

– Ладно, у меня стол маленький... Кто там следующий? Подходи.

– Я, – сказала тетка Ксения, – мне надо метр семьдесят.

– Где ж я тебе возьму метр семьдесят? – спросил Петр Максимыч.

– Где хочешь, там и бери. А у меня дети малые дома сидят, плачут, клеенки хотят.

– Пускай плачут! – закричал Петр Максимыч. – Где я тебе возьму?

Тетка Ксения махнула рукой на Петра Максимыча и сама заплакала.

– Вот ведь дела, – сказал дядя Зуй, – с клеенкой с этой! Ладно, Максимыч, прирежь и ей недостаю, мне небось хватит. А то клеенка, дьявол, больно уж хороша, женщине и обидно, что не хватает... Теперь-то довольна, что ль, тетка Ксения, или не довольна? А клееночка-то какая – прям искры из глаз. Какая сильная сила цвета. Постелишь ее на стол, а на столе – цветочки, ровно лужок... Кто там следующий? Манька Клеткина? А какой у тебя, Манька, будет стол?

– Не знаю, – тихо сказала Манька.

– Так ты что ж, не мерила, что ль?

– Мерила, – сказала Манька еще тише.

– Ну, и сколько получилось?

– Не знаю. Я веревочкой мерила.

Манька достала из кармана веревочку, узлом завязанную на конце.

– Вот, – сказала она, – у меня такой стол, как эта веревочка.

– Как веревочке ни виться, – строго сказал Петр Максимыч, – а концу все равно быть.

Он приложил деревянный метр, померил Манькину веревочку и сказал:

– Опять нехватка. Метр семьдесят пять.

– Эх, – махнул рукой дядя Зуй, – прирежь недостаю от моего куска, режь на всю веревочку. А ты, Манька, горячие кастрюли на клеенку не ставь, ставь на подложку.

Поняла, что ль? Сделай подложку из дощечки.

– Поняла, – тихо сказала Манька, – спасибо, батюшка.

– Или того лучше, Манька. Ты ко мне забеги, я тебе готовую подложку дам... Кто следующий-то там?

Дело в магазине пошло как по маслу. Петр Максимыч только чикал ножницами, и через десять минут от дядизуевой клеенки почти ничего не осталось.

Но эти десять минут дядя Зуй не терял даром. Он расхваливал клеенку, жмурился от силы цвета, сомневался: не заграничная ли она?

– Ну, Зуюшка, – сказал наконец Петр Максимыч, – у тебя осталось двадцать сантиметров.

– Чтой-то больно мало.

– Так выходит. Двадцать сантиметров тебе, полтора метра Кольке Дрождеву.

– Может, какие-нибудь есть запасы? – намекнул дядя Зуй. – Для близких покупателей?

– Запасов нету, – твердо сказал Петр Максимыч.

– Видишь ты, нету запасов. Ну ладно, давай режь двадцать сантиметров.

– На кой тебе двадцать-то сантиметров? – хрипло сказал Колька Дрождев, механизатор. – Отдай их мне.

– Не могу, Коля. Надо же мне хоть маленько. А то еще Нюрка ругаться будет.

– Уж очень мало, – сказал Колька Дрождев. – Двадцать сантиметров, чего из них выйдет?

– Я из них дорожку сделаю, постелю для красоты.

– Какая там дорожка, больно узка. А Нюрке мы конфет возьмем, чего ей ругаться?

– Это верно, – согласился дядя Зуй. – Когда конфеты – чего ругаться? Забирай.

– Если б валуи какие были нарисованы, – толковал Колька Дрождев, – я б нипочем не взял. А это все ж васильки.

– Верно, Коля, – соглашался дядя Зуй. – Разве ж это валуи? Это ж васильки голубые.

– А с валуями мне не надо. Ну, с рыжиками, с опенками я б еще взял.

– Ты, Колька, береги клеенку-то, – наказывал дядя Зуй. – Не грязни ее, да папиросы горящие не клади, а то прожжешь, чего доброго. Ты папиросы в тарелочку клади, а то наложишь на клеенку папирос – никакого вида, одни дырки прожженные. Ты лучше, Колька, вообще курить брось.

– Бросил бы, – ответил Колька, заворачивая клеенку, – да силы воли не хватает.

К ужину в каждом доме Чистого Дора была расстелена на столах новая клеенка. Она наполняла комнаты таким светом и чистотой, что стекла домов казались чисто вымытыми. И во всех домах стоял особый клееночный запах – краски и сухого клея.

Конечно, через месяц-другой клеенка обомнется. Колька Дрождев прожжет ее в конце концов горячей папиросой, пропадет особый клееночный запах, зато вберет она в себя запах теплых щей, калиток с творогом и разваренной картошки.

По-черному

Та банька, в которой жил с Нюркою дядя Зуй, была, как говорилось, старая. А неподалеку от нее, поближе к реке, стояла в крапиве другая банька – новая.

В старой-то дядя Зуй жил, а в новой – парился.

Иногда мелькала в его голове золотая мысль – переехать жить в новую баньку.

– Но где ж тогда париться? – раздумывал он. – Старая пирогами пропахла, жареной картошкой. В ней париться – дух не тот. Вот когда Нюрка вырастет, – мечтал дядя Зуй дальше, – да выйдет замуж, я ее тогда в новую баньку перевезу, а сам в старой жить останусь.

– А где париться-то будешь? – спрашивал я.

– Третью срублю.

Каждую субботу рано утром подымался от реки к небу огромный столб дыма – это дядя Зуй затапливал свою баньку.

Топилась она по-черному. Не было у ней трубы – и дым валил прямо из дверей, а из дыма то и дело выскакивал или выбегал на четвереньках дядя Зуй, прокашливался, вытирал слезы, хватал полено или ведро с водой и снова нырял в дым и кашлял там внутри, в баньке, ругался с дымом, хрипел и кричал.

Дым подымался столбом, столб разворачивался букетом, сизым банным цветом подкрашивал облака, заволакивал солнце. И солнцу и облакам странно было видеть огромный дым, маленькую баньку и крошечного старика, размахивающего поленом.

Как только баня была готова, дядя Зуй прибежал к нам и кричал:

– Стопилась! Стопилась-выстоялась! Скорее! Скорее! А то жар упустим!

Я выскакивал из дому и бежал к реке, а дядя Зуй подталкивал меня, гнал, торопил:

– Скорее! Скорее! Самый жар упустим!

В предбаннике дядя Зуй стремительно раздевался и тут же начинал стремительно одеваться. Он скидывал обычную одежду, а надевал шапку, шинель и валенки. В шапке, в шинели и в валенках вкатывался он в парилку, чуть не плача:

– Упустили! Упустили самый жар!

Но жар в парилке стоял чудовищный. От раскаленной каменки полыхало сухим и невидимым огнем, который сшибал меня с ног. Я ложился на пол и дышал через веник.

– Холодно, – жаловался дядя Зуй, кутаясь в шинель.

В парилке всегда было темно. Хотя и стоял на улице полный солнечный день, свет его не мог пробиться через оконце. Стена жара не пускала свет, и он рассеивался тут же, у окна.

А в том углу, откуда валил жар, тускло светились раскаленно-красные камни.

Зачерпнув ковшиком из котла, дядя Зуй кидал немного воды на камни – и с треском срывался с камней хрустящий колючий пар, и тут уж я выползал в предбанник.

Постанывая, жалуясь на холод, наконец и дядя Зуй выходил в предбанник, скидывал шинель.

– Давай подышим, – говорил он, и мы высовывали головы из бани на улицу, дышали и глядели на улицы Чистого Дора, а прохожие глядели на нас и кричали:

– Упустили или нет?

– Еще бы маленько, и упустили, – объяснял дядя Зуй.

Мы парились долго, хлестали друг друга вениками, бегали в речку окунаться, и дядя Зуй рассказывал прохожим, рыбакам и людям, проплывающим на лодке, сколько мы веников исхлестали.

После нас в баню шли Пантелевна с Нюркой, а мы с дядей Зуем пили чай, прямо здесь, у бани, у реки. Из самовара.

Пот лил с меня ручьями и утекал в реку.

Я бывал после бани красный и потный, а дядя Зуй – сухой и коричневый.

А Нюрка выходила из бани свеженькая, как сыроежка.

Подснежники

Кто прочитал название этого рассказа, тот, наверно, подумал, что сейчас весна, снег растаял и на проталинах – подснежники.

А сейчас не весна – сейчас поздняя осень. В окошко виден первый снег. Он закрыл землю, но крапива, ржавые репейники торчат из-под снега.

– Вон сколько навалило! – сказала утром Пантелевна. – Можно за дровами на санках съездить.

Она топила печку, а я ленился, лежал и глядел, как она ухватом ставит в печку чугуны. Пантелевна заглядывала в печку, и лицо ее было огненным, как у машиниста, который топит паровоз.

Но только, хоть и валит дым из трубы, паровоз наш никуда не едет, так и стоит на краю деревни.

Санки были на чердаке – старые, березовые. Я достал их, отряхнул сennую труху, и мы пошли в лес. Дрова были у нас недалеко, на опушке, напилены, нарублены и сложены под елками.

Смахнув с них снежную шапку, мы уложили поленья на санки, затянули веревкой.

Но-о, поехали!

Я тянул санки, а Пантелевна шла сзади – глядела, не падают ли поленья.

Совсем немного выпало снегу, а все сразу изменилось – и лес, и деревья. Да и мы с Пантелевной стали совсем другими – зимними людьми. Вон Пантелевна идет в резиновых сапогах, а кажется – в валенках; седые волосы из-под платка выбились – совсем зимняя старушка.

Ровно покрыл снег землю, изредка только поднимают его какие-то бугорки. Пеньки или кочки. Я ковырнул один бугорок сапогом – вот тебе на! Гриб! Моховик летний. Побурела зеленая шапка, легкий стал гриб и хрупкий. Я хотел отломить кусочек шляпки – она хрустнула. Замерз моховик под снегом, как стеклянный стал, и червяки в нем замерзли.

Я увидел еще бугорок, и это тоже оказался моховик, не червивый. Затоптался на месте, стал еще грибы искать.

– Катись дальше, батюшка! – крикнула сзади Пантелевна.

– Грибы! – крикнул я и, бросив санную веревку, пошел к опушке и сразу наткнулся на выводок подснежных маслят. Они почернели, застыв.

– Брось ты эти грибы, – сказала Пантелевна, поглядев на маслята. – Они, верно, нехорошие.

– Почему нехорошие? Они просто замерзли.

Но Пантелевна все время, пока мы везли дрова, толковала, что грибы нехорошие, что, мол, хорошие грибы должны к зиме в землю уйти или в листочки спрятаться, а эти чего стоят? Но когда мы подъехали к дому, настроение у нее переменялось – она стала эти грибы жалеть: какие, мол, они несчастные, не успели в землю спрятаться – сверху снег, и они совсем позамерзли.

Дома я выложил грибы на подоконник, чтоб оттаивали. Там было прохладно, поэтому оттаивали они медленно, постепенно. Оттаивая, они, кажется, оживали –

поскрипывали, вздрагивали, шевелились.

– Положим их в суп, – сказал я.

– Да что ты, батюшка! – напугалась она. – Давай бросим их.

Но мне обязательно хотелось попробовать суп из зимних грибов, и я уговорил Пантелевну.

Когда варился суп, зашла к нам Мирониха. Она понюхала, чем пахнет, и говорит:

– Чем это пахнет? Неуж грибами?

– Грибами, грибами, матушка Мирониха. Грибов из-под снега наковыряли.

– Ну-ну-ну!.. – удивилась Мирониха. – Бу-бу-бу... Не стану я таку страмоту есть.

А ей никто и не предлагал.

Суп приготовился, и Пантелевна разлила по мискам. Пантелевна немного вроде боялась его пробовать, потом вошла во вкус. А мне суп очень понравился. Хороший получился. Конечно, не такой, как летом, но настоящий грибной.

– Не стану я таку страмоту есть, – бубнила Мирониха, а потом вдруг цоп со стола ложку и в миску нырь. – Ну-ну-ну... Бу-бу-бу... – бубнила она, налегая на суп. – Страмота-то какая!

Мы помалкивали. Под конец только Пантелевна сказала:

– Добрые люди подосиновики да подберезовики, а мы подснежники варим.

Последний лист

Все лето провалялся в чулане ящик с красками, паутиной оброс.

Но когда наступила осень – вспыхнула по опушкам рябина, и налился медью кленовый лист, – я этот ящик достал, закинул на плечо и побежал в лес.

На опушке остановился, глянул вокруг – и горячими показались гроздья рябин. Красный цвет бил в глаза. А дрозды, перелетавшие в рябинах, тоже казались тяжелыми, красными.

Так я и стал рисовать: рябины и в них перелетают красные тяжелые дрозды.

Но рисунок не заладился. Горел-попыхал осенний лес, багряные круги плыли перед глазами. Так было красно, будто выступила из земли кровь. А на рисунке все оставалось бледным и сумрачным.

– Ты что это? – услышал я за спиной. – Никак, сымаешь?

Оглянулся: дядя Зуй идет опушкой, в руках ведро с опятами.

– Снимают, Зуюшко, из фотоаппарата. А я рисую.

– Какой молодец-то! – сказал дядя Зуй. – Ну сымай, сымай!

Ушел дядя Зуй, а я дальше стал рисовать, но бледным и робким выходил мой рисунок. А вокруг рябины и дрозды полыхали!

«Нет, – думаю, – рисовать не мое дело. Возьму лучше завтра ружье – и...»

«Ррружжжье-о-о!..» – крикнул вдруг кто-то у меня над головой.

Я прямо оторопел. Гляжу – на рябине птица сидит. Хохлатая, грудь оранжевая, на крыльях голубые зеркала. Сойка! Распушила перья, кричит:

«Ррружжжье-о-о! Ррружжжье-о-о! Т-р-р...»

Поглядел я, как сойка на рябине сидит, на осенний лес как следует глянул и совсем расстроился.

Захлопнул ящик с красками, поднял с земли кленовый лист и сгоряча налепил его на рисунок.

– Ну ладно! Пойду завтра зайцев торопить...

Осень быстро кончилась. Ветер пообрывал с деревьев листья, снег выпал.

Зимним вечером пришел ко мне дядя Зуй чаю попить.

– Ну и ну... – сказал он, показывая на рисунок, прислоненный к стенке. – Листок-то прямо как живой.

– Он и есть живой – настоящий.

– Ловко, – сказал дядя Зуй. – Последний, значит, от осени остался. А это что?

– А это дрозды, Зуюшко. Красные, тяжелые.

– Верно, – сказал дядя Зуй. – Тяжелые-то какие! Рябины, наверно, нажрались.

Выпил дядя Зуй стакан чаю, другой налил и снова на рисунок посмотрел.

– Да, – сказал он, – самый лучший лес – осенний.

– Верно, – сказал я. – Что может быть лучше?

– Еще бы! Идешь, а под ногами листья шуршат. Что же может быть лучше?

«Ну что же может быть лучше? – думал я. – Что может быть лучше осеннего леса? Разве только весенний...»

Самая лёгкая лодка в мире

Часть первая

Глава I

Морской волк

С детства я мечтал иметь тельняшку и зуб золотой. Хотелось идти по улице, открывать иногда рот, чтоб зуб блестел, чтоб прохожие видели, что на мне тельняшка, и думали: «Это морской волк».

В соседнем дворе жил ударник Витя Котелок. Он не был ударником труда. Он был ударник-барабанщик. Он играл на барабане в кинотеатре «Ударник». Все верхние зубы были у него золотые, а нижние – железные.

Витя умел «кинуть брэк».

Перед началом кино оркестр играл недолго, минут двадцать, и наши ребята мучительно ожидали, когда же Витя «кинет».

Но Витя нарочно долго «не кидал».

Наконец в какой-то момент, угадав своим барабанным сердцем особую паузу, он говорил громко:

– Кидаю!

Оркестр замирал, и в полной тишине начинал Витя тихохонько постукивать палочкой по металлическому ободу барабана и вдруг взрывался, взмахнувши локтями. Дробь и россыпь, рокоты и раскаты сотрясали кинотеатр.

Витя Котелок подарил мне шикарный медный зуб и отрезал от своей тельняшки треугольный кусок, который я пришил к майке так, чтоб он светил через вырез воротника.

Я расстегивал воротник и надевал зуб, как только выходил на улицу.

Зуб был великоват. Я придерживал его языком и больше помалкивал, но с блеском улыбался. По вечерам ребята выносили во двор аккордеон и пели:

В нашу гавань заходили корабли,
Большие корабли из океана...

Сумерки опускались на Москву и приносили с собой запах моря. Мне казалось, что в соседних переулках шумит прибой, и в бронзовых красках заката я видел вечное движение волн.

Распахнув пошире воротник, я бродил по Дровяному переулку, сиял зубом в подворотнях. Порывы ветра касались моего лица, я чувствовал запах водорослей и соли.

Море было всюду, но главное – оно было в небе, и ни дома, ни деревья не могли закрыть его простора и глубины.

В тот день, когда я пришил к майке треугольный кусок тельняшки, я раз и навсегда почувствовал себя морским волком.

Но, пожалуй, я был волком, который засиделся на берегу. Как волк, я должен был бороздить океаны, а вместо этого плавал по городу на трамвае, нырял в метро.

Мало приходилось мне мореходствовать. Как-то две недели проболтался в Финском заливе на посудине, которая называется «сетеподъемник», обошел Ладожское озеро на барже под названием «Луза».

Шли годы, и все меньше моря оставалось для меня в небе. Никаких водорослей, никакой соли не находил я ни в Дровяном переулке, ни в Зонточном.

– Выход к морю, – бормотал я про себя, гуляя по Яузе, – мне нужен выход к морю. Мне просто-напросто негде держать корабль. Вот Яуза – родная река, но попробуй тут держать корабль – невозможно. Мертвый гранит, отравленные воды.

Каждый год собирался я в далекое плавание, но не мог найти подходящее судно. Покупать яхту было дороговато, строить плот – громоздко.

– Купи резиновую лодку, – советовал старый друг художник Орлов.

– Мне нужно судно, а не надувное корыто. К тому же хочется придумать что-то свое, необычное.

– Сделай корабль из пустых бутылок. В каждую бутылку сунь по записке на случай крушения – и плыви!

Целый вечер сидели мы у Орлова в мастерской, что находится как раз у Яузских ворот, и придумывали корабли и лодки из разных материалов – птичьих перьев, разбитых гитар и даже членских билетов спортивного общества «Белая лебедь».

– В Москве невозможно держать корабль, – сказал наконец Орлов. – Какой тут корабль? Стены, машины, троллейбусы. Тебе нужен выход к морю.

– Конечно! – крикнул я. – Выход к морю! Я задыхаюсь без выхода к морю и нигде не могу его найти. А Яуза – это не выход.

– Яуза – прекрасный выход. Построил бы корабль и поплыл прямо из мастерской. Но держать здесь корабль невозможно. Строй лодку – корабля тебе в жизни не видать.

И вдруг мне пришла в голову некоторая мысль.

Я вздрогнул, сжал зубы, но мысль все-таки легко выскочила наружу:

– Я построю лодку, но только самую легкую в мире.

– Самую легкую? В мире? А сколько она будет весить?

– Не знаю... Хочется поднимать ее одной левой.

– Без бамбука тут не обойтись, – сказал Орлов, задумчиво пошевеливая бородой и усами. – Бамбук – самый легкий материал.

– Куплю десятка два удочек.

– Удочки – это пруттики. А нужны бревна.

Тот год в Москве была особенно морозная и снежная зима. Каждый вечер разыгрывалась в переулках метель, и казалось странным думать в такое время о бамбуке. Но я думал, расспрашивал знакомых. Мне советовали закупить удочек, ехать в Сухуми, писать письмо в Японию. Некоторый наш знакомый, Петюшка Собаковский, подарил коготь бамбукового медведя.

Постепенно разошелся по свету слух, что есть в Москве человек, ищущий бамбук. Неизвестные лица, большей частью с Птичьего рынка, звонили мне:

– Вам нужен бамбук? Приезжайте.

Я ездил по адресам – чаще в сторону Таганки, но всюду находил удочки или лыжные палки. Кресла, этажерки, веера.

Вместе со мной болел «бамбуковой болезнью» художник Орлов, который был вообще легковоспламеняем.

Коренастый и плотный, он никак не соответствовал своей гордой фамилии. Во всяком случае, ничто не напоминало в нем орла – ни нос, ни бледный глаз, разве только усы растопыривали порой свои крылья и сидели тогда на бороде как орел на горной вершине.

– На Сретенке живет милиционер Шура, – сообщил мне Орлов, – говорят, он видел бамбук.

– Какой милиционер?

– Не знаю, какой-то милиционер Шура, художник.

– Что за Шура? Художник или милиционер?

– Сам не пойму, – сказал Орлов, – Петюшка Собаковский сказал, что на Сретенке стоит на посту милиционер Шура. Он же и художник. И вот этот Шура в каком-то подвале видел вроде бы то, что нужно.

Несколько дней через нашего знакомого Петюшку мы договаривались с Шурой. Наконец Петюшка сообщил, что милиционер-Шура-художник будет ждать нас в половине двенадцатого ночи на углу Сухаревского переулка.

Глава II

Бамбук или граммофон?

К ночи разыгралась метель.

Поднявши воротники и поглубже нахлобучив шапки, мы с Орловым шли по Сретенке. На улице было снежно и пусто – мороз разогнал прохожих по домам. Иногда проезжали троллейбусы, совершенно замороженные изнутри.

На углу Сухаревского переулка стоял милиционер в служебных валенках.

– Не знаю, как с ним разговаривать, – шепнул я Орлову, – как с милиционером или как с художником?

Валенки шагнули к нам.

– Ищущие бамбук следуют за мной, – сказал милиционер в сретенское пространство, оборотился спиной и направил свои валенки в переулок. Он шагал быстро, рассекая метель, взрывая сугробы. Спотыкаясь и поскользываясь, мы поспешили за ним.

«Ищущие бамбук следуют за мной», – повторял я про себя. В первой половине этой фразы чувствовался художник, а уж во второй – милиционер.

Скоро он свернул в низкорослую подворотню, открыл ключом дверь под лестницей, и мы оказались в какой-то фанерной камерке. На столе стояла электрическая плитка и старинный граммофон. На стене висела картонка, на которой был нарисован тот же самый граммофон. Признаков желанного бамбука видно не было.

Толкаясь коленями, мы сели на тахту, а милиционер Шура, не снимая шапки,

включил плитку, поставил на нее чайник.

– Это моя творческая мастерская, – строго сказал он.

– Мало метров, – живо откликнулся Орлов, и они завели длинный разговор о мастерских и долго не могли слезть с этой темы. Кубатура, подвальность, заниженность...

Потом милиционер-художник стал показывать свои этюды, а мы пили чай. Стакан за стаканом, этюд за этюдом. Время шло, бамбуком и не пахло.

Меж тем милиционер все больше превращался в художника. Он уже снял шапку и размахивал руками, как это делали, наверно, импрессионисты. Орлов похваливал этюды, а я маялся, вопрос «где бамбук?» крутился у меня в голове.

– Ты что молчишь? – сердито шепнул Орлов. – Хочешь бамбук – хвали этюды.

– Отличные этюды, – сказал я, – сочные – вот что ценно. А где же бамбук?

– А зачем вам бамбук? – спросил милиционер-художник, слегка превращаясь в милиционера. – Для каких целей вам нужен бамбук?

Вопрос был задан столь серьезно, будто в желании иметь бамбук заключалось что-то преступное. Шура как бы прикидывал, не собираемся ли мы при помощи бамбука нарушить общественный порядок.

Орлов объяснил, в чем дело, и не забыл похвалить этюды, напирая на их сочность. Милиционер-Шура-художник-любитель немного смягчился.

– Да бросьте вы, ребята, этот бамбук, – неожиданно сказал он, – хотите, я вам граммофон отдам?

– Граммофон? Но мы в связи с бамбуком...

– Берите граммофон. Пружину вставьте – будет играть. А бамбук – ладно. Потом как-нибудь и бамбук достанем.

Я растерянно поглядел на Орлова и увидел в глазах его жалобный и дружеский блеск. Ему явно хотелось иметь граммофон. Я перевел взгляд на милиционера и понял, что надо выбирать: или бамбук, или граммофон.

– Хороший граммофон, – пояснил Шура, превращаясь в художника. – Мне его одна бабка перед смертью подарила. Смотрите какая труба!

– Давай и граммофон, и бамбук, – не выдержал Орлов. Усы его распустили крылья, принакрыли гору бороды.

– Не много ли? – сказал Шура, и взгляд его двинулся в милицейскую сторону.

– Погодите! – сказал я. – Какой еще граммофон! Вы же обещали нам бамбук показать.

– Да на улицу выходить неохота, – признался милиционер-художник. – Надоела эта метель, совсем замерз на посту. А там еще в подвал лезть. Лучше бы посидели, о живописи поговорили... Ну ладно, раз обещал, покажу. А граммофон сам починять буду.

Глава III

Провал

За полночь метель разыгралась всерьез. Снежные плети хлестали по лицу, фонари

в Сухаревском переулке скрипели и стучали, болтаясь под железными колпаками.

Я замерз, но веселился про себя, мне казалось смешно – ночью, в метель, идти по Москве за бамбуком. Орлов отставал. Его тормозил оставшийся граммофон.

– Я не уверен, что это бамбук, – говорил милиционер-художник. – Торчит из подвала что-то, какие-то деревянные трубы.

– Вот видишь, – сердито шептал Орлов. – Надо было брать граммофон.

Проходными заснеженными дворами подошли мы к трехэтажному дому. Окна его были темны, а стекла выбиты, и метель свободно залетала внутрь, кружилась там и выла, свивала снежные гнезда.

– Дом скоро снесут, – сказал Шура. – Жильцов давно выселили. Граммофон отсюда, с третьего этажа, а подвал вон там.

Сбоку к дому был пристроен коричневый сарай. Мы открыли дверь, заваленную снегом. Включив фонарь, Орлов шагнул вперед и остановился.

– Это не подвал, а провал, – ворчливо сказал он.

Пол сарая действительно провалился, а под полом оказалась глубокая яма, которую заполняла гора всевозможной рухляди. Из этой горы и торчало то, что привело нас сюда, – трубы, покрытые столетней пылью.

– Нужен крюк, – сказал Орлов. – Или загогулина. Дотянемся до трубы и вытащим ее наружу.

– Какой крюк? – нетерпеливо спросил я. – Где он? Держи меня за хлястик, а Шура пусть фонариком светит.

Орлов крепко ухватил меня за хлястик, я наклонился над провалом, протянул вперед руку. До трубы было довольно далеко, но рука моя все вытягивалась и вытягивалась, и я даже подивился таким свойствам человеческой руки. Когда до трубы оставалось сантиметра два, хлястик неминуемо лопнул, и я полетел в тартарары.

Ударившись коленями о груды щебня, я повалился на бок. Какие-то кроватиные спинки, углы корыт, гнилые батареи центрального отопления окружали меня.

– Я говорил: надо загогулину, – сказал Орлов, ослепляя меня фонариком. – Посмотри, что это за круглая штука валяется.

Я поднял овальную жестянку, протер ее. Из-под слоя пыли выглянули тисненные буквы.

– Кинь ее сюда, – сказал Орлов.

Под светом фонаря я забрался на груды щебня и дотронулся наконец до пыльной трубы. Определить на ощупь, бамбук это или нет, я не сумел, но труба оказалась легкая и неожиданно длинная. Я направил конец ее в пролом, и Орлов с милиционером вытащили трубу наружу.

Я остался в темноте и слышал только, как скрипит снег, свистит метель в пустом доме и как милиционер-художник подает какие-то совершенно небамбуковые команды – «заноси левее», «ложи ее под фонарь» и т. д.

Наконец свет фонарика снова ослепил меня, и я услышал голос:

– Ну, брат, граммофона нам не видать. Это бамбук!

И до сих пор я не могу поверить, что в ту метельную зиму нам удалось найти в Москве бамбук. Но вот глубокой ночью я стоял на дне пропыленного подвала и подавал

одно за другим наверх настоящие бамбуковые бревна. Я даже представить себе не мог, что бамбук бывает такой толстый, с удивлением ощупывал узловатые стволы и думал, что Москва действительно город чудес.

Орлов вытаскивал бревна на улицу, а милиционер-художник светил фонариком. Надо сказать, что в эти минуты он как-то ступешался и не смог сразу сообразить, как ему поступать в данной ситуации: как милиционеру или как художнику, поэтому и выступил в роли осветителя.

Когда мы вытащили пять бревен, милиционер-художник несколько раз помигал фонариком и неожиданно сказал:

– Хватит.

– Почему? Мало на лодку.

– На самую легкую в мире хватит.

В подвале лежало не меньше двадцати бревен, и мы с Орловым, не сговариваясь, собрались утащить все. Но милиционер Шура принял решение и мигал беспрестанно фонариком, подчеркивая свою твердость.

Под миганье мы уговорили Шуру дать нам еще одно, шестое бревно, по которому я и вылез наверх.

При свете уличного фонаря я рассмотрел наконец бамбук. Орлов воткнул бревна в сугроб. Толщиной с водосточную трубу, оранжевые и коричневые, блестели они, будто покрытые лаком.

– Увязывайте и пакуйте, – сказал Шура-милиционер, – а в субботу приходите граммофон слушать.

Толкаясь локтями, мы жали Шурину руку, обещали принести пластинки к его граммофону. Орлов даже обнял милиционера и сказал:

– Становись-ка ты, Шура, художником.

Мне захотелось поспорить с Орловым. Я обнял Шуру с другой стороны:

– Не слушай его, будь милиционером.

– Я и сам не знаю, как тут быть, – признавался милиционер-художник, притопывая валенками. – Душа разрывается. И то и другое – дело нужное.

– Надо избрать что-то одно, – сказал Орлов. – И дуть в эту дудку. А то душа разорвется.

– У меня душа крепкая, – объяснял Шура. – Ее так просто не разорвать.

– Дуй в две дудки, – уговаривал его я. – Это душу укрепляет.

Так обнимались мы под метелью, и, когда обнялись окончательно и Шура скрылся за углом, Орлов вытащил из-за пазухи овальную жестянку.

Красная краска на ней местами облупилась, проржавела, но хорошо видна была парусная лодка и надпись белым по красному:

ЧАЙ

Т-во Чайная торговля

В. ВЫСОЦКИЙ и К°

Москва

Глава IV

Ночное плавание

Перед нами была старинная вывеска. Но как попала она в подвал? И как попал сюда бамбук?

– Ты знаешь, чего я думаю, – сказал Орлов, – я думаю, что в этих бревнах раньше перевозили чай. Насыпали внутрь сухого чаю и перевозили вот на таких лодках, которые называли «чайный клипер».

Более нелепого предположения предположить было невозможно. Художник Орлов пытался одним махом объединить чай, бамбук и лодку на вывеске прямой линией. Он пошел кратчайшим путем к истине и промахнулся.

Орлов просто-напросто устал. Его оглушила потеря граммофона. Ведь он мог запросто уносить сейчас под мышкой граммофон, а вместо этого возился с моим бамбуком.

Была уже глубокая ночь. Снег валил со всех сторон.

Мы замерзли и долго связывали бамбук веревкой, связали, взвалили на плечи. Связка получилась громоздкой, руки соскальзывали с гладких лакированных бревен.

Переулками мы вышли на Сретенку. Снежные волны выкатывались вслед за нами из темных подворотен, схлестываясь под фонарями, и улетали кверху – гроыхать на крышах, выть на чердаках.

– Воет, как граммофон, – недовольно ворчал Орлов, который шел впереди.

– Право руля! – кричал ему я.

Метель то подталкивала нас в спину, то налетала сбоку и разворачивала поперек улицы. Мы неловко маневрировали, напоминая баржу. Это было первое плавание самой легкой лодки в мире.

– Левая, загребай! Правая, тарань! – покрикивал я и вдруг услышал сзади:

– Стоп-машина!

В первую минуту я подумал, что это нас догнал зачем-то милиционер-художник. Но ошибся. Нас догонял не художник, но – милиционер.

– Суши весла! – крикнул я, и мы повалили связку на снег.

Милиционер-нехудожник оглядывал и нас и бамбук с крайним подозрением. Из-под его погон сыпалась снежная труха. В свете уличного фонаря кокарда на его шапке, до блеска начищенная метелью, сверкала как утренняя звезда. Милиционер молчал.

Орлов постучал ботинком по бамбуку, потопал ногами, попрыгал.

– Метель-то какая, а? – сказал он милиционеру.

Милиционер не захотел вступать в пустой разговор. Не выпуская нас из поля зрения, обошел он бамбуковую связку, осветил фонариком в черные жерла бревен.

– Попрошу документы.

– Документов нет.

– Попрошу накладные на стройматериалы.

– Ничего такого у нас нет.

– А где вы это... гм... взяли?

– Это бамбук, – чистосердечно ответил Орлов. – Нам его милиционер-художник

подарил.

На мой взгляд, ничего глупее этой фразы придумать было невозможно.

Фраза озадачила милиционера, несколько секунд переваривал он ее и сказал неожиданно:

– Это Шурка, что ли?

– Шура. Который на Сретенке стоит.

– Да откуда же у Шурки бамбук? Где ваши накладные?

– Накладные остались у Александра, – вставил я. – Необходимы дополнительные печати.

– Какие еще печати? Откуда бамбук?

– Он лежал в Сухаревском переулке, – принялся объяснять Орлов. – У милиционера-художника в подвале. Мы там и вывеску нашли.

Он достал из-за пазухи вывеску «Высоцкий и К°», которая делу особо не помогла.

– Пройдемте до отделения, – сказал милиционер.

– Да что вы! Пойдемте лучше ко мне в мастерскую, – приглашал Орлов. – Заварим чаю, разберемся.

– Уж если разбираться, так в отделении.

– У нас чай со слоном. А можем чаю-медведя сделать. Согреетесь.

– Уж поверьте нам, – уговаривал я. – Не крали мы этот бамбук. Пойдемте, посмотрите, где мы живем, и если надо, арестуйте.

Некоторое время уламывали мы милиционера, и наконец он согласился, помог взвалить бамбук на плечи. Мы снова двинулись вперед, а милиционер-нехудожник важно шагал сбоку. Его присутствие сделало наше плавание более торжественным и величавым. Мне было приятно, что в первом плавании самой легкой лодки в мире участвуют сопровождающие корабли.

– Вы знаете, – сказал я милиционеру, – вы участвуете в первом плавании самой легкой лодки в мире.

– Как это так?

– Из этого бамбука мы построим самую легкую лодку планеты.

– На легкой-то далеко ли уплывешь? Да и зачем она вам? Рекорды, что ль, бить?

– Да надо бы их побить, – веселился я. – Чего глядеть-то на них?

– Делайте плоскодонку. У нас в Мещере все на плоскодонках плавают. Из осины долбят.

Пока мы шли к мастерской, милиционер-нехудожник вспоминал, как делают лодки у них в Мещере, как выбирают осину, как долбят, как парят, как разводят ее.

Когда мы пришли в мастерскую, заварили чай и уселись за стол, милиционер сказал:

– Накладные – бог с ними. Но где же все-таки хоть какие-то документы?

Никаких документов Орлов найти не сумел. Нашел квитанцию за уплату электроэнергии, показал милиционеру, фамилия которого оказалась Оськин.

– Хорошо, что вы платите за энергию, – говорил Оськин. – И чай хорош, и вправду коричневый, как медведь. Но все-таки другой раз ночью бамбук не таскайте. Увижу – заберу.

Оськин-милиционер немного отогрелся, снял форменную шапку, расстегнул шинель.

– Я бы вас сразу в отделение повел, – признавался он. – Да там места мало – бамбук некуда девать. Поэтому я с вами и пошел, но, если б вы, ребята, вздумали бежать, пришлось бы мне кое-что применить.

Раз пять заваривали мы чаю-крепача. За окнами выла метель, а мы сидели красные, распаренные, ели столовыми ложками варенье из банки.

– Хорошо, что вы не побежали, – продолжал Оськин. – Это молодцы. Тут один недавно вздумал убежать...

Мы сидели на кухне под абажуром, сделанным из разноцветных стекляшек-палочек. Напротив Оськина на столе висели пять старых медных чайников, связанных вместе. Здесь же стояла скульптурная группа «Люди в шляпах», над которой Орлов работал последние четыре года.

– Что это они все в шляпах? – спросил Оськин. – Сделал бы хоть одного в кепке.

– Такие люди кепок не носят, – возражал Орлов. – Это люди серьезные. Вот вы, например, какой носите головной убор, когда снимаете форму?

Оськин хмыкнул, зацепил из банки варенья.

– Тюбетейку, – сказал он.

Шесть бамбуковых бревен лежали на полу. В кухне они не уместились, и концы их вылезали в коридор. Снег, облепивший бревна, растаял – на золотистых боках сверкали янтарные капли.

– Одного не пойму, – говорил Оськин. – Как бамбук попал в подвал?

– Чай и бамбук – одного поля ягоды, – отвечал Орлов, помахивая вывеской «Высоцкий и К°». – Поверьте мне, где чай, там и бамбук.

– Видимо, в этом подвале были чайные склады купца Высоцкого, – рассуждал я. – Вместе с чаем он привез и бамбук. Хотел, наверно, построить бамбуковый домик, чтоб чай в нем пить.

– Бамбук применялся для упаковки, – спорил со мной Орлов. – Этими бревнами обшивали тюки с чаем. Они работали как спасательный пояс, чтоб чай не утонул, если корабль перевернется.

Так болтали мы о чае и бамбуке, и чай заваривался в чайнике, бамбук лежал на полу, и мне ясно было, что он занимает в мастерской слишком много места.

Глава V

Идея зарастает мохом

Мне хотелось начать строительство лодки немедленно.

Несколько дней бродил я вокруг бамбука, чистил бревна, гладил их, измерял.

В тельняшке, с топором и ножовкой в руках парил я над бамбуком, примеривался, прицеливался, мечтал. Но никогда в жизни я не строил никаких лодок и так просто тюкнуть топором по бамбуку не решался.

Надо сказать, что тельняшка теперь у меня была цельная, далеко позади остался треугольный кусочек, я донашивал вторую свою тельняшку. А хорошая тельняшка, как

известно, служит хозяину примерно десять лет.

Шли недели. Без движения лежал бамбук у Орлова в мастерской. Посетители спотыкались о него, восхищались таким толстым невиданным бамбуком. Орлов гордился, расхваливал бамбук и мою идею.

Прошел месяц, и настроение Орлова переменялось.

– Здесь не чайный склад купца Высоцкого, – шутил он. – Пора превратить бамбук в лодку.

За месяц Орлов совершенно излечился от «бамбуковой болезни». Он подхватил где-то «керосиновую болезнь» – стал собирать керосиновые лампы и в короткий срок набрал столько ламп, что их некуда было ставить. Бамбук же занимал много места и мешал лампам спокойно размножаться.

А я не знал, с чего начать, и, главное, не представлял себе, какой должна быть самая легкая лодка в мире. Я рисовал бамбуковые проекты, а ночами снились мне бамбуковые корабли.

– Тебе, наверно, мешает бамбук? – заискивая, спрашивал я Орлова.

Орлов молчал, только усы его недовольно помахивали крыльями.

– Ну, хочешь, я увезу бамбук домой?

Помалкивал Орлов, помалкивал.

– А что? Возьмем за пятерку самосвал и отвезем на квартиру.

– Для этого надо иметь квартиру, – отвечал наконец Орлов.

Квартиры у меня не было. Была комната, которую я снимал у опасного человека по имени Петрович. Этот Петрович запросто мог в сердцах растоптать бамбук, а то и продать соседу, возводящему голубятню.

Да, так получилось, что прежде чем иметь лодку, я должен был заиметь квартиру, в которой мог бы хранить строительный материал. Меня всегда поражало, как в жизни связано между собой:

лодка –

бамбук –

милиционер-художник –

керосиновые лампы –

Петрович –

квартира.

Казалось бы, нет в этом никакой связи, а в голове моей все переплелось, запуталось морским узлом.

– Это узел судьбы, – пояснял Орлов. – Брось ты самую легкую лодку в мире. Давай распилим бревна и понаделаем из них кувшинов. В таких кувшинах можно держать керосин, олифу, а если надо, сыпучие тела.

Замыслы Орлова пугали меня. Особенно раздражали сыпучие тела. В жидкостях все-таки оставалось что-то от идеи мореплавания.

Я занялся поисками квартиры, покидая бамбук на несколько дней, а то и на неделю. Постепенно новая будущая квартира вытеснила из головы самую легкую лодку в мире.

Случайно наткнулся я на фотографию в журнале «Рыбоводство». На ней

изображена была лодка, очень легкая на вид. В лодке сидел человек с подлещиком в руке. Под фотографией была подпись:

«Известный писатель-путешественник любит порыбачить и поразводить рыбу в свободное от литературы время. Хорошо отдыхать на водоемах Подмосковья».

В справочном бюро узнал я телефон, позвонил и, путаясь, извиняясь, объяснил, в чем дело.

– Ладно, – сказал писатель-путешественник, – заходи завтра ко мне. Покажу лодку.

Глава VI

Писатель-путешественник

Я шел по улице, с некоторой гордостью поглядывая на прохожих. Они-то спешили кто в булочную, кто в химчистку, а я к писателю поговорить о лодках. Да, самая легкая лодка в мире, еще даже и не построенная, уже приводила меня в удивительные бухты и заливы.

В подъезде дома, где жил писатель-путешественник, меня остановила женщина, которую хотелось назвать теткой. Она сидела у лифта в полуразвалившемся кресле, из которого торчали хвосты мочалок, и читала роман Толстого «Война и мир».

– Куда? – спросила она.

– К писателю.

– Здесь все писатели.

– Как это?

– А так – полон дом. Ты к кому?

Я ответил и, пораженный, не решился ехать на лифте. Целый дом писателей я встретить никак не ожидал и даже представить себе не мог, что такие дома на свете существуют. Поднимаясь с этажа на этаж, разглядывал я двери, обтянутые кожей, по которым созвездиями разбросаны были золотые кнопки. Из-за дверей раздавался собачий лай, звуки пианино, а иногда и стук пишущей машинки. Где-то посреди пути охватил меня вкуснейший дух баранины с чесноком, в котором и вправду чувствовалось что-то мощное, крепкое, писательское.

Добравшись до квартиры писателя-путешественника, я хотел было позвонить, как вдруг увидел табличку:

Звонить воспрещается!

За нарушение – смертная казнь!

Я потоптался у двери, не зная, что делать. На всякий случай звонить не стал, а легонько поскребся в дверь. За дверью в общем-то было тихо, только кто-то поскреб ее с той стороны. Я постоял и снова слегка поскребся. С той стороны поскреблись в ответ.

Вдруг дверь распахнулась, и я оказался лицом к лицу с огромной собакой без хвоста. Она глядела на меня тяжелым изучающим взглядом.

– Чанг, кто там? – послышался голос. – Если Гусаков, загрызи его, а если тот тип,

что звонил насчет лодки, пускай войдет.

Чанг посмотрел мне в глаза, сообразил, что я не Гусаков, и вильнул обрубком хвоста в сторону комнаты.

Я вошел и увидел писателя-путешественника. Он сидел на полу, на медвежьей шкуре, и курил кривую трубку. По левую руку от него на шкуре россомахи стоял радиоприемник «Телефункен». По правую, на шкуре волка, – красный телефон.

Прямо под потолком висела настоящая длинная лодка, по виду напоминающая эскимосский каяк. Я видел ее боевое дно, исцарапанное, покрытое шрамами и облепленное старой засохшей рыбьей чешуей.

Я поздоровался и спросил:

– А как Чанг отличил меня от Гусакова?

– По запаху, – серьезно ответил писатель и негромко приказал: – Чанг, принеси гостю чего-нибудь помягче.

Громко топая, бесхвостый Чанг сходил на кухню и принес шкуру рыси. Я расстелил ее и уселся.

– У меня есть еще шкура австралийского ежа. Я стелю ее, когда приходит Гусаков.

– Как же Чанг его до сих пор не загрыз?

– Это не так просто. Чанг грызет его второй год, а тот – как новенький.

Чанг виновато опустил голову, дескать, что ж тут поделаешь, бывают такие, негрызаемые гости.

– Ваша лодка похожа на каяк, – сказал я, чувствуя, что тему Гусакова лучше не развивать.

– Это смесь байдарки с каяком. Я прошел на ней восемнадцать рек Западной Сибири... А ты случайно не знаком с Гусаковым?

– И в глаза его не видел.

– А может, все-таки знаком? Только не хочешь сказать, а? Ты не подосланный?

– Не знаком и не хочу знакомиться, – твердо ответил я. – Я на лодку пришел поглядеть. Интересно, сколько она весит?

– Двадцать пять.

– Тяжеловата. Мне нужно на двадцать килограммов легче.

– Купи детское корыто.

– Погодите, – принялся объяснять я. – У меня есть бамбук. Из него можно сделать лодочку полегче.

– А зачем тебе легкая? Лодка должна быть основательной. Как дом. Но можно, конечно, сделать легкую, заманить в нее Гусакова – и пускай переворачивается, а?

– Для Гусакова можно купить резиновую и дырку проделать.

– В резиновую Гусаков не полезет. Вот в бамбуковую, да еще самую легкую в мире, его легко заманить. Он потом на всю Москву будет кричать: я – самый великий человек в мире, плавал на самой легкой лодке в мире! Я уж знаю Гусакова.

– А кто вашу лодку построил? – спросил я. – Может, вы дадите мне адрес Мастера?

– Адреса не дам, – сказал писатель-путешественник. – Но в следующее воскресенье я сам поеду к Мастеру в Каширу. Бери бамбук – поедem вместе. Чанг, ты

поставил чайник?

Глава VII

Отрезанная голова Орлова

В следующее воскресенье мы с Орловым взвалили на плечи бамбук и притащили его на вокзал.

Писатель-путешественник ожидал нас у пригородных касс. Размеры бамбука удивили путешественника, но еще больше удивил его Орлов. Как видно, писатель ожидал только меня с бамбуком, и Орлов не входил в его расчеты.

Кое-как мы занесли бамбук в электричку, уложили в проходе между сиденьями. Пассажиры спотыкались и ругались на нас так, будто мы везли еловые дрова.

– Вы очень похожи на одного моего знакомого, – сказал писатель Орлову, когда поезд тронулся.

– Не может быть, – ответил Орлов, который всегда был уверен, что не похож ни на кого на свете.

– Если сбрить вам бороду, будет вылитый товарищ Гусаков.

– Зачем же мне бороду сбривать?

– Это мы сбриваем мысленно, чтоб на Гусакова быть похожим.

– Да не хочу я быть похожим!

– Вот это правильно. И я бы не советовал походить на Гусакова, потому что он неприятный человек. А все-таки вы похожи. Вы не родственники?

Орлов объяснил, что они не родственники, и отключился от вагонной жизни, уставившись в окно. Он явно обиделся на сходство с Гусаковым. Писатель-путешественник тоже замолчал, потому что сходство было очевидным.

Я чувствовал себя виноватым и перед тем и перед другим, пытался поддержать разговор, но ничего не выходило. Я был зажат в молчащие тиски. С одной стороны давила на меня старая дружба, с другой – новое знакомство.

«Ладно, – думал я, – главное – довезти бамбук до Каширы и лодку построить».

Неожиданно беседу оживил человек в золотых очках, который сидел напротив и все это время шуршал газетой.

– И зачем молодые люди носят бороду! – сказал он. – Ну, зачем? Не пойму.

Это был камешек в огород Орлова.

Орлов не обратил на камешек внимания и упорно глядел в окно на дачные участки, сады и огороды.

– Ну, в старое время люди мало читали – вот они и носили бороду. А сейчас-то зачем борода? Я бы всех бородатых взял бы и насильно им бороду сбрил, чтоб на людей были похожи.

Я никак не мог понять, отчего эти золотые очки так уж привязались к Орлову. Борода не была самым главным в его облике, и хоть напоминала порой обрешанную снизу горную вершину, орел усов выглядел поважнее. Орлова я бы и не назвал бородатым. Скорей уж – бородато-усатым. А еще точнее – брадоусым.

– Сбрить бороду – это мало, – ответил наконец Орлов. – Я бы всем, кто носит

бороду, голову отрезал.

– Это уж потом, если бороду не сбреют.

Орлов пошарил в кармане, достал оттуда кривой садовый нож и протянул человеку в золотых очках.

– Режьте, – сказал он.

– Что такое?

– Голову мне режьте.

На соседних лавках люди забеспокоились, стали прислушиваться к разговору. Кто тянул по-гусиному шею, кто протискивался через проход к нам поближе, а кто, наоборот, подальше.

– Вы хотели насильно сбрить мне бороду, – напирал Орлов, – а потом отрезать голову – режьте!

– Режьте, режьте, – поддержал писатель-путешественник. – Хотели резать – режьте. Чего тянуть?

– Ничего я не хотел. Я хотел только бороду сбрить.

– Ничего подобного, – сказал и я, обращаясь к пассажирам. – Он хотел отрезать голову моему другу. Это все слышали!

– Не хотел я резать! – отбивался человек в золотых очках, привставая и отталкивая нож.

– Граждане! – громко сказал вдруг писатель-путешественник. – Среди нас опасный пассажир. Он хотел отрезать голову, а потом сбрить с нее бороду!

– Вот вам моя голова! – наседал Орлов. – Что ж вы не режете?

Да кто же это сказал, что Орлов не похож на орла?! Вон как блистают гордые бледные глаза, летают усы, а под ними нож кривой горит в когтистых руках. Да орел же! Настоящий орел!

И писатель-путешественник смотрит на Орлова с уважением. Какой тут товарищ Гусаков? Орел!

Все больше народу собиралось вокруг нас. Человек в золотых очках не выдержал, стал сдергивать с крючка свою сумку.

– Только брить хотел, только брить! – объяснял он, пробираясь к выходу из вагона.

Глава VIII

Время компота

Мастер жил на окраине Каширы, и вокруг его дома росли старые яблони. С веток их свешивались сверкающие сосульки, меж которыми летали синицы и воробьи.

Я думал, что увижу человека преклонных лет, но Мастер был вполне молод, с добрым и внимательным, но очень белым, даже белоснежным, каким-то зимним лицом.

Он встретил нас на крыльце, расцеловался с писателем и спросил его:

– Как звать ваших великих друзей?

Писатель познакомил нас и объяснил коротко бамбуковую затею.

– О делах потом, – сказал Мастер. – Прошу вас и ваших великих друзей в дом, к

столу. Прошу, прошу, прошу.

Несколько смущенные, мы с Орловым уложили бамбук под яблоню, смели веником снег с ботинок и вошли в дом.

За столом собралась уже вся семья Мастера – дедушки и тетушки, сестры с мужьями, племянники. Мастер представил нас как «великих друзей писателя-путешественника».

Мы краснели, кланялись, не зная, как подтвердить свое величие.

– Да, да! Это мои великие друзья! – поддакивал писатель-путешественник. – Один из них, правда, немного похож на Гусакова, но это сходство чисто внешнее. На самом деле он великий человек. Ему в поезде чуть голову не отрезали!

– Не может быть! – восклицали родственники.

А стол, за который усадили нас, был завален угощением: горы салата, застывшие озера холодца. Белоснежное лицо Мастера порхало над столом, мелькали добрые руки тетушек, которые подкладывали писателю-путешественнику и его великим друзьям свеколки с чесноком, селедочки в шубе, картошечки в мундире.

Мастер произнес речь в честь своего великого друга писателя. Писатель-путешественник произнес речь в честь своего великого друга Мастера. Дядюшка Карп Поликарпыч произнес речь в честь великих друзей великого друга Мастера.

– Кстати, – пояснял писатель-путешественник. – Мои друзья задумали великое дело. Они решили построить самую легкую лодку в мире. И тут не обойтись без Мастера, который велик, как гора. Скажем – Казбек.

Тут все принялись обсуждать, какая гора больше, Казбек или Эльбрус, с гор спустились к морю, а на море и оказалась самая легкая лодка в мире. Тут родственники призадумались, какой должна быть самая легкая лодка, кинулись к окнам глядеть на бамбук.

– Бамбук-то легкий! – вскрикивал кое-кто из них. – А можжевельник полегче будет.

– А орех?

– Пойдите, пойдите, – успокаивал Мастер. – Сейчас не время бамбука и других материалов – время борща.

И он принялся разливать борщ таким половником, на котором впору было отправиться в плавание.

– Лодка не получится, – говорил Мастер чуть позже, – если мы не отведаем гуся.

Мы принялись за гуся, у которого оказалось столько ног, сколько людей сидело за столом, – двенадцать.

– А все-таки бамбук не такой уж и легкий, – сказал вдруг дядюшка Карп Поликарпыч.

– Я раньше никогда не работал бамбук, – заметил Мастер, недовольно двинув бровями. – И ты бы, Карп Поликарпыч, лучше бы думал о гусе.

– А я думаю не только о гусе, но и о бамбуке, – ответил Карп Поликарпыч.

Подняв брови повыше, Мастер внимательно оглядел Карп Поликарпыча. В глазах его выразилось сильное сомнение в том, что в голове у дядюшки могут уместиться две такие важные мысли.

Дядюшка глаз своих не отвел, а гусиную ногу стал грызть более напряженно, как бы намекая: вот видишь – ем гуся, а думаю о бамбуке.

Отложив недоеденную гусиную ногу, Мастер встал и вышел из-за стола в кабинет.

В комнате создалась неловкость. Многие родственники глядели на Карп Поликарпыча с большим осуждением. Кто-то из тетюшек сильно толкнул его в бок. Карп Поликарпыч, не теряя достоинства, упорно ел ногу, делая глазами вид, что по-прежнему думает о бамбуке.

Меж тем Мастер вернулся из кабинета, держа в руках скальпель, пинцет и увеличительное стекло. Не садясь вновь за стол, он прошел к выходу, и кто-то из племянников накинул ему на плечи полушубок.

В окно мы видели, как Мастер трогает пинцетом бамбук, скоблит его скальпелем и разглядывает в увеличительное стекло.

Вернувшись в дом, он молча уселся за стол и принялся доедать гусиное блюдо. Все напряженно молчали, ожидая, что скажет Мастер.

Откашлявшись, Мастер сказал:

– Время компота.

И только когда прикатали бочку компота, когда всякому были выданы и груша сморщенная, и черносливина, и яблочко, и виноград, и мирабель, Мастер ободряюще поглядел на меня:

– Приезжайте через месяц. Не знаю, будет ли это самая легкая лодка в мире, но самую легкую в Кашире я сделаю.

Глава IX

Самая легкая лодка в Кашире

Ровно через месяц я снова поехал в Каширу. Теперь я ехал один. Самую легкую лодку я должен был легко – одной левой – принести домой.

Уже был март. Сосульки на яблонях в саду у Мастера доросли до земли, белоснежное доброе лицо его к весне поголубело.

– О делах потом, потом, – встретил меня Мастер. – Вначале – к столу. Все уже в сборе. Ну, как поживают наши великие друзья?

Родственники, собравшиеся за столом, встретили меня как родного, а с дядюшкой Карп Поликарпычем мы даже расцеловались.

– Ну как лодка? – нетерпеливо расспрашивал я. – Где она?

Оказалось, лодку никто не видал. Мастер до поры до времени скрывал ее где-то, возможно, в сарае.

Снова начались салаты и кулебяки, речи в честь отсутствующих великих друзей, занятых великими делами, потом наступило время борща, время гуся, время компота. За столом говорили о чем угодно, только не о лодке. Как только кто-нибудь заикался насчет лодки, Мастер смыкал брови и недовольно кашлял.

К концу обеда нетерпение присутствующих достигло предела. Компот все уже пили кое-как, и я глотал груши целиком. Только Мастер не торопился, просил добавки, внимательно изучал черносливину, прежде чем отправить ее в рот. Наконец он встал,

скромно потянулся и сказал:

– Теперь бы соснуть часочек.

Но тут все возмущенно зафыркали, не решаясь, впрочем, голосом выказать неудовольствие.

– А что, – говорил Мастер, похлопывая меня по плечу. – Устраивайтесь на диване.

После обеда полезно передохнуть.

– Да ты что! – сказал Карп Поликарпыч. – Построил лодку или нет?

– Какую лодку? – как бы удивился Мастер.

– Самую легкую в мире.

– Ах ты про это! Вон оно что. Да ты что ж, Карп Поликарпыч, разве не видел ее?

– Не только я. Никто ее не видел. Пойдем в сарай.

– Зачем в сарай? В сарай идти незачем. Уберите стол, поставьте стулья вдоль стен, а посреди комнаты надо постелить ковер. Тот, новый, который на шкафу в прихожей.

Родственники начали суетиться, а мы с Мастером, обняв друг друга за плечи, прошли в кабинет. Мастер усадил меня в кресло, предложил выкурить трубку «Капитанского» табаку.

– Все готово! – крикнул из-за двери Карп Поликарпыч.

– Уж больно вы торопитесь, – недовольно поморщился Мастер. – Расстелили ли ковер?

– Расстелили, все готово.

Мы вернулись в гостиную. Посреди комнаты был расстелен ковер «Богатырь», а родственники чинно сидели вдоль стен. Для меня чуть вперед было выставлено кресло.

– Ковер попрошу зря не топтать, – сказал Мастер и вышел из комнаты. Долго он пропадал в глубинах дома и наконец вернулся. В руках у него, к нашему изумлению, ничего не было. Зато сам Мастер был в новом темно-синем костюме, белейшей рубашке и при галстукке.

Он вышел на середину комнаты, слегка поклонился и сказал:

– Друзья! Лабораторный анализ показал, что бамбуку, который я должен был работать, не менее ста лет. Он долго ждал прикосновения человеческой руки, так подождите и вы несколько секунд, и я покажу вам лодку.

И мастер снова вышел из комнаты.

Глава X

Бейте и топчите!

Скоро он вернулся, держа в руках с десяток тонких реек, которые хотелось назвать палочками. Мастер показал эти палочки зрителям и принялся раскладывать их на ковре.

Совершенно потрясенный, смотрел я на палочки в руках Мастера. Мои бревна, мои чудесные толстые, массивные, не виданные никем в Москве бревна превратились в бамбуковую щепу. И родственники глядели на Мастера недоверчиво. Они тоже, видно, никак не ожидали, что Мастер так искрошит бамбуковые бревна.

Разложив бамбуковинки в некотором порядке, Мастер вышел и принес еще с

десяток точно таких же палочек. Среди них имелась и шпукovina, которая напоминала лесенку. Уложивши лесенку среди палочек, Мастер успокаивающе помахал нам рукой и снова вышел.

Эти бесконечные его уходы и приходы совершенно измучили нас. Родственники смущенно пожимали плечами и боялись смотреть мне в глаза. Палочки и лесенка были такие тонкие, что всем ясно было – ничего, кроме детской игрушки, составить из них невозможно.

На этот раз Мастер принес брезентовый мешок и шесть полумесяцев из светлого металла. Наклонившись, он быстро соединил все бамбучины так, что получились длинные прутья, концы которых он пристегнул друг к другу. Что-то вроде длинного бамбукового огурца лежало теперь на ковре. Все это выглядело жидко, но, когда я увидел эту бамбуковую корзину, сердце мое стукнуло от волнения в первый раз.

«Неужели что-нибудь получится? – думал я. – А вдруг и вправду сейчас появится лодка?»

Теперь я понял, почему Мастер надел новый костюм и страстно захотел, чтоб фокус его удался. Что ж, разве зря мы с Орловым лазили в подвал? Неужели разрушится здание, фундамент которого стоит на тельняшке и зубе золотом, стены подперты милиционером-художником, а из окошек выглядывает чуть было не отрезанная голова Орлова!

– Сочленяем! – сказал Мастер и, привстав на колени, начал «сочленять» бамбук и полумесяцы.

Полумесяцы всовывались в корзину-огурец, распирала ее изнутри, изгибались так, что казалось, вся конструкция вот-вот лопнет. Каждый бамбуковый прут натягивался как тетива, а по форме напоминал лук. И когда последний полумесяц замкнулся, я увидел длинную и узкую птичью клетку, лежащую на ковре.

– Каркас составлен, – сказал Мастер.

«Да ведь это каркас, – думал я, – а вовсе не птичья клетка. И разве клетка может быть похожа на скелет стремительного морского существа? Нерпа? Нет, нерпа коротка, угловата, а здесь легкость, полет».

В каркасе лодки видна была скорость, как в стреле, которая еще не выпущена на волю.

– Бью! – воскликнул вдруг Мастер и слегка ударил каркас ногой. Весь скелет чуть отъехал в сторону.

– Бью сильнее! – сказал Мастер, ударил, и будущая лодка отпрыгнула к стене.

– Топчу! – воскликнул Мастер и топнул, наступил ногой на бамбуковые ребра. Они прогнулись под ударом, напряглись как пружины и отбросили Мастера так, что он еле устоял на ногах.

– Бейте и топчите!

Смертельно побледнев, Мастер отошел к стене и встал, сложив руки на груди.

Родственники зашептались, глаза их расширились.

Дядюшка Карп Поликарпыч поднялся, подошел к лодке, и в этот момент я проснулся. Я вдруг понял, что не желаю, чтоб с этого момента кто-нибудь прикасался к лодке, которая, только что родившись, обнаженная, лежала на ковре.

– Стойте! – сказал я. – Трогать лодку запрещаю! Мастер, продолжайте представление!

Родственники и Мастер, услышав мой грубый тон, вздрогнули. Они как-то не ожидали от меня такой безобразной выходки. Грубость застряла у них в горле. Прокашлявшись, они ее постепенно проглотили, понимая, что я хозяин лодки или самый близкий ее родственник.

Дядюшка Карп Поликарпыч отошел на место.

Мастер поморщился. Я подпортил его спектакль. Как видно, он рассчитывал, что лодку будут бить и топтать все присутствующие. Потеряв нить, он сразу не мог вспомнить, что делать дальше. Поглядев на мешок, принесенный Мастером, я понял, что в нем оболочка лодки, ее платье.

– Одевайте ее поскорее, – твердо предложил я.

Мне казалось, лодка слишком уж обнажена, мне было неловко за нее и немного стыдно.

Глаза Мастера стали печальны. Он только сейчас понял, что существо, которое лежит на ковре, уже ему не принадлежит.

Мастер вынул из мешка серебристую ткань, быстро и ловко натянул ее на каркас, отчего нос лодки приподнялся. На корме он стянул ткань, зашнуровал черною шнуровкой.

Я глядел на свою лодку – самую первую в жизни и самую легкую в мире, – и сердце мое плыло и качалось.

Тонкая,

изогнутая,

остроголовая

и длиннохвостая,

в серебристом платье,

она лежала поперек комнаты на помертвевшем ковре и, как стрелка компаса, рассекала комнату пополам, прорезала стены, чтоб вылететь из Каширы к берегу, к ветру, к воде...

Мастер заглянул мне в глаза и сказал вполголоса:

– Забирайте свою невесту.

Мы обнялись.

Потом я подошел к лодке и легко поднял ее одной левой рукой.

Глава XI

Невеста под кроватью

Поздней ночью добрался я до Москвы. Разобранная лодка покоилась теперь в двух брезентовых мешках, один из которых висел у меня на спине, другой – на груди.

На троллейбусе добрался я до Крестьянской заставы, где снимал комнату, и только лишь открыл дверь, как сразу наткнулся на своего хозяина Петровича.

– Что это у тебя в мешках? – спросил он.

– Ничего особенного, – махнул я рукой. Не хотелось рассказывать Петровичу про

лодку. Он не слишком-то был достоин такого рассказа. Защитный цвет и необыкновенная форма мешков вызвали у Петровича сильнейшую тревогу. Он никак не мог сообразить, что же это такое находится в мешках, и туго двигал бровями.

– Парашют украл? – спросил наконец он.

Я промолчал и прошел в свою комнату. Петрович не поленился пойти за мной. Он внимательно наблюдал, как я снимаю мешки и засовываю их под кровать.

– Ты это брось, – сказал он. – За принос неизвестных предметов знаешь чего бывает? Телевизор-то смотришь? Вынь мешки и предъяви для опознания.

Петрович стоял рядом со шкафом и так был широк в плечах, так монументален, что казалось, это стоят рядом два брата-близнеца. Но если шкаф был просто гардеробом, то брат его – по виду старше, значительней – был явным владельцем жилищной площади, на которой брат-гардероб только временно находился.

– Принос мешков в ночное время, – говорил Петрович, – недавно по радио говорили и по телевизору показывали...

Речь свою шкаф-Петрович произносил с большим затруднением, делал паузы, чтоб я хорошенько понял смысл, и, подозревая, что смысл до меня не доходит, кратко пересказывал сказанное:

– Ночные переносы... владелец площади... в газетах пишется...

Я сидел на кровати и слушал Петровича. Я не возражал и не спорил, но мне было обидно и больно за бамбуковую мечту.

Так, отрывочно и грозно, Петрович мог говорить часами, и против этого было одно средство – три рубля.

Я отдал Петровичу трешку, и он ушел наконец в кухню, где немедленно принялся что-то готовить, зажигать газ, греметь посудой. Казалось, он немедленно, не заходя в магазин, превратил трешку в продукты. Но на самом деле продукты были давно заготовлены, и Петрович только вынул из холодильника колбасы и свинины ровно на три рубля, а то и на два пятьдесят, чтоб разбогатеть на полтинник.

Я погасил свет и лег. Хотелось поскорей отвлечься от колбасы и Петровича – подумать, помечтать о своей лодке.

Прикрыв глаза, я увидел ее лежащей на ковре у Мастера, мигнул – перенес на озеро. Серебристая по голубому, легко резала она волны, перелетала подводные камни, пробиралась узкими протоками через болотные травы – таволгу, камыши.

На кухне гремел кастрюлями Петрович, шипело и лопалось на сковородке сало, а лодка моя плыла к далеким островам, и казарки летели ей навстречу.

Вдруг стало стыдно, что я засунул лодку под кровать. Пожалуй, она должна была находиться на более почетном месте.

Я зажег свет и оглядел комнату. В старом продавленном кресле лодка не умещалась, а на шкафу, пыльном и паутинном, место было скорее позорным, чем почетным.

И особенно жалким и горьким показался мне пол, где, давно прогнившие, шевелились и прогибались доски, где из-под облупленной красной краски вылезала старая зеленая, из-под зеленой древнейшая охра, и из-под охры совсем нечеловеческая доисторическая чернота.

На стене, освещенная вялым электричеством, висела картина, на мольберте стояла другая.

Это были мои собственные картины, которые я написал года два назад, – «Самовар» и «Курильщица табаку». И хоть писаны они были не так давно, смотреть мне на них не хотелось.

Казалось бы, написаны они ярко и смело – активный цвет, мощные формы. Но ни цвета, ни активных форм не видел я в них, а только лишь падение мечты, крушение надежды.

По моим расчетам, эти самые картины должны были основать новое живописное течение – «шаризм». Как некогда великие французы потрясли мир «кубизмом», так и я у Петровича на Крестьянской заставе готовил живописную бомбу.

«Шаризм» – это было мое личное открытие, никто в мире не писал «шарами», только лишь я, один.

Поначалу, конечно, я старался избирать темы более или менее округлые – «Люди и арбузы», «Гитаризм под облаками». Но позднее насобачился писать шарами совершенно кубические формы. Так, уже в картине «Толстяк у телевизора» не было ни одной прямой линии, только шары и дуги.

К сожалению, выстрадавший мною «шаризм» себя не оправдал. Не было последователей и меценатов. А без меценатов и последователей «шаризм» не мог распространиться по белу свету.

Шаролюбивая кисть глохла в моих руках и к тому моменту, когда я притащил лодку к Петровичу, оглохла окончательно. Несколько шаристических картин подарил я друзьям, и у меня остались только шедевры – «Самовар» и «Курильщица табаку», с которыми я решил не расставаться до самой смерти.

Гнилой пол, не нужная никому живопись, чудовищный шкаф увенчивались подходящим потолком.

И потолок был невыносим – покрытый водорослями, желтыми медузами.

Нет уж, пусть лодка не видит этого потолка, пусть лежит под кроватью, тем более что кровать – единственный, кроме «шаризма», предмет в комнате, принадлежащий мне, а значит, и ей. Эту кровать-раскладушку я купил, когда въезжал к Петровичу. Лодка, раскладушка и я были теперь одной семьей и должны были уж как-то поддерживать друг друга.

Я погасил свет и лег, решив назавтра вымыть пол под кроватью.

Петрович булькал и журчал на кухне, а мы трое забились в угол холодной чужой квартиры и старались заснуть, тесно прижавшись друг к другу.

«Мастер назвал лодку невестой, – вспомнил я. – Действительно, похожа – в серебрином платье, легкая, веселая».

Я заснул, и мне приснилась невеста, которая, свернувшись калачиком, дремала под кроватью.

Глава XII

Увядший букет

Держать лодку у Петровича я боялся. Он мог проверить, что лежит в мешках, вытащить бамбучину, чтоб чистить ею, скажем, водопровод.

Везти лодку к Орлову тоже не хотелось, я и так долго мучил его бамбуком.

Но, с другой стороны, Орлов лодку не видал, а человек, который так долго терпел бамбук, имел право увидеть, что из него получилось.

И я повез лодку к Орлову.

Я был уверен, что она ему понравится, и уже в трамвае представлял себе, как будет подпрыгивать от счастья Орлов, как будет трясти мою руку, радуясь, что идея доведена до конца. Меня и самого переполняли восторг и счастье, я сиял, и мне хотелось, войдя в мастерскую, первым делом обнять старого друга.

– Что это у тебя в мешках? – спросил Орлов, открывая дверь.

– Сейчас увидишь! – с восхищением пообещал я. В моем обещании явно слышались тот праздник и сюрприз, которые скоро должны были охватить художника.

– На картошку не похоже. Неужели лодка? Сделал все-таки! Сколько же она весит?

– Сейчас взвесишь! – снова торжественно подмигнул я, отодвинул в сторону скульптурную группу «Люди в шляпах» и стал распаковывать мешки. Развязывая тесемки, я то и дело лукаво поглядывал на Орлова, приглашая его поволноваться в ожидании сюрприза.

Орлов, однако, смотрел на мешки с недоверием, а когда я вынул бамбуковые рейки, недоверие его усилилось.

– Все, что осталось от бамбука? – спросил он.

– погоди, погоди, не торопись, – сдерживал его я и внимательно, шаг за шагом, стал собирать лодку. Мастер подробно показал мне, как это делается, и все-таки я возился долго, пока составил скелет. Красота скелета особенного впечатления на Орлова не произвела.

– Хило, – сказал он. – Слабовато.

– Бью! – воскликнул тогда я и ударил каркас ногой. От удара вылетел серебряный полумесяц-шпангоут, который я непрочной закрепил. Поставив его на место, я продемонстрировал прочность и гибкость каркаса. Орлов смотрел одобрительно, но без признаков восторга.

– Да, вроде бы скелет красив и прочен, – мямлил он, – но видали мы скелеты и попрочней, и понарядней.

Я вытащил оболочку, натянул ее, надеясь, что это прорвет плотину. Орлов немного оживился, но восторгов слышно не было.

– Легкая лодочка, – сказал он, небрежно приподымая корму. – Не думаю, что самая легкая в мире. В Кашмире – возможно. А где-нибудь в Кашмире есть небось и полегче.

Я заставил его все-таки сесть в лодку, дал ему весло и сам устроился на корме. Раскачивая лодку, я придумывал будущее плавание, но Орлов шевелил веслом тускло, и спина его была каменной, неинтересной.

Когда я пришел в мастерскую, счастье и гордость распирали меня. Восторг торчал из меня, как букет из кувшина. Орлов повытаскивал из букета все цветы и бутоны, пообрывал лепестки.

– Слушай, – сказал я, – в чем дело? Тебе лодка не нравится?

– Да нет, почему? Нравится.

– А что ж ты молчишь?

– А что ты хочешь, чтоб я подпрыгивал от счастья?

– Мог бы и подпрыгнуть.

– Не хочется, – сказал Орлов и вылез из лодки. В голосе его неожиданно прозвучала обида. Но я его не обижал. Неужели он обижался на судьбу? Бамбук мы доставали вместе, в Каширу ездили вместе, а лодка получилась моя.

– Слушай, – сказал я. – Эта лодка ведь у нас на двоих. Давай будем два капитана.

– Ну нет, – ответил Орлов. – Это твоя лодка. Хотя я и сам не понимаю, почему она твоя. Бамбук мы доставали вместе, и делал ее не ты, а Мастер. Ты и топор-то держать в руках не умеешь. Так что особенно не хвастайся. А то раскричался: самая легкая в мире! Я построил!

Я слушал Орлова, и голова моя все ниже клонилась к полу. Уже не увядшим букетом и даже не пустым кувшином чувствовал себя я, а разбитой бутылкой, в которую временно ставили цветы.

Моя лодка лежала передо мной, и ничего моего не было в ней – бамбук милиционера-художника, помощь Орлова, талант Мастера. Моими оставались только тельняшка и зуб золотой.

– Ладно, – сказал я. – Будь ты капитаном, а меня возьми матросом.

– Я капитан скульптурной группы «Люди в шляпах», – возразил Орлов. – Будь сам капитаном, а матросом бери кого хочешь.

Орлов отказывался от меня, посылал вместе с лодкой на все четыре стороны.

Глава XIII

Бельмо в глазу

Пришибленный, просидел я в мастерской Орлова до вечера.

Давно пора мне уже было разобрать лодку и уйти, а я сидел, пил чай.

К вечеру в мастерской стали собираться люди. Пришел некоторый Петюшка Собаковский, пришла девушка Клара Курбе и неожиданно – милиционер-художник. Оказывается, Орлов близко сошелся с ним на почве граммофона. Милиционер Шура и принес граммофон, завернутый в газету.

Увидевши меня и лодку, Шура частично растерялся. Рыская глазом, пытался он найти признаки бамбука, спрятанные под серебряным платьем.

– А почему она серебряная? – сказал наконец он.

Я стал объяснять, а Петюшка и девушка Клара подошли к лодке, не замечая принесенного граммофона.

Между тем, по замыслу Шуры, именно граммофон должен был оказаться героем вечера. В глазах милиционера-художника мелькнуло беспокойство. Он понял, что лодка может помешать граммофону. Послушав меня минутку, Шура кинулся разворачивать граммофонную трубу.

– Осторожно! – воскликнул Орлов. – Не повреди раструб!

Тут я понял, что и Орлову лодка мешает. По его замыслу, гости должны были весь вечер под звуки граммофона и при свете керосиновых ламп смотреть на скульптурную группу «Люди в шляпах».

Скульптура, лодка и граммофон – для одного вечера это было слишком много. И если скульптура с граммофоном как-то соединялись, то лодка оказалась бельмом в глазу сразу у двух человек.

Орлов с милиционером повернулись к лодке спиной, девушка Клара, привыкая к обстановке, хлопала ресницами, ну а Петюшка Собаковский никаких бельм вообще не замечал. Он вертел своими собственными бельмами и торопился сесть за стол перекусить.

Орлов взял в руки граммофонную трубу, приставил узкий ее конец к собственному рту, а чудовищный раструб к уху Клары и проревел:

– Карл у Клары украл кораллы...

Клара Курбе счастливо засмеялась.

Милиционер-художник выхватил трубу и прокричал, что «Клара украла кларнет».

Орлов зажег с пяток керосиновых ламп, появился чайник, в комнате сделалось уютно.

Трубу приладили к ящику. Петюшка Собаковский схватился было за рукоятку, но Орлов с милиционером оттащили его от граммофона и стали крутить рукоятку сами. Пластинка завертелась, и послышался вальс «Амурские волны».

Старинный вальс из древнего граммофона усилил керосиновый уют. В комнату спустились откуда-то нежность и легкая грусть. Далеким и тихим был звук, выливающийся из граммофонной трубы, далеким и тихим, как из морской раковины. Казалось, вальс доносится сквозь шум прибора.

– Бедные звуки... – шептала Клара Курбе. – Какие они тоненькие и маленькие...

– Вот это настоящая музыка! – подхватывал Орлов.

Милиционер-художник гордился граммофоном и командовал:

– Тише, тише! Дайте послушать!

Подперев руками щеки, все столпились, сидя вокруг граммофона. Орлов то и дело толкал Петюшку локтем, боясь, что тот пропускает красоту звука.

Петюшка и вправду красоту пропускал, налегая на кильку и яблоки.

Стали пить чай. Про лодку все позабыли, и Шура-милиционер купался в лучах граммофонной славы.

Глава XIV

«Люди в шляпах»

Между тем скульптурная группа «Люди в шляпах» по-прежнему оставалась в тени. Орлов хотел как-то подсоединить ее к граммофону, но это пока не удавалось. Чудовищная черно-красная труба-воронка уже буквально всосала в себя Клару Курбе, и Шура-милиционер сиял, направляя раструб на девушку.

– Мне кажется, труба граммофона похожа на какой-то головной убор, – сказал наконец Орлов. – Скорей всего, на необычную шляпу.

– Ничего похожего, – ответил Шура-милиционер, не ожидая неприятностей. – Она похожа на ухо.

– Жалко, что здесь нет никакой шляпы, – сказал Орлов. – А то бы мы сравнили.

– А группа-то скульптурная! – воскликнул Шура, попадаясь на удочку. – Вон там сколько шляп – и ничего похожего.

Скульптурную группу подтащили поближе к лампам и убедились, что действительно – ничего похожего.

Тут Петюшка Собаковский задумал отличиться. Он схватил граммофонную трубу и нахлобучил себе на голову. Милиционер сделал бровью, Орлов поморщился, девушка глянула на Петюшку с некоторым презрением.

Затырканной Петюшка отдал трубу хозяину и сел на место.

– Люди в шляпах, – сказала Клара Курбе, задумчиво улыбаясь Орлову. – Какой интересный замысел!

– Все в шляпах, – заволновался Орлов. – И у каждого под шляпой свой внутренний мир. Видите этого носатого? Носатый-то он носатый, а под шляпой у него все равно свой мир. Как думаете, какой?

Девушка Клара Курбе, а за нею и остальные пристально оглядели носатого члена скульптурной группы, прикидывая, какой у него внутренний мир.

– Ясно, что в этом человеке происходит борьба, – сказала Клара, – но борьба непростая.

Все снова вперились в носатого, размышляя, какая в нем может происходить такая уж борьба.

– Мне кажется, это борьба неба и земли, – пояснила Клара.

Все замерли, и Орлов растерялся, не ожидая, видно, от девушки такой силы взгляда. Милиционер же художник отчетливо остолбенел. Ему, пожалуй, и в голову не приходило, что небо и земля могут бороться. Краешком глаза глянул он на пол, а после на потолок.

– Все это правильно, – чуть заикаясь, сказал Орлов. – Точно подмечено. Именно – борьба...

– А под той кривой шляпой, – продолжала Клара, – под той борьба огня с водой.

Милиционер с граммофоном окончательно пошатнулся. Силою своих взглядов девушка Клара Курбе решила затмить не только граммофон, но и скульптурную группу. Милиционер-художник обеспокоился. Выбравши одну из шляп попроще, он ткнул в нее пальцем и сказал:

– А под этой происходит борьба добра со злом.

– Хэ-хэ, – ответила Клара Курбе. – Ничего подобного.

Милиционер поежился и, закрыв рот, воззрился на Клару.

Орлов толкнул локтем Петюшку, который чем-то хрустел в кармане.

Вглядываясь в скульптурную группу, Клара молчала.

– Под этой шляпой происходит нечто иное, – замедленно начала она. – Это... борьба борьбы с борьбой!

Эти таинственнейшие слова совершенно ошеломили милиционера-художника и художника Орлова. Одна из керосиновых ламп внезапно пыхнула и погасла. Все

общество, расширивши глаза, вглядывалось в Клару, соображая, может ли быть на свете такая неслыханная борьба.

Старый мой друг художник Орлов наконец-то поглядел на меня в поисках поддержки. Борьба борьбы с борьбой вышибла из его глаз мое бельмо, то есть лодку. Но обида еще не угасла во мне, и я решил не ввязываться в дело.

Орлов глянул на милиционера, но тот затравленно молчал, оглядываясь на граммофон. Петюшка Собаковский, которому запретили хрустеть, в расчет не принимался. Орлову надо было выпутываться самому.

– Борьба, – медленно выговорил он. – На вид человек как человек, а в душе все – борьба, борьба...

– Борьбы с борьбой, – подчеркнула Клара.

Орлов передернулся и опять глянул на меня.

– А мне нравится, когда борьба борется с борьбой, – сказал я, выручая старого друга, хорошего, в сущности, человека, который всегда выручал и меня.

– Подумать только! – воскликнула Клара, неприязненно оглядывая меня. – Вы, кажется, понимаете, что такое «борьба борьбы с борьбой».

– Конечно, понимаю, – сказал я.

– Что же это?

– Очень даже простая штука, – ответил я, глядя Кларе в глаза. – Я и сам один раз видел, как борец школы дзюдо боролся с борцом школы каратэ. Вот это и была борьба борьбы с борьбой.

– Ерунда, – сказала Клара. – Чтоб понять, что такое «борьба борьбы с борьбой», надо много страдать, много думать.

– Я и думаю, только не о вашей «борьбе», а о своей лодке, самой легкой в мире.

– Эта лодка самая легкая в мире?

– Самая легкая.

– А легче нету?

– Нету и не может быть.

Клара задумалась, встала из-за стола, обошла лодку.

– И здесь борьба, – сказала она, – легкое борется с тяжелым, но тяжелое побеждает.

Перешагнув через борт, Клара вдруг плюхнулась на капитанское место.

Этого я стерпеть не мог.

– А ну-ка вылазь! – крикнул я, вскакивая.

Потрясенная моим тоном, Клара оглянулась на Орлова.

– Вылазь, вылазь, – повторил я. – Вылазь без борьбы.

– Он хозяин, – развел руками Орлов. – Раз говорит «вылазь», значит, вылазь.

Клара Курбе выкарабкалась из лодки, под села к столу и нервно глотнула чаю. Орлов отодвинул скульптурную группу в тень. Клара отвлеченно звякала ложкой, не желая глядеть в мою сторону.

Вечер, кажется, был испорчен.

– Слушай, – сказал Петюшка, – а как называется твоя лодка?

– Сам не знаю, – ответил я, – еще не придумал.

– Ты знаешь, что я думаю, – сказал Петюшка. – У самой легкой лодки в мире должно быть и название самое легкое в мире.

Глава XV

Самое легкое название в мире

Такой выходки от Петюшки не ожидал никто.

В первую секунду все приокаменели, раздумывая, что, собственно, сделал Петюшка – брякнул ли глупость или высказал нечто разумное?

Особо напрягался милиционер-художник и даже почти схватился за голову, которая не успела переварить «борьбу борьбы с борьбой», а Петюшка подбросил нового материалу.

– Как это может быть – самое легкое название? – сказал Шура. – Легкая лодка – я понимаю. А название?

Петюшка Собаковский и сам растерялся.

– Ну взять, к примеру, название «Пена», – сказал он. – Пена-то легкая.

Тут уж всем стало ясно, что Петюшка ляпнул глупость. Только полный дурак может назвать свою лодку «Пена».

Клара замкнуто звякала ложкой. Теперь и на Петюшку смотреть ей не хотелось. Во-первых, он брякнул глупость, во-вторых, он разговаривал со мной. А после того, как я выгнал Клару из лодки, разговаривать со мной не должен был никто. Глянув на Петюшку, как на некоторую неприятную пену, Клара углубилась в чай.

Орлов с милиционером сразу поняли, что Петюшка потерял золотое место в сердце Клары, и молчали, решив свои места пока сохранить.

– «Пена» не годится, – сказал я. – Как-то нелодочно.

– Почему нелодочно? – спросил Петюшка. – Легонькая, беленькая, бегаёт по волнам.

– Да разве нет ничего легче пены?

– Наверно, есть, – сказал Петюшка. – Может быть, пепел? А?

Клара снова глянула на Петюшку, как бы превращая пену в пепел.

Милиционер-художник зашевелился. Ему явно хотелось влезть в разговор, но золотое место в сердце Клары накладывало печать на его уста.

Все эти Кларины взгляды и золотые места начали немного раздражать художника Орлова.

– «Пепел», – сказал он, не глядя на Клару. – Ну и название! Какой же дурак назовет свою лодку «Пепел»? Придумал бы что-нибудь нежное. К примеру, «Бабочка».

Милиционер-художник заерзал на стуле. Ясно было, что он придумал легкое название, но не решался его сказать, оглядываясь на Клару. Он так и сяк замыкал свой рот, но придуманное слово рвалось наружу.

– Ласточка! – гаркнул он.

Эта милицейская ласточка прорвала плотину, и птичьи названия полетели одно за другим: «Чиж», «Горихвостка». Вспыхнув на миг, название тут же меркло.

– Название должно быть даже легче птицы, – сказал Орлов. – Надо, чтоб оно и

звучало легко и просто. Например, «Эхо».

– «Эхо» – не очень лодочно, – сказал я.

– Лодочно! Лодочно! – сказал Орлов. – И лодка, как эхо, будет летать от берега к берегу.

Я заволновался и неожиданно подлил чаю Кларе Курбе. Мне вдруг ужасно захотелось назвать свою лодку «Эхо». Я представил себе, как красиво можно написать это слово на серебряном борту, как будут удивляться капитаны встречных кораблей, читая – «Эхо».

– Есть кое-что полегче, чем эхо, – сказал Петюшка. Он давно помалкивал, выращивая в голове легкое название.

– Что же это? – спросил Орлов.

– «Ау».

– Чего?

– «Ау» легче, чем «Эхо». Просто – «Ау»!

– Ну и название! – усмехнулся Орлов. – «Ау». Вот лодка утонет, тогда и будет – ау!

– Зато всего две буквы, – защищался Петюшка. – «А» и «у».

– Можно придумать название из одной буквы, – сказал Орлов. – Например, «О»! Чего уж легче – «О». Что может быть легче, чем «О»?

– «Привет», – сказала Клара Курбе, и мы не сразу поняли, что она предлагает свое название.

Глава XVI

Самое легкое название в мире

(продолжение)

– Привет, – повторила Клара. – Вот что самое легкое в мире. Один человек передает другому привет. Куда уж легче?

На миг я представил слово «привет», написанное на борту лодки, и мне стало скучно. Но я решил промолчать, зато милиционер-художник отомкнул уста:

– Да, – сказал он, – привет – легкая штуковина.

Тут уж всем стало окончательно ясно, что желание иметь золотое место в сердце Клары и в собственном сердце милиционера также занимало золотое место.

– А если один очень толстый человек передает привет другому очень толстому? – сказал Петюшка. – Какой тогда получается привет? Тяжелый или легкий?

Клара повела плечами.

– «Привет» для названия лодки не годится, – сказал Орлов. – Надо придумать что-то другое.

– Тогда «Мечта», – сказала Клара и задумчиво посмотрела на художника Орлова. – Мечта даже легче приветов.

– То «Привет», то «Мечта», – грубовато хмыкнул Орлов. – Больно уж красиво.

Девушка Клара Курбе огорченно посмотрела на художника Орлова, который по собственной воле уходил из ее сердца.

– А если я мечтаю о двухпудовой гире? – спросил Петюшка, и милиционер-

художник неожиданно хрюкнул от смеха, а потом ухмыльнулся.

Тут уж все мы – и я, и Орлов, и Петюшка – тревожно поглядели на Клару, надеясь, что она это хрюканье с ухмылкой не заметит.

Милиционер и сам напугался и попробовал преобразить неуместную ухмылку в сосание больного зуба. Но это не получилось – смешливая ухмылка тянулась, продолжалась. Все поняли, что милиционер-художник с громом и треском рухнул из сердца Клары на грязный пол.

Отчаяние и ужас отобразились в его глазах. Ему совсем не хотелось рушиться на пол. Да ведь он и ничего такого не сделал, только хрюкнул, только ухмыльнулся! Нельзя же так сразу – из сердца на пол!

С ужасом, повторяю, в глазах Шура-милиционер искал выход из неприятного положения.

– Ха-ха, – нервно засмеялся он в открытую. – Ну и насмешил ты меня, Петюшка. С чего ты мечтаешь о двухпудовой гире?

– Мечтаю, и все! – лаконично ответил Петюшка. – Выжимать ее хочу.

– Вот так мечты! – продолжал смеяться Шура, направляя свой смех на девушку. Из всех сил он приглашал Клару посмеяться над Петюшкой, но она даже не улыбнулась. Поджав губы, она глядела внутрь керосиновой лампы.

Ясно было, что она хоть треснет, а больше никогда в жизни не взглянет на милиционера-художника.

Но и на художника-немилиционера, то есть на Орлова, ей смотреть не хотелось, ведь он сам, по собственной воле ушел из ее сердца. А меня и Петюшку она давно уже видеть не могла.

Некоторое время Клара раздумывала, на кого из присутствующих могла бы она посмотреть, и поняла, что смотреть не на кого. В глупое, неприятное положение попала девушка Клара Курбе – сидела за общим столом и ни на кого не могла смотреть. Вокруг же разместились четыре совершенно рухнувших в ее глазах человека.

Милиционер-художник прервал свой смех, вытер губы носовым платком. Отвага и безумие шевельнулись в его глазах.

Бедняга-милиционер-Шура-художник-любитель решил на отчаянный шаг.

– Если б у меня была лодка, – тихо сказал он, – если б у меня была лодка, самая легкая и самая лучшая в мире, я бы назвал ее «Клара».

Глава XVII

Самое легкое название в мире

(окончание)

Я и теперь, через несколько лет, часто задумываюсь, какое же слово, какое название самое легкое в мире? То вспоминаю я милицейскую «Ласточку», то Петюшкину «Пену», то снова придумываю:

«Пыль»,

«Печаль»,

«Тень»,

«Рассвет».

Ни на одном слове я никогда не могу остановиться. То кажется мне слово недостаточно легким, то не очень чистым, то совсем уж нелодочным. Где взять, как выбрать из миллионов слов самое легкое?

И «пыль», и «печаль», и «тень», и «рассвет» – все эти слова беспокоят меня, и я не понимаю, что же лучше, что легче – пыль или печаль?

Конечно, все эти слова не очень-то лодочны. Хотелось бы услышать наконец настоящее лодочное слово!

Но лодочное слово – это «весло». Настоящим лодочным словом лодку не назовешь. Что тогда мучиться, что выбирать? Не взять ли первое, что пришло в голову? Так и сделал милиционер-художник. Он сказал «Клара», и это слово действительно было для него самым легким в мире.

Но после того как милиционер сказал свое слово, в комнате стало тяжеловато. Все немного задохнулись, почувствовали тяжесть на плечах. Керосиновые лампы потускнели, начали коптить.

Я подошел к окну, открыл форточку.

За окном увидел я деревья, заваленные сизым снегом; оранжевые окна соседнего дома, человека с собакой, который вышел прогуляться перед сном.

С неба падали большие мартовские снежинки. Это был, наверное, последний снег нынешней зимы, пахло от него по-весеннему.

Я подумал, что скоро, очень скоро вскроются реки и на своей лодке – самой легкой в мире – я отправлюсь в плаванье. И плаванье это будет веселым и легким. Уж если лодка самая легкая, пускай и плаванье станет самым легким в мире. По маленьким рекам, по тихим озерам, по лесным ручьям.

Жаль, конечно, что капитан лодки не самый легкий в мире. Есть на свете люди куда полегче меня. Но в конце концов на всю эту невообразимую легкость должно же быть хоть что-то тяжелое.

Запах недалекой весны развеселил и обрадовал меня. Он разогнал коричневый керосиновый туман, все вздохнули полегче. Только милиционер-художник сидел чуть дыша. Горло его перехватило, лицо сделалось неподвижным. Он явно не знал, что же теперь делать, ведь только что на виду у всех он признался в любви к девушке Кларе Курбе.

Клара Курбе, чьим именем собирался Шура назвать свое судно, упорно глядела внутрь керосиновой лампы. По лицу ее ясно было, что она свою лодку «Шурой» не назовет.

– Может, назвать лодку «Снежинка»? – сказал я, жалея милиционера. – Легкая, по небу летит.

– Назови лучше «Стратостат», – сказал Орлов.

Грубоватая шутка Орлова никого не развеселила. Интерес к легким названиям угасал вместе с керосиновыми лампами. А лодка моя, безымянная, лежала на полу, в тени. Сама-то она знала, как ее звать, да сказать не могла. И тут вдруг я увидел, что лодке здесь, в мастерской, неуютно. Она и вправду никак не соединялась с граммофоном, и все эти разговоры насчет названия ей неприятны. Боком, боком,

И как ножиком отрезать в самом конце – чик.

И это веселое «чик» особенно подходит к моей лодке, самой легкой в мире.

Одуванчик похож на человека. Голова-то круглая.

Не пойму, почему только старых людей называют «божьи одуванчики». По-моему, мы одуванчики с самого начала, а к старости становимся «божьими».

Я глянул на лодку, самую легкую в мире, – довольна ли она своим именем? Серебряная, остроголовая, с черною шнуровкой на корме – так непохожа была она на одуванчик, но я видел, что она довольна мною.

Глава XVIII

Самая близкая речка в мире

Прошел март, и в середине апреля я решил лодку испытать.

Ровно в шесть утра мы вышли из мастерской Орлова. Впереди, как лоцман, шагал милиционер Шура, следом мы с Орловым несли на плечах «Одуванчик». Мы двигались к Язуе – самой близкой речке в мире.

Милиционер Шура, стесняясь, нес весла. Ему было неловко в полной форме переносить предметы, не имеющие отношения к прямым обязанностям. Мне же казалось, что весла в его руках похожи на какие-то почетные винтовки, они усиливали торжественность момента.

– А вдруг начальство заметит, что ты тут с веслами бродишь? – пугал Шуру Орлов.
– Что будешь делать?

– Скажет, что арестовал нас, – успокаивал я.

– А если здесь плавать запрещено? – не унимался Орлов. – Вдруг нас начнут штрафовать?

– Тогда Шура оштрафует нас первым, – объяснял я, – а потом штраф назад отдаст.

Милиционер-художник сердито оборачивался, делая строгое лицо, не отдающее назад никакого штрафа.

Выйдя на Серебряническую набережную, мы остановились. Далеко внизу, за чугунной решеткой, текла речка Язуа, окованная в гранит. Редкие черно-зеленые льдины плыли по коричневой воде, направляясь к Москве-реке.

– Самая грязная речка в мире, – сказал Орлов, печально оглядевши яузские берега.
– Отложим испытание. Потеплеет – поедem на Клязьму, лодку-то хотя бы пожалей.

Я и сам понимал, что самой легкой лодке в мире, пожалуй, обидно плавать впервые по Язуе. Мне было жалко ее, но поделаться я ничего не мог. «Одуванчик» родился здесь, у Яузских ворот, и в первый раз должен был проплыть мимо родных берегов. Пускай закаляется. Невозможно плавать всю жизнь по светлой воде. Мне казалось, лучше огорчить немного лодку, чем навеки оскорбить Язуу.

У Астахова моста мы нашли ступеньки, ведущие вниз, опустили лодку на воду. Яузская вода, казавшаяся сверху коричневой, вблизи оказалась цвета хаки. Слепительно блеснуло на ней серебряное платье «Одуванчика».

Давно-давно не видали яузские жители свободного корабля на ее волнах. Иногда только бродят здесь катера «Озон» и «Орион», и снова пусто меж каменных берегов –

чердаки да крыши отражаются в скучной городской воде.

Я достал из-за пазухи бутылку шампанского.

– Давай-ка я речь произнесу, – сказал Шура. Отделавшись от весел, он немного успокоился. – Товарищи! – начал он. – Минуточку внимания! Сегодня мы опускаем к воде самую легкую лодку в мире. Холодными зимними ночами, в пургу доставали мы бамбук, не покладая трудов, доводили задуманное. Если уж ты что-нибудь задумал, будь добр, доведи! Большому кораблю – большое плаванье!

Я хлопнул пробкой и обрызгал пеною нос «Одуванчика», все расцеловались.

Осторожно, держась за милиционера, сел я в лодку. Орлов подал мне весло. От моей тяжести «Одуванчик» погрузился глубже, нос его задрался высоко передо мной. Я увидел, как под давлением воды напряглось, натянулось ту же серебряное платье, загудели бамбуковые ребра, звонко скрипнули шпангоуты-полумесяцы.

Удивительным оказалось, что сижу я очень низко, прямо на поверхности воды. Я мог дотронуться до яузской волны, но сделать это не решался – грязная, сточная, мертвая. Пересилив себя, я опустил в воду вначале одну руку, потом другую, стряхнул с пальцев холодные капли и взял весло.

– Пошел! – крикнул Орлов, и я неловко оттолкнулся веслом от гранитного берега.

Силу толчка я не рассчитал, и «Одуванчик» буквально вылетел на середину реки. С барабанным звуком – бум-бум-бум – ударили волны в дно лодки. Я гребанул слева – нос резко повернул вправо, гребанул справа – «Одуванчик» выровнялся. Только два раза и ударил я веслом, а лодка уже летела стремительно вперед, и я не знал, как ее затормозить.

– Осторожно! – кричал сзади и сверху Орлов. И он и милиционер бежали за мной по берегу, а я, скованный и неумелый, боялся повернуться.

– Надо было веревку взять! – выкрикивал Шура какую-то не вполне ясную мысль. То ли он хотел привязать «Одуванчик», то ли вытягивать меня, уже утонувшего.

Кое-как взмахивая веслом, я летел по дну длиннейшего гранитного колодца, передо мною уплывала в Москву-реку темная обтаявшая льдина. На ней, как пингвин, сидела ворона.

– Оглянись! – кричал мне Орлов. – Это последняя льдина!

Я оглянулся – за нами не было видно ни одной льдины. Хоть и мутная, а свободная от зимы вода.

А над нами, над гранитными стенами виднелись маленькие человеческие головки – бородатая орловская и милицейская в фуражке. Такими они показались мне далекими и милыми, что я поневоле засмеялся. Я понимал, что минут через двадцать снова увижу их, когда вылезу на берег, и все же казалось – уплыл от них бесконечно далеко и жалел их, оставшихся дома.

Последнюю льдину я обгонять не стал. Положил весло, течение неторопливо повлекло лодку.

«Неужели совсем, навеки мертва эта отравленная городская река? Неужели умерла навсегда?»

И вдруг прямо перед нами из-под носа «Одуванчика» поднялись с воды две утки. Это были чирки-трескунки – уточка с синим зеркалом на крыле и селезенок с буйной

зеленой головой. Отчаянные, летели они на север, остановились на Яузе передохнуть. Они не боялись мертвой воды.

Потрескивая, полетели чирки перед нами, из гранитного колодца выбираясь к небу. Я глядел им вслед – и над высотными домами, еще выше, еще глубже в небе, увидел летящих на север журавлей.

Глава XIX

Ловля Орлова на граммофонную удочку

В детстве я проделывал зимой такую штуку: наливал из чайника в бутылку горячую воду и выбегал во двор поливать снег, чтоб он скорей растаял, чтоб скорее пришла весна. Хотелось помочь весне, уж очень ей трудно перетопить весь снег, расколоть лед на озерах, пригнать на поля грачей.

Задолго до прихода весны я срезаю тополиную ветку, ставлю в кувшин с водой, жду.

Скоро раскрываются почки, а весны все нет.

А когда наконец приходит она, вянут на столе тополиные листья, жалко становится их, и думаешь, куда торопился, только ветку испортил.

И все-таки каждый год зимой ставлю я на стол ветку тополя, чтоб скорее увидеть зеленый лист, чтоб поторопить весну.

Пришла весна, и я стал готовиться в плаванье. Давно уже мечтал я пробраться на Багровое озеро, недоступное и далекое, затерянное в болотах. Для такого интересного и опасного плаванья нужен был напарник, а напарником мог быть только один человек – художник Орлов.

Я, конечно, помнил, что Орлов отказался плавать со мной, но все-таки еще раз решил поговорить с ним, уговорить, заманить. И я пошел в мастерскую.

На этот раз в мастерской не было милиционера и этой ужасной Клары, зато посреди стола стоял тот самый, к моему удивлению, граммофон. Упорный Орлов выменял его у милиционера на канделябр.

Подперев руками щеки, у граммофона сидели сам Орлов и фотограф-профессионал Глазков. Наслаждаясь граммофоном, Орлов втолковывал профессионалу, что лучшего звука на свете не бывает.

– А магнитофон? – спрашивал наивный фотограф. – Неужели и он хуже?

– В десятки раз! – наваливался Орлов. – У магнитофона звук – дуб!

– Но граммофон слишком тихо играет, – сомневался фотограф.

– Магнитофон – гроб! – ввязался я, чтоб поддержать Орлова. – А у граммофона не звук, а воздух! Шумы залива!

Орлов обрадовался поддержке, и тут я понял, что судьба посылает мне подарок, кажется, я мог поймать Орлова на граммофонную удочку.

Объединившись, вдвоем с Орловым ловкими ударами справа и слева мы принялись раскачивать фотографа. Однако профессионал оказался на редкость упорен, отстаивая магнитофон.

– А что бы ты стал фотографировать? – коварно спросил я. – Магнитофон или

граммофон?

– Магнитофон, – сжавши зубы, ответил фотограф.

– Фотографировать магнитофоны – глупость, – сказал я. – Куда лучше фотографировать дальние озера, невиданных рыб и зверей и вообще места, по которым не ступала нога человека.

– Таких мест уже на свете нет, – сказал профессионал, твердо держась за магнитофонную линию.

– Мало, – поправил его я, – но все-таки они есть. Конечно, любители магнитофонов таких мест не знают, а вот мы, граммофонные души, знаем кое-что.

– Конечно, знаем, – сказал Орлов, сам не понимая, что клюет потихоньку на мою удочку, и радуясь, что мы оба с ним граммофонные души.

– Есть на свете Багровое озеро, – сказал я. – На нем никто не бывал уже лет двести.

– Почему же? – спросил фотограф.

– Он не знает почему! – усмехнулся Орлов и показал на фотографа пальцем.

Между тем Орлов и сам не знал, о чем идет речь, но прекрасно понимал, что я знаю, и спокойно напал на Глазкова. Он надеялся, что после разговора о Багровом озере фотограф признает, что граммофон лучше магнитофона.

– Дело в общем-то простое, – сказал я. – Давно, наверно, лет двести назад, берега Багрового озера стали зарастать. В конце концов они так заросли, что превратились в непроходимые болота. Люди, которые хотели пробраться к воде, погибали или возвращались ни с чем. Много лет никто не может пробраться на Багровое озеро. А вот мы, пожалуй, попробуем.

– Это как же? – спросил фотограф.

– Уж это мы знаем как! – засмеялся я, подмигивая Орлову.

Орлов хотя и с сомнением, но клянул молча на мою удочку.

– Уж мы-то с Орловым проберемся, – сказал я, решивши, что пора уж подсекать мою рыбину и усаживать получше на крючок.

– Ага, – сказал Орлов.

– Дело в том, – продолжал я, – что Багровое озеро связано с другим озером – Сиверским. От Сиверского ведет к нему узкая протока. По этой протоке и можно добраться до Багрового на лодке.

– Разве до тебя эта идея никому в голову не приходила?

– Приходила, – усмехнулся я. – Но на обычной лодке по протоке не проплыть. Слишком узка, заросла травой и болотом. Многие пытались, да поворачивали. А мы с Орловым можем пройти, во всяком случае, попробуем.

– Как?!

– Очень просто. У нас есть «Одуванчик» – самая легкая лодка в мире. На ней, только на ней можно пройти протоку.

Наконец-то Орлов понял, в какую ловушку я его заманил. Как огромный и мудрый брадоусый голавль, смотрел он на меня. Он сидел на крючке у старого, опытного рыбака и знал, что рыбак этот вот-вот вытащит его на берег.

Последний шанс остался у голавля – ударить хвостом, разорвать леску. И он

напрягся, собираясь сделать это немедленно.

Но и старый рыбак был не лыком шит. Он понял, что голавль сорвется, если не уложить его поскорей в подсачок. И я ловко подвел подсачок под чудесную бородастую рыбу, окутал сетью лобастую голову и выволок на берег.

– Кстати, – сказал я, – по дороге на Багровое озеро много деревень, в которых много керосиновых ламп. И даже есть одна деревня, которая так и называется – Керосиновка.

Оказавшись на берегу, голавль мой растерялся. Он выпучивал глаза, разевал рот, хлопал хвостом по траве, глупо надеясь, что рыбак отпустит его обратно в реку. Сообразив, что этого не случится, он онемел и только раздувал жабры.

Фотограф-профессионал никакого такого голавля не заметил.

– А сколько человек влезет в «Одуванчик»? – спросил он.

Я стал рассказывать про лодку, а голавль мой драгоценный как будто успокоился, жабры безумно не раздувал, только глаз его налился кровью.

– Да, – вздохнул фотограф, выслушав меня с печальным восхищением. – Вот это путешествие!

– Это тебе не магнитофоны слушать, – сказал я, чтоб повеселить голавлишко, чтоб ему было поуютней на берегу. – Это плаванье для людей граммофонных, для подлинных ценителей керосиновых ламп.

– А когда вы отплываете?

– Пожалуй, через недельку, – ответил я, оборачиваясь к своему голавлю-напарнику. Тот зашевелился, замычал, но ни слова не сказал голавлишко, только пучил глаза из травы.

– Может, меня возьмете? – робко попросил Глазков.

– Ну уж нет, – засмеялся я, – лодка не выдержит троих. Да и зачем нам люди с магнитофонной нервной системой? Верно, Орлов?

– Да что ты привязался к этому магнитофону? – примирительно сказал фотограф. – Ладно, пускай граммофон лучше, я согласен. И душа у меня не такая уж магнитофонная.

– А какая же? – смеялся я.

– Может, патефонная, кто ее разберет.

– Ты слышишь? – хлопнул я по плечу голавля. – Слышишь, как он заговорил?

– Слышу, – глухо ответил Орлов, – но только не слишком ли ты торопишься?

– Надо спешить, – ответил я, – позже на озеро не пробраться. Протока так зарастает травой, что ее не найти.

– Ну что ж, – сказал Орлов, – плыви, когда хочешь, а на меня не рассчитывай.

– Как то есть?

– Я не плыву, остаюсь в Москве.

Серая муть объявилась в моих глазах, и за этой мутью я увидел, как голавль, которого я с таким трудом вытащил на берег, вдруг встал на ноги и на своих двоих пошел обратно в реку.

– Стой! – крикнул я. – Стой! Остайся на берегу!

– Я и остаюсь на берегу. Это ты плывешь, – сказал голавль и спокойно прыгнул с

берега в воду.

И тут треснуло сердце старого рыбака – уже ни удочки, ни сеть не могли помочь мне. Оставался последний шанс – с ходу, в одежде, в сапогах и телогрейке, прыгать в воду за голавлем и схватить все-таки его за хвост. И я прыгнул, вытянув руки.

– Почему ты не хочешь плыть со мной?

– Мне некогда. Работать надо. Заказ сдавать.

– Но лампы, керосиновые лампы! Знаешь, сколько их стоит там, на далеких берегах! Клянусь, найдем и граммофоны!

– При чем здесь граммофоны? Работать надо.

– Да, – сказал я, глядя Орлову прямо в глаза, – я так и знал, что ты откажешься. Но и сейчас не понимаю – почему? И лодку мы строили вместе, и мечтали вместе, и вдруг ты бросаешь меня. Я отложу плаванье, подожду, пока ты сдашь заказ.

– Не жди, отправляйся. Ты и так уже долго ждешь.

– Значит, бросаешь меня?

– Почему бросаю? Просто остаюсь, а ты плывешь.

Горькая и ужасная обида вошла в мое сердце, я понял, что сделать ничего не могу, надо сматывать удочки, уползать потихоньку домой.

– Да возьми ты с собой фотографа, – сказал Орлов. – Видишь, он рвется в плаванье, и душа у него вроде бы граммофонная.

Я усмехнулся. Бородатый старый голавль подсовывал вместо себя пескаря. Правда, тоже бородатого.

Глава XX

Последний торт

Обычно за много недель до отъезда ложусь я на диван и начинаю думать, что взять с собой в дорогу. Это приятно: лежать и думать о консервах, о фонарях и удочках, о сапогах и колбасе.

Впрочем, я никогда не знаю, как уложить в рюкзак колбасу и сапоги, что должно лежать внизу, а что сверху.

Вроде бы надо сунуть вниз сапоги – до болот доберемся еще не скоро, сапоги пока не понадобятся, а колбаса всегда уместна. Но, с другой стороны, колбасу надо экономить. Вовсе не обязательно съесть ее в первый день, можно купить на станции пирожков. Значит, колбаса снизу, сапоги сверху. Но ведь пирожков на станции может не оказаться, где ж тогда быть колбасе?

– Да сунь ты ее в сапоги, – сказал фотограф-профессионал.

В огромнейших и резиновейших сапогах-бахилах он ходил по комнате, которую я снимал у Петровича, и рассуждал о колбасе. Фотограф отправлялся со мной в плаванье.

С трудом, с трудом согласился я взять его с собой.

Мне казалось, что душа у него все-таки сильно магнитофонная, и черт его знает, как он с такой душой будет тонуть в озерах и увязать в болотах.

Но плыть одному было глупо, рискованно. Нужен все-таки товарищ – помощник,

напарник, собеседник. Надо же с кем-то и чаю попить на берегу, и уши похлебать.

Фотограф очень просился в плаванье, и я в конце концов согласился.

Чудовищные бахилы, которые профессионал нацепил на свои фотографические ноги, меня почему-то немного успокоили. В резиновых ботфортах он имел бывалый землепроходческий вид. Кроме того, к моему удовольствию, из воротника выглядывала и тельняшка, которую фотограф называл по-морскому – «рябчик».

– Рябчик – штука в плаванье необходимая, – объяснил он мне, – рябчик согреет, рябчик не выдаст. Ты-то берешь рябчика?

Беру ли я рябчика? Я, не снимающий тельняшку с самого рождения?

– Рябчик – это птица, – буркнул я, мучаясь с колбасой. – И в тех местах, куда мы отправляемся, мы увидим много рябчиков. Не спутай их с тельняшкой.

Наши сборы и суета вызвали у Петровича крайнюю тревогу. Он стоял рядом со шкафом и, хотя давно получил трешку, уходить не собирался. С большим подозрением рассматривал он фотографа, колбасу и сапоги.

Раздался звонок – в комнату явились Орлов и Петюшка Собаковский.

– Шайка потихоньку собирается? – спросил у меня Петрович.

Нежданное нашествие сомнительных людей до того растревожило его, что он собрался бежать за милицией. Но тут раздался новый звонок – появилась внезапная Клара Курбе, а за нею – милиционер-художник.

При виде милиции Петрович прирос к шкафу. Он смекнул, что сейчас начнется стрельба, отбор колбасы и задержание преступников.

Милиция, однако, пожавши нам руки, уселась за стол. Тут на Петровича нахлынули новые мысли, что мы с фотографом тайные агенты.

Безумными глазами глядел он на меня, как бы говоря: «Не сообщай ни о чем, умоляю». Специально, чтоб попугать Петровича, я строил Шуре сообщающую рожу.

– Это ты пригласил Клару? – потихоньку спросил меня Орлов.

– Да нет.

– Сама явилась, – сказал Орлов и поморщился.

Это орловское поморщивание было мне непонятно. Вроде раньше он особенно не морщился при виде Клары. Непонятно было, откуда Клара взялась у Петровича, ведь она никогда в жизни не знала моего адреса, не знал его и милиционер-художник. Значит, откуда-то они узнали, а откуда? И почему Клара пришла с милиционером?

В суматохе сборов спрашивать об этом было неловко.

Клара между тем была сегодня какой-то необычной, я бы даже сказал – необыкновенной. Она как-то стеснялась, пряталась за милиционера, и в руках у нее была ромбическая картонная коробка. Куда деть эту коробку, она положительно не соображала. Какое-то время мне казалось, что она хочет всучить коробку мне, и я на всякий случай отошел к лодке.

Клара водрузила коробку на стол.

Под гомон милицейских восторгов коробку вскрыли, и в ней оказался чудовищный торт, на котором росла неприятно-розовая толстая роза.

Фотограф взялся заваривать чай, а Клара резать розу.

Стали пить чай с Клариным тортом. Милиция, как я и полагал, навалилась на

розу, хотя и Петюшка оттяпал некоторый кусок.

Задавленная тортом беседа текла вяло. Я рассказывал о Багровом озере, о легкости «Одуванчика».

– Слушай, – сказал Петюшка, втянув остатки розы, – а кто у вас капитан?

– Что такое? – не понял я. – Какой капитан?

От кого, от кого, но от Петюшки я такой глупости не ожидал. Кажется, всем ясно, что капитан – я. Я строил лодку, задумывал плаванье, все организовал, так кто же капитан?

– Он, – сказал фотограф и показал на меня пальцем.

– По-моему, он безрассуден, – сказал милиционер Шура, еле ворочая своим тортолюбивым языком. – Он не годится в капитаны.

Я задрожал от удивления и обиды. Я надеялся, что кто-нибудь возразит Шуре, но все молчали, а Клара обиженно поглядывала на меня. Она прекрасно заметила, как невнимателен я был к ее розе.

– Но ведь он построил лодку, – сказал фотограф, – значит, он – капитан.

– Не важно, кто что строил, – сказал милиционер, – важно, чтоб плаванье прошло удачно.

– Слушай, – сказал Петюшка, чувствуя, что обидел меня, – а зачем тебе быть капитаном? Ты и лодку построил, и плаванье задумал, вот и плыви себе. А капитаном пусть будет фотограф, надо же и ему за что-то отвечать.

– Да какой из фотографа капитан! – возмутился наконец Орлов. – Он и весло-то держать не умеет, не знает, где Север, где Юг. Тоже мне нашли капитана.

– Почему же это из меня не выйдет капитана? – замедленно вдруг произнес фотограф. – Кто сказал, что я не знаю, где Норд, а где Зюйд? Ты сам-то знаешь, сколько ног у краба?

Фотограф-профессионал неожиданно взволновался, губы у него побелели, борода встряслась. Приподняв над столом руку, он вдруг задрал рукав, и на руке его, поближе к локтю, мы увидели не слишком-то большой, но явный синий якорь.

Опустив рукав, капитан застегнул пуговицу и уставился обиженно в торт.

– У краба десять ног, – сказала Клара. – Но дело не в этом, дело в успехе плаванья. Я предлагаю проголосовать.

– Проголосуем? – спросил и милиционер-художник.

За меня проголосовали Орлов и фотограф, а за фотографа все остальные, и даже Петрович махал у шкафа лапой. Милиционер и Клара стали гордиться победой на выборах, а Петюшка подмигивал: да зачем тебе быть капитаном? Брось ты это.

И я понял, что Петюшка прав. Главное – плыть, куда хочешь. И я вдруг обрадовался, что капитаном у меня стал профессионал-фотограф и получил совсем неслыханный титул: капитан-фотограф.

Но с Петровичем я решил разделаться немедленно, раз и навсегда.

– Нам пора в дорогу, – сказал я, вставая. – У меня осталась единственная просьба: пускай Орлов заберет мою раскладушку. К Петровичу я больше не вернусь.

Часть вторая

Глава I

Опасайтесь лысых и усатых

– Вы еще не проснулись? Проснулись вы или нет?

Кажется, я еще не проснулся.

– Неужели вы спите? А вид такой, будто вы проснулись.

Такого вида у меня быть не могло, ведь я не открывал глаз. Я хотел возразить, но подумал: начну спорить – сразу станет ясно, что я проснулся. Я решил промолчать и всем своим видом показать, что еще не проснулся.

– Жалко, очень жалко, что вы не проснулись. Такое умное, такое проснувшееся лицо. Обидно, и все.

Я просто не знал, как быть – просыпаться или нет. Пожалуй, надо было не валять дурака, а просыпаться, раз уж у меня был такой проснувшийся вид.

Но как это сделать? Глупо подсказывать и орать, дескать, я проснулся. А как еще показать, что это свершилось, я не мог сообразить, потому что все-таки проснулся не до конца.

– Ладно. Вы лежите и слушайте. Только на секунду приоткройте глаза, покажите, что проснулись, а потом можете снова закрывать.

Я открыл глаза и увидел старуху, сидящую напротив. Она была в черном платке, который окутывал голову и плечи, из платка выглядывал кривой колдовской нос.

Над головою старухи висела нога в розовом носке. Это была нога капитана-фотографа, и я вспомнил, что мы в купе поезда, увозящего «Одуванчик» из Москвы.

– А теперь закройте глаза и слушайте. Закрывайте, закрывайте...

Кажется, надо было и вправду закрывать только что открытое. Неловко пялить глаза, если их просят закрыть, и я покорно сомкнул веки.

– Вот молодец. Хорошо. А теперь слушайте. Я хочу вас предупредить, а то умрете и сами не узнаете от чего. Главное – берегитесь Волны!

Мне захотелось немедленно открыть глаза, но я удержался.

– Я вам все расскажу, хоть это и секрет. Надо беречься Волны. В ней все дело. Вы поняли? Ну, теперь откройте глаза и покажите, что вы все поняли.

Я открыл глаза. За колдовским носом разглядел я серые орлиные очи.

– Волна эта чрезвычайно опасна, – говорила старуха, наклоняясь ко мне. – Ее распространяют лысые и усатые. Они знают секрет.

– Какая волна? – собравшись с силами, сказал я.

– Лучевая, – пояснила старуха. – Ее распространяют лысые и усатые. Вы поняли?

Кажется, я все понял. Старуха была «с приветом» и сейчас пыталась передать мне этот привет.

– Только лысые и усатые знают секрет Волны. Они потихоньку подходят к человеку и начинают распространять Волну. У человека сразу боль в сердце. Но знаете, что надо сделать, когда лысые и усатые начинают нагонять Волну?

– Что? – спросил я.

– Отойти, просто отойти в сторону. А потом посмотреть на лысого или усатого и громко сказать: «Я знаю!» Чтоб он понял, что вы знаете про Волну. Или еще есть средство, очень верное.

– Какое? – спросил я.

– А что вы делаете, если обожжетесь? Какое есть народное средство?

– Слюна? – предположил я.

– Умница! Вот именно, слюна! Надо помазать пораженное место слюной! Какая умница! Какое осмысленное, проснувшееся лицо!

Почему-то моя догадливость насчет слюны очень понравилась старухе, и она расхваливала меня, шарила глазами по купе в поисках человека, который тоже мог бы одобрить такую мою смекалку. Но подходящего человека не было. Фотограф-профессионал спал, равнодушный к Волне, слюне и моей сметливости.

– И еще я скажу вам: берегите уши. Лысые и усатые любят действовать через уши.

– Как это?

– Разве вы не слышали, что уши –местилище разума?

– Не слышал.

– Как же так? Ведь все проходит в мозг через уши! Именно уши –местилище разума.

– Так говорили древние греки, – послышался голос, и капитан-фотограф свесил вниз свою профессиональную бороду.

– Вот это умница! – воскликнула старуха. – Вот умница так умница!

Мудрые слова капитана-фотографа поразили ее, и она восклицала, прихлопывая в ладоши. Фотограф-профессионал одним махом затмил мою догадливость со слюной.

– А как же глаза? – спросил я. – Глаза-то что ж такое?

– Глаза – это источалище разума, – пояснила старуха. – Они разум источают, а уши –местилище.

– А нос-то небось чихалище? – спросил капитан.

– Нос и глаза сами за себя постоят, – усмехнулась старуха. – А вы берегите уши. Не давайте лысым и усатым шептать на ухо. Волна проникает через уши и убивает мозг. Лысые и усатые хорошо умеют убивать чужой мозг.

– А как быть с бородатыми? – спросил я, намекая на капитана-фотографа. – Бородатые тоже опасны?

– Ну нет, бородатые – совсем другое дело. Именно бородатые чаще всего жертвы усатых. И ваш бородатый друг совершенно не опасен. А вот вы... Вы никогда не носили усов?

Схвативши себя пальцами за подбородок, старуха внимательно глянула мне под нос, и под носом сразу зачесалось, стало неловко.

– Да вроде не носил.

– Вы меня обманываете.

– Не носил я усов, – твердо сказал я, хотя и вспомнил, что однажды действительно отрастил усы, да сбрил их, потому что сделался похож на кота.

– Как же так! – воскликнул капитан-фотограф. – Ведь ты отращивал усы! На ката-

то был еще похож!

– Это я так, баловался. И носил их всего две недели.

– За две недели Волну не сделаешь, – сказала старуха. – И все-таки вы опасны. Скажите честно, умеете делать Волну?

– Что вам надо! – сказал я, начиная раздражаться. – Усы я давно сбрил и Волну делать не умею. Отстаньте!

– А по-моему, ты умеешь делать Волну! – сказал балбес-капитан-предатель, шутливо ухмыляясь. Он совершенно не понимал, что старуха «с приветом».

– Настоящую Волну ему не сделать, – сказала колдунья. – А маленькую, незаметную он сделать может. Такая Волна самая противная. Она по-настоящему не убьет, а нервы попортит.

Капитан глупо засмеялся на верхней полке, старуха же без тени улыбки глядела мне под нос.

– Да, бабушка, – смеялся фотограф, – это вы верно сказали. Такая Волна самая противная. Вы хорошо разбираетесь в волнах.

Оторвав от меня свои колдовские очи, старуха глянула на капитана.

– А ты, парень, что-то уж больно развеселился, а ведь едешь и сам не знаешь куда. Не знаешь, куда едешь, не знаешь, что тебя ждет.

– Может, вы нам скажете? – прищурился капитан.

– Сами скоро узнаете! – каркнула старуха, передразнивая капитанский прищур. – Но один из вас домой не вернется.

Я вздрогнул. Все эти глупости, которые толковала колдунья про лысых и усатых, меня особо не взволновали, но когда она стала пророчить гибель одного из членов экспедиции, я рассердился.

– Выйдите отсюда! – сказал я, подымаясь.

– Уехали двое, потом вас будет четверо. А все равно один домой не вернется. Только не знаю кто.

– Выходи, тетка, – сказал я, – а то сейчас Волну сделаю!

– Мало каши ел, – сказала старуха, презрительно подымаясь. Она хлопнула дверью, и капитан-фотограф спрыгнул с верхней полки.

– Гадалка, что ли? – спросил он, натягивая брюки.

Поезд между тем приближался уже к нашей станции. В окно видно было, что на улице дождь. Серые железнодорожные ветлы гнулись под порывами ветра.

Мы сошли с поезда и по хлюпающей разваленной тракторами дороге отправились к Сиверскому озеру.

Болтовня старухи, ветер и дождь – это было не слишком удачное начало плаванья, и все же счастье испытывал я. До чего надоел Город с его бесконечным асфальтом, все эти бессмысленные Клары Курбе и милиционеры-художники.

Под дождем на берегу Сиверского озера мы стали собирать «Одуванчик», и я все вспоминал, кто из моих знакомых лысый, а кто усатый.

Усатых набралось немного, лысых и того меньше. Но мой ближайший друг художник Орлов, как ни крути, был все-таки лысоватый.

– Руби концы! – скомандовал капитан, и я взял весло.

За первой коровой на берег вышла вторая, а за нею и все стадо. Обмахивая нас хвостами, коровы одна за другой входили в воду, и скоро весь залив был заполнен коровами. Капитан пугал их удочкой, но тупо глядели они на фотографа-профессионала и всасывали озеро, утоляя свою непомерную коровью жажду.

Я оттолкнулся веслом от берега, и «Одуванчик» отправился наконец в плаванье... Увидев нас плывущими, какая-то комолая чернушка замычала, другая подхватила, и вот уже все стадо ревело в нашу честь, и под этот рев, лавируя между крупными рогатыми скалами, мы выплыли из Коровьего залива на Большую Воду.

Неуютно оказалось на Большой Воде. Здесь бродили холодные волны. Серый северный ветер заворачивал нос «Одуванчика», а дождь хлестал сильнее и казался мокрее.

Нос лодки зарывался в воду, и я орудовал веслом пугливо, неуверенно. Казалось, достаточно одного неудачного гребка, и лодка пойдет ко дну.

– Мы перегружены, – сообщил с носа фотокапитан. – Надо бы высадить кого-нибудь на берег. «Одуванчику» будет легче.

– Кого это – кого-нибудь?

– Ну, кого-нибудь из нас. Или меня, или тебя.

– Как это – высадить меня?

– Ты меня не понял. Я сказал: высадить временно. Понимаешь? Временно, пока не уляжется волна. А потом снова всадить. Один пока бы вел лодку, а другой по берегу прошелся. Понимаешь?

– Понимаю. Только хоть тебя и избрали капитаном, ты особенно руками не махай. Высаживайся на берег сам. Понимаешь?

Капитан не ответил, и вопрос этот угас.

Впрочем, и до берегов-то было уже далеко. Хоть и греб я плохо, а мы уже плыли по самой середине озера. Коровий залив остался позади, а Москва со всеми своими Кларами и милиционерами-художниками еще дальше.

Перегруженные и робкие, мы были одни среди серых волн и каждую секунду могли остаться здесь навеки.

«Одуванчик» понял, что мы перепугались, и старался как мог. Он перепрыгивал с волны на волну, уворачивался от самых опасных. Он был терпелив и покорен, как Конек-Горбунок.

Заметив эту ловкость и терпение лодки, я поуспокоился, заработал веслом веселей. Вначале я думал, что это я ударами весла двигаю лодку. Но «Одуванчик» сам летел вперед, а я должен был только поддавать жару веслом, веселить свою лодку и аплодировать ей.

Вот волна набегала на нас, вырастала перед носом, но «Одуванчик» легко взлетал на ее вершину, а я хлопал волну веслом по спине – «Катись дальше!».

Тут являлась новая волна, сердитая и седая. Она грубо наваливалась, но «Одуванчик» увертывался, и я хлопал волну по спине – «Катись дальше!».

Скоро мы приблизились к другому берегу. Не было видно на нем ни дома, ни души, только одинокие столбы чернели на посветлевшем небе.

Здесь и вправду дождик уже перестал.

Откуда-то из-за пригорка на берег вышла лошадь. Верховом на ней сидел человек, слишком уж толстый для верховой езды. Около столба лошадь остановилась, и всадник вдруг на глазах раздвоился, превратился в двух человек – большого и маленького. Маленький побежал по берегу к лесу, а большой крикнул:

– Эй, на катере! Спичек нету?

– Разве ж это катер? – сказал я, подгребая к берегу. – Это лодка, самая легкая в мире. Назвал бы еще баржей.

Мы вылезли на берег. Всадник сидел на травке, а лошадь привязана была к столбу. На боку у лошади висела табличка, на которой нарисован был череп, пронзенный молнией. Вокруг черепа висела надпись: «Не влезай – убьет!»

Глава III

Череп, разбитый молнией

Привязав нос «Одуванчика» к раките, я вылез на берег и хотел было присесть рядом со всадником, как он сказал:

– Трава сырая. На вот, подстели.

Из черной хозяйственной сумки он вытянул табличку с черепом и надписью «Не влезай – убьет!» и протянул мне. Потом достал еще одну, отдал капитану. Сам он, по-видимому, тоже сидел на табличке «Не влезай – убьет!».

Мы уселись на черепа, и всадник протянул мне свою твердую, как лодочное весло, руку.

– Натоллий, – сказал он.

Почтительно пожавши весло, мы познакомились, закурили. Натоллий внимательно разглядывал нас.

– Веслаетесь? – спросил он, начиная разговор...

– Веслаемся, – согласился я. – Веслами гребем...

– А я обколачиваю, – сказал Натоллий. – Да вот погода сегодня...

Мы с капитаном дружно кивнули, соглашаясь, что погода – никуда, и я невольно подумал, что странная собралась на берегу компания – двое веслаются, один обколачивает.

– А что вы обколачиваете? – спросил капитан.

– Столбы, чего же еще. Вон табличками с черепушкой. – И Натоллий кивнул на то, на чем мы сидели.

– Это специальность у вас такая, обколачивать?

– Специальность у нас монтер. Вначале столбы ставим, потом линию тянем, а уж в конце обколачиваем. Не вылезай, мол, на столб, а то током дернет.

– Неужели на каждый столб табличка? – спросил капитан.

– Через раз, – пояснил Натоллий. – На первом столбу он прочтет – на второй уже не полезет. Ну а пока до третьего дойдет, может и позабыть, что написано. Возьмет да и полезет на столб. Так что на третьем опять приколачиваем.

– Да неужели есть такие люди, которые на столбы лезят? – наивно спросил

капитан.

– Бывают.

– Да чего ему там делать-то, на столбе?

– А ничего, – сказал Натолий. – Залезет и сидит.

Капитан искоса глянул на столбы, стоящие вдоль берега, – не сидит ли кто? Но пусто было на столбах, только на пятом или шестом от нас сидела ворона. Заметив, что мы глядим на нее, ворона неуклюже вспорхнула и полетела над озером.

– Сами-то нездешние, что ли? – спросил Натолий.

– Из Москвы.

– То-то я гляжу – нездешние плывут. Вид у вас, что ли, такой, нездешний?

– Вид, наверно, – согласился я и глянул искоса на капитана. Ничего, абсолютно ничего здешнего не было в его виде. И взгляд какой-то нездешний, и вельветовые неуместные брюки. Да и откуда, скажите на милость, возьмется у здешнего человека такая тупорылая борода?

А сам-то я, наверно, еще более нездешний, чем капитан. А где я, собственно, здешний? В Москве, что ли? Вот уж нет, в Москве я совершенно нездешний, нет-нет, я не москвич, я не тамошний. Приехал сюда – и опять нездешний. Тьфу!

– А с вами кто на лошади ехал? – спросил я. – Здешний или нездешний?

– Со мной? Со мной никто.

– Да как же! Двое слезли с лошади.

– Ах, вон ты чего! – засмеялся всадник-монтер. – Так это здешний. Сын это мой, Пашка. Увязался за мной, а теперь и побежал куда-то.

– Не заблудится?

– По столбам найдет. Я ведь только по столбам езжу.

– А мы на Багровое озеро пробираемся, – сказал капитан.

– Не проплыть, – сказал Натолий и покачал головой.

– Да ведь протока есть. По протоке проберемся.

– Нету протоки, – сказал Натолий-всадник-монтер. – Откуда ей быть?

– Как же нету протоки? – сказал капитан-фотограф, оборачиваясь ко мне. – Говорили же – есть протока.

– Нету, парень, нету протоки, а макарка совсем заросла.

– Какая макарка?

– А какая на озеро ведет.

– А как она выглядит, эта макарка-то?

– А никак не выглядит, – сказал Натолий. – Я ж говорю, заросла.

Разговор запнулся. Печально и растерянно глядел на меня капитан, перевел взгляд на всадника и вздрогнул. Тут, между прочим, и я заметил, что всадник наш усат. Насчет же лысины пока было неизвестно, мешала монтерская кепочка.

– А где она, эта макарка, которая к Багровому озеру вела? – спросил капитан.

– Там, где мост Коровий, – ответил Натолий. – Оттуда шла макарка к Багровому, а уж из Багрового другая макарка – к Илистому. А уж из Илистого в Покойное.

– Значит, тут не только Багровое? Тут еще Илистое озеро есть?

– И Илистое есть, и Покойное, а вот макарок нету. Заросли.

– У нас лодочка легкая, – сказал капитан. – На ней можно хоть по болоту плавать.
– Засосет, – сказал Натоллий. – В черную чарусью попадете – и засосет. Там, в макарках, чарусьи есть. Ямы черны, бездонны, засасывающие.

И всадник-монтер печально вздохнул, сокрушенно покачал головой и снял для чего-то кепочку, обнаружив наконец свою лысину.

Глава IV

Пашка и Папашка

До Коровьего моста капитан-фотограф пошел берегом, а я повел «Одуванчик» через озеро. Легко и быстро пересек я середину и под лесом, на другом берегу, увидел черные сваи, торчащие из воды. Это и вправду оказался мост, старый, прогнивший, и я понял, что название – Коровий – к нему вполне подходит.

Скользкие его сваи были непомерно толсты. Они лоснились масляной торфяною чернотой, лениво выказывая из воды неповоротливые бока.

На мосту лежал толстенький опавший лист. Подпрыгнув и шлепнувшись в воду, он оказался лягушкой.

Под мостом, между бревен, набилось так много коряг и обломков, что продираться через этот озерный хлам на «Одуванчике» не стоило. Лодку надо было перетаскивать.

Сразу же за мостом вела в глубину заболоченного леса узенькая струя черной воды – та самая макарка. Было видно, как петляет она среди таволги и тресты, пропадает неподалеку. Здесь, поблизости, макарка казалась вполне судоходной, но что делалось впереди, в серых и белых болотных травах, угадать было невозможно.

Столбы, которые обколачивал всадник-монтер, перешагивали через макарку, проносили над нею свои провода. С одной стороны макарки столбы были обколочены табличками, а с другой – нет. Видно, там начинался чужой участок, и монтеры с этого участка были настроены более философски. Если какой дурак и залезет на столб, – полагали они, – пускай его убивает.

Поджидая капитана, я решил половить рыбу.

Из тростников поднялась цапля. Вобравши в грудь свою гордую корабельную голову, она полетела над макаркой к Багровому озеру.

«Где цапля, там и рыба», – подумал я и закинул удочку.

Тут же клюнуло, я подсек и вытащил маленького окунька.

– Будет уха, – обрадовался я.

Окунька я отпустил, слишком уж он был мал, снова закинул удочку и снова вытащил того же самого окунька.

Раз за разом закидывал я удочку, а ловил все одного и того же окунька.

Вставши на колени, я заглянул под мост.

В прозрачной воде я увидел сотни и тысячи окуньков. Они плавали над песчаным дном, то собираясь в стайки, то рассыпаясь в стороны. Я заметил, что они разбегаются, как только я шевельнусь. Подниму руку – рассыпаются, опущу – опять собираются в стайку. Мне понравилась эта игра, и так, махая руками, я стоял на коленях и глядел под мост.

– Окуней гоняешь? – послышался голос.

На мосту стоял мальчик лет шести, очень похожий на окунька. В руке у него была жестяная короткая сабелька, в которой я с интересом узнал подрезанную табличку «Не влезай – убьет!». По табличке я и догадался, что это та самая часть всадника-монтера, которая в свое время отделилась от лошади.

– Тебя Пашкой звать?

Окунек моргнул, разглядывая меня. Необычная лодка и мой нездешний вид сильно его удивили, но расспрашивать, кто я такой, он не решился. Как-то это некрасиво сразу спрашивать, кто ты, мол, такой да откуда. И я молчал, потому что сразу болтать, что я такой-то, плыву туда-то, тоже не очень красиво. Мы молчали. Пашка-окунок глядел на меня, а я достал трубку, закурил.

– Слушай, парень, – сказал Пашка. – А как это ты дым из носа пускаешь?

Я захлебнулся дымом, закашлялся, выпуская из носу немалые между тем клубы, – вопрос оказался неожиданным.

– Само как-то получается, – ответил я и, набравши дыму, повторил этот нехитрый номер – выпускание из носу табачных струй.

– Здорово, – сказал Пашка, – Змей Горыныч, а?

– Дело, в общем, простое, – сказал я, отфыркавшись. – Беру дым в рот, а выпускаю через нос. Ты попробуй, набери воздуха в рот, а выпусти через нос.

Раздувши щеки, Пашка набрал воздуха в рот, сомкнул губы и напыжился.

– Ну, теперь валяй, выпускай.

Пашка покраснел, закрутил глазами, подражая мне, но выпустить через нос ничего не мог. Губы его наконец отомкнулись – воздух вылетел наружу.

– Не выходит, – сказал он. – Я чего в рот набираю, ртом и выпускаю, а уж что в нос, то из носу. У тебя-то, может, нос неправильный. Можно потрогать?

Растерянно кивнув, я наклонился, и Пашка потрогал мой нос.

– Все вроде правильно, – сказал он. – А теперь ты потрогай, как у меня нос, правильный ли?

Так мы стояли на Коровьем мосту и трогали друг друга за нос.

– Как тут насчет рыбы? – спросил я, отвлекая разговор.

– Нету рыбы, – сказал Пашка и махнул рукой. – А вот щуки много.

– А щука – не рыба?

– Ты что, парень? Какая же щука рыба? Щука – это щука. А вот окунь, подъязок, ляпок – это рыба. А щука – не рыба. Она-то всю рыбу здесь и поела, а теперь щуку Папашка жрет.

– Какой Папашка?

– Тот самый, с Илистого озера. Он не только щуками, он больше лосями питается.

Окуньки, что стояли под мостом, собрались в темный табунок. Тыкаясь в скользкие сваи, они подымали головы, повиливали хвостами против течения.

– А этих-то, – сказал я, указывая на окуньков, – Папашка жрет?

– Жрет помалу, – ответил Пашка. – Но этих-то сколько надо на три головы.

– Разве у него три головы?

– Одна – щучья, – сказал Пашка, загибая палец, – другая – медвежья, третья –

человечья. Щучьей-то он рыбу жрет, а медвежьей – лосей.

– А человечесьей? – спросил все-таки я.

– А человечесьей что попало, – ответил Пашка. – Мы-то что попало едим, так и Папашка.

– А людей он как? – осторожно спросил я. – Трогает?

Пашка серьезно посмотрел на меня, печально и значительно кивнул, – увы, людей он тоже трогает.

– И какой же головой?

– А тремя сразу.

– А в Багровое озеро он заплывает? – с легкой тревогой спросил я.

– В Багровое ему не пролезть, макарка заросла совсем. Да и чего ему в Багровом делать? В Багровом ведь бесы хозяева. А бесов Папашка не жрет, они горькие.

– Тут есть ведь еще одно озеро, – сказал я, – Покойное. А там-то кто живет?

– Ты что ж, сам не понимаешь?

– Не очень.

– Покойники, – сказал Пашка.

Я слегка растерялся. Действительно, догадаться, кто живет в Покойном озере, было нетрудно, но как-то в голову не приходило, что вопрос решается так просто.

– Покойники в земле лежат, – сказал я. – Чего им в озере делать?

– Это тихие в земле. А те, что порезвей, в озере плавают. В земле скучно лежать.

– Да, брат, – сказал я, похлопал Пашку по плечу. – А мы-то собирались рыбу ловить. Останемся, пожалуй, без уха.

– А ты раков налови, – сказал Пашка. – Здесь раков много. Вечером так и ползают по песочку.

Глава V

Рачья ночь

На высоком берегу вновь среди столбов объявилась фигура монтера-всадника. Шагов за двадцать до Коровьего моста всадник, к удивлению, опять раздвоился, и капитан-фотограф прыгнул на землю.

– Ну как уха? – весело кричал капитан. – Как рыба? Наловил на уху?

– Мелочь.

– Из мелочи уха наваристей.

Прокатившись на лошади, капитан-фотограф приободрился, повеселел. Ни о бесах, ни о покойниках он не подозревал, деловито оглядывался, отыскивая макарку.

– Вот она, макарка, – сказал всадник-монтер, указывая пальцем в глубину болота. – С полкилометра проплывете, а уж как там – не знаю.

– Прорубимся, – сказал капитан. – Или прокопаемся. У нас есть топор и лопатка.

– Лучше уж серп, – сказал Натоллий. – Тресту жать.

– Тресту будем руками выдирать, – быстро нашелся не имеющий серпа капитан.

– Вам виднее, – согласился всадник-монтер. – Только чарусью остерегайтесь, краешком плывите, не лезьте в середку, засосет. Щепку бросишь – и ту засасывает.

– Щепка ей ни к чему, – сказал Пашка. – Ей бы теленка.

– Как это? – не понял фотограф-капитан, впервые приглядываясь к Пашке. – Для чего теленка?

– Ей живое надо, – пояснил Пашка. – Торф-то мертвый, но он чарусью родит. Она и сама из торфа, только живая. Бывают здоровые – быка проглотят. Есть и поменьше, чарусеньши, но тоже глотают.

– Какие чарусеньши? – спросил капитан, оглядываясь на монтера-всадника. – Неужели живые?

– Что-то вы нас совсем запугали, – сказал я и засмеялся для капитана. – То Пашка говорит, в Багровом бесы живут, то – чарусеньши.

– Какие еще бесы? – обеспокоился капитан. – Где бесы? В Багровом?

– Не знаю я, – сказал Натолый. – Какие там бесы? Воеет что-то по ночам.

– Волки, наверно.

– У волка голос нежный. А тут гнус какой-то. Гнусит, гнусит.

Упираясь коленками в лошадиный добродушный бок, Пашка вскарабкался на лошадь и как-то хоть и медленно, а быстро всадник-монтер и Пашка стали уходить от нас, не прощаясь, на высокий и крутой подымаясь берег.

Отошедши шагов с двадцать, всадник оглянулся и крикнул:

– Чарусью остерегайтесь...

И больше они не оглядывались, по столбам, по столбам удаляясь от нас, а когда мы вытащили на берег «Одуванчик», ни всадника-монтера, ни Пашки, ни даже столбов видно не было – быстро темнело.

– Бесы, чарусеньши, – бормотал капитан-фотограф. – Чепуха, чушь. Больше он ничего не рассказывал, чего там еще есть?

– В Багровом только бесы, – честно сказал я. – А вот в Илистом Папашка живет... трехголовый. Ну а в Покойном озере и сам можешь догадаться, кто живет.

– Кто же? – спросил недоверчиво капитан.

– Покойники.

– Черт знает что! – сказал капитан. – Бесы, покойники. И мальчик-то большой. Наверно, уж в школу ходит.

Мы разбили палатку, развели костер, и капитан-фотограф взял удочку, привязал самый большой крючок, насадил червя.

– Сейчас мелочь спать пошла, – говорил он, – крупная к берегам выходит. Сейчас накинется на московского-то червячка.

Перед отъездом из Москвы мы накопили червей, на которых капитан особо надеялся. Ему казалось – как только местные рыбины увидят московского червяка, тут уж сразу с криком «московский!» навалятся на наши удочки.

Я взял фонарик и пошел по берегу поглядеть, не видно ли и вправду раков.

Медленно шагая по хрустящей старой тресте, я освещал песчаное дно и видел камушки, утонувшие прутья, скорлупу перловиц.

Берег изогнулся, дно наклонилось вглубь, и я увидел рака.

Он надвигался к берегу из глубины озера и шел не задом, как мы думали, а прямо шагал вперед, выставив две черные по бокам клешни.

Вступив в электрическое пятно, лежащее на дне, рак остановился. И пока он раздумывал, откуда здесь электричество, я шагнул навстречу, опустил руку в воду и выставил свои пальцы против его клешней.

Присев на хвост, он поднял плечи, а клешни наклонил косо, чтоб удобней было хватать и рубить. Грозен и готов к бою был его вид – пальцы мои ничуть его не смутили.

Тут я понял, что рак этот огромен. Две косо расставленные клешни были шире моих растопыренных пальцев. Его блестящие глаза-глазки выставились над треугольным лицом. Они двигались на стебельках. Длинные тугие усы шевелились между клешнями, со дна доставая поверхности озера.

Я решил обхитрить рака, обойти его сзади, чтоб взять за панцирь позади зловещих клешней. Повел руку в обвод, но рак – черный рыцарь – обернулся на хвосте, заметив мой нервный маневр.

Мечтая о рачьей перчатке, я водил рукой вправо-влево и, наконец решившись, сверху накрыл соперника, резко прижал к песку. Рыцарь рубил клешнями воду, щекотал и кромсал ладонь – я выхватил его из воды и кинул на берег.

– Эй, капитан! – крикнул я. – Неси ведро! Рыцаря поймал!

Капитан с ведром подбежал ко мне, восторженно затолкал добычу в жестяную посудину. Рак стучал клешнями о стенки, вытягивал к фонарю свои глаза.

– Смотри-ка, – тревожно шепнул капитан, – крест у него, на хвосте.

На средней из черных панцирных чешуй, которыми оканчивался рачий хвост, действительно был замечен маленький светлый крестик.

Отчего-то этот крестик испортил настроение. То ли мы сильно устали за день, то ли соединился крестик с бесами и покойниками. Но, пожалуй, за один день слишком много набралось разной ерунды:

Лысые и усатые,
бесы и покойники,
Папашка трехголовый,
крест на рачьем хвосте.

– Не знаю, что делать, – сказал капитан, – раньше я крестов на рачьих хвостах не замечал. Можно ли его сварить и съесть?

– Одного варить глупо, – заметил я, – надо еще наловить.

С фонариком и ведром, в котором трещал и корябался рыцарь, мы вернулись на берег. Я осветил дно – и рука моя дрогнула.

Раки наступали из глубины. Один за другим выходили они из мутной тьмы, поднявши к небу свои черные военные усы.

Бледный и нездешний, обмотавший руку полотенцем, чтоб хватать легионеров, капитан-фотограф стоял по колено в воде, готовясь к предстоящей битве.

Двухклешневые, длинноглазые, угрожающе подбоченившись, с крестом, который хоть и не был различим, но угадывался, раки быстро окружали нас. Иные взгромождались на камни, чтоб получше нас разглядеть, другие подползали, прижимаясь к песку, третьи покачивались на стеблях канадской элодеи, которую справедливо зовут водяною чумой.

Выбрав крестоносца покрупней, капитан сунул руку в озеро – и сражение началось.

Впрочем, обладатель редкого оружия – вафельного полотенца – капитан-фотограф сразу же оказался победителем. Он просто хватал рыцарей и бросал в ведро. Скоро в ведре, гремя доспехами, лязгало и скрипело с полсотни легионеров. Из ведра они не умели добраться до капитана и схватывались между собой, вспоминая старые ссоры.

Многие воины не выдержали капитанского успеха и, поджавши хвост, улетали обратно в глубину. Они не пятились, они улетали, как торпеды. На поверхности воды виден был их усатый след.

Ведро повесили над костром, и, окутанный рачьим паром, капитан помешивал в нем еловой палкой, приготавливая чудовищное варево. Некогда черные, а теперь огненные усы и клешни высывались из ведра, и над ними парила зловещая тень капитана.

– Я раков не раз варил, – объяснял мне капитан, – с Петюшкой Собаковским мы как-то съели по сто раков. В рака надо больше соли, больше перцу, больше лаврового листа.

Я слушал старого ракоеда и думал: что же будет дальше и возможно ли это в жизни – поедать вареных рыцарей?

Глава VI

Казбек раков

Ночь приблизилась, подошла вплотную, и ничего вокруг нас не осталось, только костер, только мы с капитаном, только ведро, из которого валил пряный пар, да песчаная кайма берега и серебристый нос «Одуванчика», подвинувшегося к костру поближе.

Капитан снял с костра ведро и вывалил раков на траву.

Груда раков, курган раков, гора Казбек раков возвысилась над землей рядом с мигающим жарким костром. Бурые панцири, алые клешни, багровые усы тянулись к небу, нацеливались, угрожали и просто так торчали в разные стороны.

Не раков и не рыцарей в багряных теперь доспехах напомнили они, а жителей планеты Сатурн, космических пришельцев, которых мы с капитаном по глупости наловили, сварили и приготовились есть. И я содрогнулся, представив, как прилетят на Землю эдакие пришельцы в форме раков, а какие-нибудь типы, вроде нас с капитаном, сунут их в свой наивный бульон.

Капитан тем временем схватил космического гостя, обжигаясь, взломал панцирь, с хрустом оторвал шейку и высосал брызнувший сок. По-каннибальски подмигивая мне, он сопел и грыз. Откровенное блаженство было нарисовано на лице пожирателя пришельцев из космоса.

– Помню, с Петюшкой Собаковским... – журчал каннибал-фотограф. – Ну и раки были тогда... А ты что сидишь? Бери вон того здорового.

– Что-то не могу, – сказал я. – Мне кажется, это пришельцы.

– Что такое? – обиженно остановился капитан.

– По-моему, это пришельцы из космоса, с планеты Сатурн. Вот и крест у них на хвосте. Видал ты когда-нибудь рака с крестом?

– Не видал, – сказал капитан, позабывший уже про крест.

– Конечно, это пришельцы, – сказал я, – в форме рака.

Капитан оглянулся на озеро, над которым клубился уже тревожный глухой туман. Ничего на первый взгляд особенного не было в этом тумане – обычный ночной земной туман, сырость и глухота. И все же в нем жило, таилось нечто космическое. Почти не шевелясь, выползал туман к берегу, обтекал костер, касаясь наших щек и коленей. В ночи и в тумане мы остались совсем одни перед горою пурпурных пришельцев из космоса.

– Зачем же мы их наварили-то? – спросил капитан.

– По глупости. Приняли за раков. По простоте душевной.

– А может, это все-таки раки? – сказал капитан. – Если это пришельцы, зачем у них рачий вкус? Ну пускай форма рачья, а вкус должен быть другой, неземной, космический. По-моему, это раки.

– А почему у них на хвосте крестик?

– Откуда я знаю? Крестик так крестик, ничего страшного. Может, этот крестик принесет нам счастье!

И капитан надломил нового рака и высосал сок. И счастье заблестало в его глазах, запуталось в бороде.

– Черт возьми! – сказал капитан. – Можно в конце концов рубануть и пришельцев, если они съедобны.

И мне показалось, что вареный рак в руках капитана каким-то чудесным образом превратился в долгожданный плод – гранат, что ли, северный? Именно с таким счастливым видом, как будто это гранат вроде северный, но только не гранат, а что-то еще и космическое, неземное, озерное, капитан поедал рака.

– Нет, нет, – бормотал капитан, чмокая и хрустя. – Это мы с тобой пришельцы. А раки не пришельцы. Они скорей пограничники, охраняющие подступ к Багровому озеру. А раз мы пришельцы, а они раки, так какого черта? Чего тянуть?

Вслед за ним и я достал из кучи небольшого рачка-пограничника, аккуратно отломил клешню.

– Фу! – сморщился капитан. – Неправильно. Кто так ест рака! погоди сосать клешню. Надо, пожалуй, научить тебя правильно есть раков.

Глава VII

Наставления капитана-фотографа

– Я не знаю, как едят пришельцев из космоса, – наставлял капитан, – а рака надо правильно взять в руки. За панцирь левой, за шейку правой рукой. С правильной постановки рук начинается поедание этого редчайшего и сладчайшего плода водоемов.

В старые времена, конечно, существовал особый столовый раковый прибор, похожий на эдакий настольный велосипедик. В нем были разные крючочки, вилочки, колесики, при помощи которых поедался рак.

Теперь такие приборы редкость, руки и зубы – наш «велосипедик». Итак, взявши рака, как полагается, надо разломить его пополам и выпить сок, струящийся как из левой, так и из правой части...

Наставляя меня, капитан-фотограф демонстрировал все это на примере, и я неловко повторял за ним взламыванье, высасыванье и поедание.

– В раке съедобно все, – говорил капитан. – Даже его панцирь, который состоит из особого вещества под названием «хитин». Настоящие ракоеды, к примеру Петюшка Собаковский, охотно вкушают его. Поверь, что и хитин имеет свой вкус, если это, конечно, настоящий хитин. В конце концов, не каждый день удастся отведать истинного хитина. Добавлю, что хитин полезен хоккеистам.

– Почему? – спросил я.

– Чего почему?

– Почему хитин полезен хоккеистам?

– Ты что – дурак? Не понимаешь, что ли? Ведь хитин – это панцирь, а хоккеистов все толкают и клюшками бьют. Надо же им как-то укрепляться. Кроме хитина, им полезно есть яичную скорлупу и толченые черепашьи панцири. Сообразил?

– Сообразил. Расскажи, как едят клешню.

– С клешнями надо обращаться осторожно. Легким нажимом взломав клешню, надо вынуть ее содержимое так, чтобы получилось как бы две клешни. Одна – из панциря, другая – обнаженная, розовая...

Капитан причмокнул, надкусил клешню и ловким ракоедским движением вытащил ту, другую, внутреннюю клешню, обнаженную и розовую. Сунув ее в рот, капитан продолжил:

– Мясо рачьих клешней – мужская пища. Тот, кто ест клешни, обладает крепким рукопожатием... И наконец финал – раковая шейка! Королева стола! Заметь, что раковая шейка на самом деле рачий хвост. Но так она вкусна, так бесподобна, что назвать ее хвостом никто не решается. Это единственный случай, когда чей-то хвост называют так возвышенно. Один поэт так воспевал раковую шейку:

О, шейка рака!
Как собака,
Тебе я предан всей душой...

Другой поэт, из круга Веневитинова, писал еще восторженней:

В мой рот вошло речное диво!
Дрожит от жадности кадык.
И шейку тронувший стыдливо,
Бледнет бедный мой язык...

Именно так нужно есть раковую шейку, стыдливо, застенчиво. Мало на земле людей, которые достойны ее.

Воодушевленный, капитан-фотограф хлюпал стыдливо соком, застенчиво прикрывал глаза, вслед за ним и я принялся взламывать раков, высасывать, брызгаться и хрустеть.

Туман же над озером сгустился. На багровых рачьих панцирях блестела холодная роса.

Глава VIII

Мутное сердце тумана

Я не мог уснуть. В палатке было душно.

Туман, вползающий через щели, покрывал мой лоб испариной, как холодная подушка, наваливался на грудь, придавливал и душил. Палатка была набита туманом.

А там, за брезентовыми стенками, была тишь. Ничто не булькало, не ворочалось, не плескало, но я точно знал, что это неправда. Там обязательно что-то двигалось, что-то булькало и плескало, только очень тихо, еще тише, чем движение тумана.

Раки опять наступали из глубины на берег, ночные летучие мыши летали над нами, и выдра проплывала, спрятав голову под водой. А что еще там делалось, я не знал – не бесы ли катались на лодочке под бесшумными парусами?

Мне представлялась небольшая коричневая лодочка, набитая молчаливыми бесами, и туманный парус, и бес-капитан с седыми усами, и рожи бесов-матросов, испачканные чугуновой сажей.

Что они делали там, в лодке, я не видел – рыбу не ловили, выдру не гоняли, только для чего-то мочили в воде толстые веревки.

– Ты спишь? – спросил я капитана.

Капитан спал. Спал капитан, убаюканный усталостью, духотой и туманом.

Я вылез из палатки в полную темноту. И все же, как ни странно, в темноте этой виден был туман. То ли белый, то ли сизый – неведомо какой.

Вытянув руки, вышел я к берегу озера, наткнулся на корму «Одуванчика», потрогал его холодную серебряную кожу.

Забрался в лодку, сел на свое место, прикрыл глаза. В «Одуванчике» мне было спокойнее, чем в палатке, дышалось легче. И я решил подремать в лодке, дожидаясь рассвета.

Бесы ли шутили надо мной, но и в лодке не дремалось, не спалось. Взявши весло, я легонько ткнул им в дно озера – и лодка отошла от берега. Неожиданно поплыл я в темноте и тумане.

Изредка опуская за борт весло, я слегка касался воды, которую не видел, и не слышал ее плеска. Порою я даже и не зацеплялся веслом за воду и двигался вперед, отталкиваясь от тумана.

«Так и надо, – думал я. – Так и надо плыть – отталкиваясь от тумана. Для этого и построен „Одуванчик“».

Туман над озером оказался легче, чем тот, в палатке, прибрежный. Там он был гуще, там он давил на грудь, а здесь пролетал легко, оставляя на щеках влажный след.

Чем дальше отплывал я от берега, тем нежнее становился туман, я чувствовал это

кожей лица, – нежнее, влажней, невесомей. Он не терял своей густоты, но непрестанно менялся. В темноте тянулись над головой легчайшие туманные нити, которые вели в недра тумана, к самому его туманному сердцу.

«Мутное, наверно, у него сердце, – думал я. – Муть да белая серость. Ни черта там не видать, в его сердце».

Бесформенным и рыхлым огромным комом представлялось мне сердце тумана, оно лежало на воде, посреди озера, неподвижное и густое.

«Надо хоть добраться до него, поглядеть, – думал я. – В самое сердце я вплыть не буду, рядышком, около поплаваю».

Туман не мешал мне. Он вроде и не сердился на человека, который собрался доплыть до его сердца.

Впереди я заметил темное пятно. Своей глубиной и бархатностью оно отличалось от всей остальной ночной темноты и поэтому притягивало к себе. Ударив веслом, я всплеснул воду и вплыл в темный круг, очерченный туманом на воде.

Чистый ночной воздух окружал теперь меня. «Одуванчик» плавно пересекал свободный от тумана пятачок черной воды, окруженный глухими белесыми стенами. Далеко-далеко, высоко в небо уходили стены тумана, а там, где кончались они, горели три ярких, к земле наклоненных звезды.

Я остановил лодку и сидел, испуганный, в сердце тумана, задравши голову к небу.

Я узнал эти звезды, внезапно открывшиеся мне, – Пояс Ориона. И, пробиваясь сквозь туман, светили в небесах и остальные звезды – и все созвездье Орион стояло надо мной, над озером, над пустым сердцем тумана.

Я ничего не понимал. Сейчас, летом, даже глухою ночью никак не мог быть виден Орион, и все-таки он стоял надо мной и над моей лодкой.

Не знаю отчего, но я всегда радуюсь и волнуюсь, когда увижу созвездье Орион. Мне кажется отчего-то, что созвездье это связано с моей жизнью. Как будто даже Орион – о, небесный охотник! – наблюдает за мной, хоть и маленьким, а живым, и я ни перед кем, а только перед ним отвечаю за все, что делаю на Земле, – за себя, за свою лодку, за плаванье в сердце тумана.

Неподвижно сидел я в лодке, не шевелясь, стоял вокруг меня туман, и не шелохнулась волна под килем «Одуванчика» – только свет Ориона двигался к нам и достигал нас.

Как некоторые южные люди загорают на солнце, так и я подставил свое лицо под свет Ориона и чувствовал кожей прикосновение его лучей.

Они не были теплыми или холодными, они касались кожи почти незаметно и все-таки отпечатывались на лице. Не знаю, что изменилось на нем – светлела ли, темнела кожа, но я чувствовал, как проходят мои усталость и тревога, легче, яснее становится на душе.

«Все не так уж плохо, – думал я. – Вот я даже доплыл до сердца тумана».

Прикрыв глаза, я вспомнил вдруг людей, оставленных в городе, – Орлова и Петюшку, Клару и милиционера-художника и тех других людей, о которых не пишу здесь, в книжке. И все они казались мне совсем неплохими и, пожалуй, самыми лучшими и самыми легкими в мире.

Подремывая и вспоминая, я долго сидел так в лодке, а когда открыл глаза, увидел, что нет уже надо мной Ориона и туман сомкнулся над головой.

За туманом, где-то неподалеку, слышался тихий и жалостный вой.

«Ууууууу...» – то ли вздыхал, то ли плакал кто-то, так горько и печально, что хотелось немедленно кинуться на помощь.

Легонько ударяя веслом, я поплыл поскорее на этот вой, и чем быстрее плыл, тем светлее становилось вокруг, развеивался, таял туман. Впереди я увидел лодку с парусом и темные фигуры на борту.

«Бесы, – понял я. – Заманили все-таки. Воют, холеры, мочат в воде веревки».

Коричневая лодочка приблизилась, и я увидел рожи, испачканные чугунной сажей, и капитана с седыми усами. Увидав меня, он поднял руку, помахал приветливо.

Я махнул в ответ, и бесы-матросы дружно выхватили из воды веревки, к которым привязаны были ржавые жирные крючки. Бесшумно прошла мимо меня коричневая бесовская лодочка. Быстро скрылась она за спиной, а вой все слышался впереди.

«Кто же это воет? – думал я. – Неужели капитан-фотограф? Кто-то прихватил его и душит во сне».

Быстро поспешил я, погнал «Одуванчика», и нос его врезался в прибрежный песок. Я бросился к палатке.

– Эй, капитан! – крикнул я, откидывая полог. – Ты чего воешь?

Капитан заворочался, высунул из спального мешка бороду.

– А? – хрипло прорычал он, изумляя меня тем, что можно хрипло прорычать такое простое слово. – А?

– Это ты воешь?

– Чего еще? – недовольно продирая голос, сказал капитан. – Сколько времени?

– Воешь ты или нет?

Бестолково прочищая глаза, капитан чудовищно призывал.

– Кто воет? – раздраженно расспрашивал он. – Где?

Пока я тормозил капитана, вой и плач прекратились, затихли над озером, пропали. По лицу же капитана ясно было, что выть или рыдать он просто-напросто не умеет.

– Сколько время-то? – спрашивал не умеющий выть капитан. – Пора, что ль, в макарку?

– Светает, – ответил я.

Капитан выпутался из спального мешка, подполз на коленях к костру и принялся раздувать тлеющую головешку.

– Надо чайку вскипятить, – сказал он.

Глава IX

Вторжение в заросшую макарку

Мы медленно плыли по макарке – черному коридору среди болот, заросших таволгой и вехом. Кое-где мелькали и кусты молочая – бесова молока.

Широкая вначале макарка быстро сузилась. Я отложил весло и, цепляясь за

болотные травы, подтягивал «Одуванчик» вперед. С кустов, которые я дергал и шевелил, на нас сыпались спящие еще жучки и мотыльки.

– Надо было дожждаться солнца, – ворчал капитан-фотограф. – Того гляди напоремся на корягу. Видишь – коряги впереди!

Кривые и толстенькие коряги, торчащие из воды перед носом «Одуванчика», с шумом хлопнули крыльями и поднялись в воздух, превратившись в утиную стаю. Вода в макарке взволновалась, какая-то рыбина метнулась из-под лодки, покачнув «Одуванчик». Шуршащий взрыв раздался в камышах – вытянув зеленую шею, взмыл в небо запоздавший селезень.

– Все, – сказал капитан, – дальше нам не пройти.

Поперек макарки лежала почерневшая сучковатая береза. Как видно, ее принесли сюда рыбаки или охотники, гуляющие в болотах. Береза была как бы мостиком через макарку.

– Попробуй ее утопить, – сказал я. – Тогда проплывем над нею.

Капитан-фотограф поднялся и, упираясь веслом в дно, встал одной ногой на березу. Медленно, неохотно береза затонула под его тяжестью, да и сам капитан ушел в воду по колено.

Я подтянулся за куст – нос лодки въехал на березу. Капитан выхватил из воды ногу, закинул ее в лодку – и береза всплыла, глухо толкнулась в дно «Одуванчика» и подперла нас снизу.

Все стало на свои места. Капитан сидел на своем месте, я на своем, береза вернулась на свое. И мы сидели на березе.

Впереди, за березой, – капитан, сзади, на корме, – я. При желании мы могли покачаться как на качелях, но плыть назад или вперед никак не могли.

– Сели, что ль? – достаточно хладнокровно спросил капитан.

Напряженно вглядываясь в дно лодки, я искал пробоин. Мне казалось, что острый сук впился в платье нашей общей теперь с капитаном невесты, вот-вот разорвет его и мы не то что утонем, а повиснем посреди макарки полумокрые, полузатонувшие.

– Сидим, – ответил я, – пробоин не видно. Надо бы снова утопить березу, тогда прошмыгнем.

– Твоя очередь утопливать, – справедливо указал капитан.

Кое-как приподнявшись, я шагнул из лодки в воздух, стараясь наступить на березу. Она уклонялась от моей ноги, увертывалась. Нога летала в воздухе над водой, замах ее пропадал, она уже не знала, что делать. Вернуться в лодку нога не могла, для этого надо было от чего-то оттолкнуться. Ударом весла капитан подвинул ко мне березу, и нога в отчаянии рухнула на нее.

Береза сразу затонула, и я сделался человеком набекрень. Правая нога уходила в воду, левая подымалась вверх и уплывала вперед с «Одуванчиком».

Схватив себя за колено, я выволок ногу из воды и свалился в лодку. Береза не успела всплыть, как «Одуванчик» шмыгнул вперед, проскочил, и теперь уж никакого пути назад не было. Всплывшая береза покачивалась за кормой.

Я оттолкнулся от нее веслом, направляя лодку вперед.

– Запахло чарусеньшем, – сказал капитан.

В воздухе и вправду почувствовался резкий, едкий запах. Утопленная береза потревожила дно макарки. Со дна всплывали пузыри болотного газа.

– Это не чарусеньш, – сказал я, – это пузыри со дна. Поехали.

– А по-моему, чарусеньш, – настаивал капитан. Он тормозил лодку. Из-за плеча капитана я старался разглядеть, что там, впереди, но признаков чарусеньша не замечал.

– Надо кинуть щепку, – сказал капитан, – засосет или нет? Дай мне какую-нибудь щепку.

– Откуда я возьму щепку? – раздраженно ответил я.

– Отломи от березы.

Подал лодку назад, я изогнулся, отломил от березы черный сучок, отдал капитану. Капитан бросил его в воду перед собой, и давно прогнивший сучок немедленно затонул.

– Засосал, холера, – сказал капитан. – Видно, здорово проголодался.

Я не стал больше слушать капитана, сильно оттолкнулся веслом от березы. Легко и свободно пересекла лодка подозрительное пространство.

Петляя в болоте, макарка повела нас дальше. Она то расширялась, и тогда приходилось веслаться, то сужалась резко, и мы двигались вперед, цепляясь за травы.

Скоро мы увидели новую преграду, которая перегораживала нам путь. Это была уже не береза, а какой-то еловый крокодил, затопить которого не удалось. Рядом с крокодилом торчали из воды какие-то кольца.

– Попробую его поднять, – сказал капитан. – Может, удастся подпереть его кольшком.

Балансируя веслом, капитан наступил на высокую болотную кочку, которая сразу закашляла под его сапогом. В болотных сапогах-броднях на кашляющих и хрипящих болотных кочках капитан-фотограф стоял как болотный памятник Великому покорителю бревен. Над головой его носились утиные стаи.

Приподняв елового крокодила, капитан подпер его кольшком, и получилось что-то вроде медвежьей ловушки. Сибирские охотники, которые хотят завалить медведя, подвешивают иногда над тропой бревно. В нужный момент бревно это и падает медведю на голову. Съездившись, проплыли мы через ловушку и сразу увидели новое, совсем уже неприятное бревно. Оно чуть высовывалось из воды, и видно было, что та часть, которая оставалась под водой, совершенно непроходима.

– Придется рубить его топором, – сказал капитан.

Он потыкал бревно веслом.

– Его и не сдвинуть, – сказал он, и тут бревно само по себе шевельнулось, лениво высунуло из воды хвост, грянуло хвостом по поверхности и уплыло, возмущив воду в макарке.

С полминуты сидели мы в лодке, охолодев. Руки не хотели двигаться, а голова соображать. Но даже и при всем желании голова моя сообразить ничего, пожалуй, не могла.

– Кошмар! – сообразила наконец голова капитана. – Слушай, а бывают на свете пресноводные киты?

Я промолчал. Голова капитана работала великолепно, и я не хотел ей мешать.

– А может, Папашка? – продолжала работать чудесная голова. – Как думаешь, он уплыл или под воду спрятался?

Я невольно огляделся – нельзя ли в случае чего выбраться на берег? Но берега не было – крутые и круглые болотные кочки, трясина и вода меж кочками. Надеяться мы могли только на «Одуванчик», на его выносливость и быстроту. Открытая протока была перед нами, и я стал быстро грести, уходя поскорей от опасного места. Черт знает, в кого ткнул веслом капитан – в ожившее ли бревно, в древнейшую ли огромную щуку или впрямь разбудил Папашку?

Не останавливаясь, плыли мы вперед. Макарка то сужалась, то расширялась.

Иногда вдруг всплывали мы в болотистое блюдо, утыканное кочками, и плавали меж кочек, отыскивая продолжение макарки.

Капитан то и дело вскрикивал:

– Пахнет чарусеньшем! Право руля!

В некоторых местах завалена была макарка гнилыми травами и сучьями, и мы подолгу разбирали завал, веслами расчищали дорогу. Иной раз, чтоб протиснуть лодку вперед, капитан с дьявольским скрежетом ломал и выдирали болотные кочки.

Вдруг внезапно, совсем неожиданно макарка кончилась. Перед нами была трава, только трава – таволга, вех, молочай – и никакой макарки.

– Вот и все, – сказал капитан, – конец плаванию. Он встал, пошевелил веслом траву перед носом лодки. – Ни черта не видно, – сказал он, – никакой макарки. Дебри болотных трав.

Глава X

Папашка с Багрового озера

– Подай-ка лодку чуть правей, – сказал капитан.

Я подал правей.

– Теперь подай левей.

Я подал левей.

Капитан встал ногами на сиденье и стал шарить веслом в траве.

– Дебри, – бормотал он, – дебри.

Толстенные, куда выше капитанского роста стебли выросли из густой торфяной воды. Белые зонты и желтые цветочки перепутывались с какими-то зелеными пузырями, полными, казалось, сока и яда.

– Ничего не поделаешь, – сказал капитан, – надо продираться.

– Куда продираться?

– Туда, – и капитан махнул веслом в неопределенную сторону.

– Как продираться? И почему – туда?

– Я чувствую – Багровое озеро там.

– Макарка течет прямо – значит, и озеро прямо по носу.

– А по-моему, она сворачивает в эту сторону. Чувствую.

– Ну знаешь. Я твоему чувству пока не доверяю. Надо вернуться к Коровьему

мосту. Вскипятим чайку и подумаем, что делать дальше.

– Ничего не выйдет, – сказал капитан и внимательно уставился мне в глаза. – Назад пути нет.

– Ерунда, – сказал я. – Бревно снова приподыдем, а другое затопим.

– Дело не в бревне. Дело в том, что я не из тех людей, которые возвращаются.

Понял?

– Из каких же ты, интересно, людей?

– Из тех, других. Которые только вперед идут.

Капитан смотрел на меня пристально и целеустремленно. На лице его было написано, что он из тех, кто вперед идет, а я из тех, кто возвращается.

– Ладно, ладно, – сказал я. – Я тоже не из тех, кто возвращается. Выдирай траву.

Ударом весла капитан вогнал нос лодки в заросли и принялся немедленно выдирать траву. Лохматые и мокрые корни рогоза, чудовищные, похожие на золотых гусениц корни аира выволакивал капитан из трясины и разбрасывал в стороны. Постепенно втащили мы лодку в неизвестное пространство, и дебри болотных трав сомкнулись за нами.

– Вперед! – крикнул капитан. – Назад хода нет!

Капитан выдрал огромный зонтичный куст, стряхнул на меня синих стрекоз и золотых жучков – и перед нами вдруг открылась свободная вода.

Небольшое, совсем круглое, лежало Багровое озеро среди болотных трав.

Зыбкие берега охватили его, стянули петлей. Далеко, очень далеко отсюда начинался настоящий берег, лесной, земляной.

– Не видно признаков багровости, – прошептал для чего-то капитан.

Вода в Багровом озере была черна, так черна, что почти не отражала неба. Только ближе к середине двигались на поверхности небесные облака, а по краям у берегов окружала озеро кайма траурной воды.

– Вот оно – озеро, – сказал капитан. – Сейчас будем рыбу ловить.

Воткнув весла в илистое дно, мы привязали к ним «Одуванчик».

Плюнув на червя, капитан забросил удочку.

– Здешняя рыба, наверно, и в глаза червяка не видала, – сказал он, – надо ее как-то приманить.

Он высыпал в воду горсть геркулеса.

– Мелочь любит геркулес, – пояснил он, – вначале придет мелочь, а за нею – крупная рыба. Хотя здешняя мелочь и геркулеса-то в глаза не видала.

Неожиданно явилось солнце. Пробившись сквозь облака, оно осветило озеро, и тут я понял, как бездонно оно. Лучи совсем не проникали в темные воды. Озеро отталкивало их, не открывало солнцу своей глубины.

Стало как-то не по себе. Показалось, что в озере нет жизни – оно мертво, и кто знает, как глубоко в землю уходит его дно.

Капитан сидел не шевелясь и даже перестал сыпать в воду геркулес. Этот геркулес, наши удочки и червяки, которыми мы собрались приманивать жителей Багрового озера, как-то глупо, мелко выглядели пред спокойным и даже грозным его молчанием.

В тишине послышался плещущий шелест.

Я оглянулся и увидел, как из воды высунулся черно-зеленый конический бутон. Из бутона, как из приоткрытого рта, показался ослепительный язычок.

Бутон открывался на глазах, превращаясь в кувшинку-лилию с яркой солнечной сердцевинкой. И тут же по всему озеру распластались кувшинки. Они таились под водой, ожидая солнца.

Поплавок мой чуть шевельнулся.

Я взволновался, и капитан тревожно покосил глазом.

Кто-то «понюхал червячка». Но кто это? Какая рыба может жить здесь, в Багровом?

Поплавок капитана тоже шевельнулся. «Некто» понюхал и его, чтоб выбрать, какой червячок интересней. Капитан-фотограф немедленно принялся сыпать в воду геркулес.

Но «некто», очевидно, уплыл – поплавки больше не шевелились. А может, стоял неподалеку и глядел снизу задумчиво на нас? К нему подошли и другие жители Багрового озера, и все они окружили «Одуванчик», рассматривали нас, раздумывали, перешептывались. Казалось, я слышу этот шепот, идущий со дна.

Из воды показалась черная гребенка. Доплыла до моего поплавка, толкнула его и плавно опустилась в глубину. Теперь «некто» рассказывал, что такое наши поплавки и можно ли пробовать червя. Я знал, что сейчас они посоветуются и пошлют пробовать самого маленького. Так всегда бывает среди водных жителей – первым пробует маленький.

Он, конечно, сопротивляется, прячется за спины старших, но его подталкивают вперед, и в конце концов – эх, пропади все пропадом! – он разом хватает червя.

Поплавок ушел под воду. Я подсек, и леска натянулась до предела. Медленно-медленно я вел кого-то к лодке, но только не маленького, а мощного и тугого. Из воды показалась черная гребенка – и я махнул удилицем.

Трепещущее и черное, рот разевающее, с горящими глазами и огненными перьями, вылетело из воды существо. Оно летело в лодку, и я не решился перехватить его в полете.

Ударившись об дно, «некто» запрыгал, забился, заметался.

Он был горбат и крупноглаз, и бока его были черны и чугунны. Двухязыкий хвост горел ярче брусники. Стянутые пленкой колючки росли из горба.

Подскакивая, он хлестал хвостом в спину капитана, тыкался носом в мои резиновые сапоги.

– Неужели Папашка? – взволнованно шептал капитан.

И впрямь какой-то Папашка-Горбач топоришил драконьи колючки, выпучивая золотые глаза с птичьим зрачком.

Капитан задрожал, напрягся и вдруг с каким-то немым воплем выхватил удочку из воды.

И новый Горбач вылетел из озера в воздух и, хлопая колючками, как грач перьями, упал в колени капитана. Капитан закричал, засопел, хватывая Грача-Горбача, выдирая изо рта его крючок.

– Это Окунь! – шепотом кричал он. – Какой здоровый! Какой жуткий! Какой горбатый!

Капитан бросил мне под ноги Грача-Горбача, и теперь вместе с Горбачом-Папашкой они прыгали передо мной, туго отталкиваясь от бортов лодки, пялили на меня свои полуптичьи глаза.

– Так бы десятка два – уха! – шептал капитан с восторгом и тревогой.

Через полчаса мы и вправду надергали десятка два жителей Багрового озера. Все они были крупны и колючи, и все-таки первый Горбач-Папашка был самый большой, самый златоглазый.

– Хватит, – сказал капитан, – пора на сушу, уху варить.

С трудом вытащили мы весла, засосанные озерным дном, и поплыли потихоньку вдоль берега Багрового озера. Настроение у нас вдруг оказалось прекрасным.

По макарке мы плыли напуганные, в озеро вошли пришибленные, а как взошло солнце, нам стало лучше, поймали окуня – еще лучше.

Солнце и окунь – это ведь всегда счастье, и как давно этого не было в моей жизни. Солнце и окунь приблизили к нам Багровое озеро, оно стало вроде бы нашим, своим.

Окуни успокоились на дне лодки, уснули, и только Папашка-Горбач-Златоглаз все глядел на меня, растопыривал плавники.

Я взял его в руки и за спиной капитана опустил потихоньку в воду. Проплыв за нами на боку, он выпрямился, будто встал на ноги, и разом ушел в глубину Багрового озера.

Глава XI

Борьба Геркулеса с бесами

Протянув руку за борт, я опустил ее в воду – в воде рука сделалась красной. Я взялся за скользкий и тугий стебель кувшинки, потянул. Кувшинка нырнула, стала багровой в густой, насыщенной торфом воде.

И все-таки в Москве, когда я задумывал плаванье, Багровое озеро казалось мне более багровым. Сколько тайны и мощи в этом слове «Багровый». В нем даже есть кровь.

Теперь, побывав на озере, я назвал бы его попроще – Темно-коричневым.

– Это оно прикидывается темно-коричневым, – заметил капитан, – как бы оно не повернулось к нам своей багровой стороной.

Постепенно забирая влево, мы совершали осторожный круг вдоль берегов. Я все ждал – вот выскочит кто-нибудь из травы, вот плеснет рыбина, подыметца цапля. Но ни плеска, ни взлета птицы, будто жители Багрового притаились и глядели на нас из густой травы, со дна торфяного.

– Бесов что-то не видно, – сказал капитан, – спят, что ли? Наверно, днем они спят, только ночью вылезают на промысел.

– Какой же промысел?

– Заблудших ловить.

Скоро мы замкнули круг, приблизились к месту, где ловили окуней.

– Здесь и макарка, – сказал капитан.

– Чуть дальше, – поправил я.

Мы всматривались в траву, раздвигая ее веслом, но не видели входа в макарку – таволга, вех, гориголова.

– Вот дураки, – сказал капитан, – не поставили вешку.

– Вешка – дело капитанское, – сказал я, – капитан отвечает за корабль и судьбу экипажа.

Фотограф промолчал и стал энергично шарить веслом в траве. Стрекозы и мотыльки сыпались в воду.

– Похоже, что это шуточки бесов, – сказал капитан. Он поднялся на ноги и теперь не просто шарил, а рубил лопастью весла траву, ломал хрупкие стебли. Скоро он искорежил-измял весь берег, входа в макарку, однако, не обнаружив.

Багровое озеро сомкнуло берега. Бесы легко пропустили нас в свои владения, но выпускать обратно явно не собирались. Сколько угодно мы могли плавать по плоскому водяному блину среди вязких болот. Плавать до ночи, а уж ночью...

Легкое отчаяние коснулось моего сердца. Да что же это такое? Неужто и вправду мы не найдем выхода?

Солнце вдруг потускнело и спряталось, и я окончательно понял, что Багровое озеро заманило нас и теперь уж не выпустит добычу из своих зыбких когтей.

– Озеро похоже по форме на букву «о», – неожиданно и неуместно заметил капитан.

– Скажи что-нибудь более капитанское...

Капитан напрягся. Он вглядывался в берега и воды.

– Следов на воде не остается, – задумчиво, но малокапитански сказал он. – И все-таки нам надо найти место, где мы ловили. Макарка там, рядом.

– Как его найдешь?

– Тут вся надежда только на геркулес, – сказал капитан. – Там, где мы ловили, я сыпал геркулес. Может, остался на воде его след?

– Тьфу!

Геркулес – этот идиотский плод современности, изуродованный овес – всегда раздражал меня. Когда капитан сыпал его в озеро, мне казалось это глупостью. Геркулес оскорблял потайное, недоступное озеро и, конечно, бесов. Каково им было сидеть на дне, обсыпанным капитанским геркулесом? Оскорбленные и униженные, вот теперь они и придумали эту штуку – спрятать макарку, запереть нас на озере.

Взад-вперед плавали мы вдоль берега, и я волей-неволей шарил глазами по поверхности озера в поисках геркулеса. Но какие могли быть следы? Все геркулесины давно затонули, разбухли, ушли на дно.

Так плавали мы, полагаясь на геркулес, вступивший в борьбу с бесами. Все это напоминало борьбу борьбы с борьбой.

И я вспомнил Клару Курбе, скульптурную группу «Люди в шляпах», которые так далеко уплыли теперь от нас. Похожее по форме на букву «о», Багровое озеро все больше превращалось в нуль, внутри которого мы крутились. А что может быть там, внутри нуля? Какой нормальный человек согласится быть заключенным в нуль,

окаймленный болотом, с бесами, пожирающими на дне геркулес?

Стоило ли строить лодку, самую легкую в мире, чтобы приплыть к нулю?

Тупо и безнадежно глядел я в глубину нуля – и хоть бы Папашка-Горбач блеснул со дна золотым глазом.

И вдруг в нулевой воде мелькнула багровая точка, светящаяся, как окуневый глаз. Это и была геркулесина, застрявшая на подводном листике кувшинки.

Глава XII

Отсутствие молочая

Танцуя от найденной геркулесины, мы быстро разыскали макарку и плыли теперь по ней. Капитан веселился как мог. Он даже напевал себе под нос, и постепенно под носом его складывался гимн, восхваляющий геркулес.

– Хвала тебе, о победивший бесов! – бормотал капитан. – Над ними ты имел немало перевесов...

Подпевать капитану я не стал, но чувствовал благодарность. Мне бы никогда не пришло в голову искать на воде следы геркулеса. Впрочем, я сомневался, что бесы так просто отпустят нас. Оскорбленные геркулесом и хвастовством капитана, они еще придумают какую-нибудь штуку.

Обратный путь между тем вдруг показался короче. Быстро доплыли мы до бухты «Ожившего бревна», которое на этот раз никак не обнаружилось, миновали «Медвежью ловушку». Бесы пока ничего не придумывали. Они, видно, сидели на дне и соображали. И я даже подумал, что бесы туго соображают, как вдруг капитан прервал свою подносную песню, неловко охнул, затормозил лодку.

«Одуванчик» медленно вплыл в болотное блюдо, затянутое ряской. За спиной капитана я не видел, что там такое, впереди.

– Три макарки, – сказал капитан.

Я не понял капитана. Мне показалось даже, что это шуточка в его духе. Но это была шуточка в духе бесов.

Перед нами действительно было три макарки. Одна шла по центру, узкая и заросшая, справа и слева две другие, попросторнее. Из какой-то мы выплыли рано утром, а тех, других, сбоку не заметили. Теперь же они видны были ясно – три коридорчика в высокой траве.

Такой каверзной глупости мы никак не могли ожидать. В утреннем сумраке, напуганные бревнами, мы быстро пролетели это место. Опасаясь чарусеньшей, вглядывались в воду и не слишком изучали берега – вот и проморгали две макарки.

– Пожалуй, наша центральная, – сказал я.

– Слишком заросшая. Мы бы примяли траву. Наша правая.

– Направо пойдешь – богату быть, – вспомнил я.

– Богату? – изумился капитан. – А налево?

– Налево – женату быть. А уж прямо – сам понимаешь чего.

– Чего? – недоверчиво спросил капитан.

– Убиту быть.

- Так что, направо, что ли?
- Пожалуй, прямо. Все богатыри ходили прямо.
- Не тянет, – сказал капитан. – Не тянет эта макарка.
- Ладно, двоих не убьют. А одним пожертвовать можно.

Я подогнал лодку ко входу в центральную макарку, капитан развел веслом траву, и мы вошли в ее воды.

Я сразу понял, что это не наша макарка. Какие-то другие травы составляли ее стены, другой формы, другого цвета. Все вроде бы то же самое – таволга и рогоз, кошачья петрушка, гориголова, и все-таки не то. И вдруг я понял, что не вижу молочая. Утром, когда мы плыли к озеру, я то и дело отмечал кустики молочая и вспоминал, что молочай называют бесовым молоком.

- Не наша это макарка, – сказал я, – молочая нету.
- Уж больно тонкое наблюдение, – заметил капитан.

Но молочая на берегах не было. Казалось, кто-то выдрал все кусты молочая, выпил молочаево молоко.

Я всегда любил это растение – молочай, его скромные нецветочные цветы, собранные в кузовок, крепкие стебли, текущие на переломе молоком, которое лизнуть было нельзя – бесово, – а лизнуть хотелось.

Молочай был братом одуванчика, из стеблей которого тоже брызгало дикое молоко, и это меня поражало – не только растут, не только цветут, а еще и молоко дают.

И какими-то совсем странными их родственниками были млечные грибы – чернухи, скрипухи. Только вылезли из земли, а уж полны молоком – горьким, земным, подлесным. Для кого созрело это молоко, кому его пить?

Я-то разок лизнул дикого молочка, а ничего вроде и не почувствовал.

С полчаса уже плыли мы по макарке, которая постепенно становилась шире. Напившись молочаева молока, бесы равнодушно взирали на наше плаванье, никаких штучек не придумывали – ни бревен оживших, ни чарусеньшей.

А может, это они и придумали – больше ничего не придумывать? Решили сделать макарку бесконечной, чтоб мы плыли и плыли – до ночи, до осени и не могли вылезти на берег всю жизнь, до самой старости.

Да нет, зачем бесам мучить нас так долго. Они могут разделаться с нами поскорее. Чего тянуть?

- Ну вот и все, – сказал капитан. – Приехали.

Прямо перед нами по всей макарке, как забор, вколочены были в дно толстые черные сваи, переплетенные еловыми ветками. Это был обычный рыбацкий закол, поставленный по всем правилам.

Пришибленные, сидели мы в «Одуванчике», неумолимо понимая, что через эту чертову плотину нам никогда в жизни не перебраться. Тут мы и услышали голосок:

- На уху-то наловили?

Глава XIII

Травяная Голова

– На уху-то наловили? – повторился голосок, и из травы высунулась лукоподобная головка с влажными торфяными глазками. Она покачивалась над травой, держалась на ней, как луна порой держится на лесных верхушках. Казалось, она и сплетена из засохших болотных трав.

– Наловили, – ответил я, взял из лодки Горбача-Окуня и показал Голове.

– О! О! О! – с восхищением покачала головой Голова.

– А ты, дедушка, как в болоте-то стоишь? – спросил капитан, смекнувший, что такая голова может быть приделана только к немолодому телу.

– Я-то в валенках, – ответила Голова. – А вы-то как?

– А мы веслаемся, – с некоторой бодростью заявил капитан, – и на уху наловили.

Цокая, как белочка, языком, Травяная Голова любовалась окунем, я же все старался рассмотреть, к чему она приделана. В густой траве я не видел никакого тела и никаких валенок, и даже шеи, на которой полагается держаться любой голове, не наблюдалось.

– Через закол-то нам не перебраться? – спрашивал меж тем капитан.

– Никак не перебраться, – отвечала Голова, по-прежнему не показывая признаков тела.

– А ты бы, дедушка, разобрал закол.

– Как же так? – изумилась Голова, погружаясь испуганно в траву. – Как его разбирать? На уху-то ведь надо ловить?

– Так ведь и нам проплыть надо.

Удрученно мигая глазками, Голова по самую макушку уехала в траву и вдруг, подпрыгнув, крикнула:

– А вы лучше назад плывите!

В этих травяных словах была своя железная логика.

Меня же поражало, что не было видно, к чему приделана Травяная Голова. И вдруг я понял, что она вообще ни к чему не приделана, а просто так, сама по себе болтается в болотах. Тревожный пот прошиб меня, я вперил глаза свои в траву под Головой и на том месте, где полагалось быть телу, видел явные просветы небесной синевы.

– Дедушка, – жалобно сказал капитан. – Мы назад плыть сил не имеем. Нам бы на землю попасть, ушицы наварить.

– Верно говоришь, парень, – покачивалась согласно Голова, – уши надо наварить. А соль-то у вас есть?

– И соль, и лаврушка, – заманивал Голову капитан. – И лук репчатый, и перец-горошек.

Размахивая руками и даже причмокивая, капитан соблазнял Голову ухую, совершенно не замечая, что уха этой Голове ни к селу ни к городу. Во всяком случае, под головою у Головы не имелось живота, куда волей-неволей должна в конце концов поместиться уха.

И все-таки Голова слушала капитана с любопытством и тоже причмокивала, сощуривала нос. Она явно желала уха.

– Окуней у нас пол-лодки, – размахивал руками капитан. – Заварим крепкую, тройную, с картошечкой.

Голова дрогнула.

– Ладно, парень, – сказала она, – вы лодку к заколу привяжите, а сами вылезайте. Я вас до берега доведу.

– Спасибо, дедушка, – обрадовался капитан, – устали в лодке – сил нет.

Подгребая и загребывая, капитан подогнал лодку к заколу, стал привязывать нос к бревну. Оглядываясь на Голову, я потихоньку дернул его за рукав.

– Ты чего? – отмахнулся капитан.

– Слушай, – шепнул я, – тела-то нету.

– Чего такое?

– Под Головою тела нету.

– Ты что – дурак? – спросил капитан, вглядываясь в мой живот.

– Да под тою Головою, под тою, – указывал я большим пальцем через плечо.

– Под какую?

– Под дедушкиной.

– Ты с ума сошел, нанюхался болотных газов, – прошептал капитан и, оглянувшись на Голову, добавил: – Тело есть, только очень маленькое, в валенках. Складывай окуней в ведро.

Капитан выбрался из лодки на закол, помог вылезти и мне. Во весь рост поднялся я над болотом – и голова моя закружилась. Я увидел просторный зеленый мир вокруг – зеркала озер, поблескивающие там и сям, еловые леса за озерами и снова за лесами озера, какие-то за озерами холмы, дальние деревни на их склонах, и совсем чудесными оказались три корявых сосны неподалеку от нас. Бугром подымался под соснами берег, и по бугру этому ходили коровы.

Увидевши меня и капитана, коровы издалика с берега протянули к нам свои губы и замычали.

Открывшийся простор, сосны и коровы отвлекли меня от Травяной Головы, и мелькнула мысль, что в конце концов наплевать, приделана она к чему-нибудь или нет. В таких-то просторах – в озерах, болотах, лесах – любой голове захочется поболтаться свободно. И я пожалел, что моя бедная голова не может прокатиться колом по этому миру. Уж она бы погуляла там и сям, а после как-нибудь приделалась обратно к брентному телу.

– Полтора десятка, – сказала Травяная Голова, подсчитав вынимаемых из лодки окуней. – Будет уха. Ну а теперь по кочкам, по жердочкам за мной.

Слегка подпрыгнув, она переместилась, и мы повлеклись за нею через трясины. Обвешанные рюкзаками, топорами и ведрами, то и дело проваливаясь по пояс в черную воду, мы брели к берегу за Травяной Головой, которая так и не показывала нам своего тела и плыла над болотом, подобно маленькой дневной луне, обращенной к нам затылком.

Глава XIV

Смесь самолета с трактором

Уже неподалеку от берега я увидел, как Травяная Голова выкатилась по травке к

соснам, подпрыгнула и вдруг приделалась к телу, которое сидело под сосной.

Небольшое тело в черном старом пиджаке и в валенках с галошами поджидало голову, которая гуляла в болотах.

Как только Голова, увенчав пиджак, устроилась на своем месте, тело зашевелилось, одной рукой зачесало нос, по которому, как видно, соскучилось, а другою замахало нам с капитаном:

– Сюда вылезайте, к сосенкам.

Мы вылезли из трясины, а Голова спокойно сидела на своем месте и наблюдала, как капитан-фотограф выливает из сапога черную воду.

Коровы, стоящие за соснами, разглядевши нас, остолбенели. Тупое и безумное любопытство светилось в их крупных детских глазах. Они даже перестали жевать и наивно хлопали ресницами. Было ясно, что ничего такого, как снимающий сапоги капитан, прежде им видеть не приходилось.

Изумленные коровы слились с Травяною Головой в единое целое, и теперь все это выглядело как самое обычное стадо с пастухом.

Но я-то понимал, что у этого пастуха голова не совсем обычная, и внимательно оглядывал коровьи головы, не любят ли и они побаловаться, полетать над миром, оставив на земле вымя и копыта.

– Сколько у вас в стаде голов? – спросил между тем капитан.

– Семнадцать.

– А бык есть?

– Наш бык – делопроизводитель, – ответила Травяная Голова, – его в район повезли.

Капитан обрадовался, что бык в отъезде, протянул деду руку. Охотно пожимая капитанскую ладонь, Травяная Голова назвалась Аверьяном.

Капитан сразу же стал звать пастуха дедом Аверей, а дед капитана – «парень». Они быстро нашли общий язык и болтали теперь на этом общем языке. Я как-то не мог влезть в их разговор, но предложенную дедом руку почтительно пожал. Рука эта оказалась сухонькой, легкой, и показалось, что пожимаю я пучок сухой травы.

Скоро запыхал костер, на сосновых ветках развесили мы мокрые носки, начистили окуней, поставили на огонь ведро.

– Значит, вы прямо из Москвы? – спрашивал дед Аверя.

– Прямо из Москвы, – размахивал ложкой капитан, – вон как здорово. Из Москвы – и прямо сюда.

– Да неужто это так? – изумлялся дед. – Прямо сюда? Из Москвы.

– Из ней! – восклицал капитан. – И прямо сюда!

Так болтали дед и капитан на их общем языке. Язык этот я немного понимал, но проникнуть глубоко в смысл его не мог.

– А вы-то бывали в Москве? – спросил капитан.

Дед Аверя хмыкнул, покачал своей головой.

– Ты на самолете-то летал? – спросил он капитана.

– Летал.

– Ну, на таком-то не летал. Тут у нас в деревне вынужденная посадка была.

Самолет вдруг в небе объявился – на лужок и сядь. А я рядом пасу. Тут из кабины летчик выскакивает.

«Ах, – говорит, – дед, бензин кончился».

Ну, я сбегал домой, у племянника-то моего мопед, так в сарае канистра стояла литров на двадцать. Принес бензин семьдесят шестой, а летчик говорит:

«Ты, дед, слетай со мной в Москву, заступишься в случае чего, а то меня могут уволить, потому что везу я бандероль Большому Человеку, опоздание – смерти подобно».

Ну, я залез в кабину, и мы полетели. Ну, парень, это был самолетик! Не простой, а смесь самолета с трактором. Летит, летит, вдруг остановится и, как трактор, по облакам ползает! Ну долетели и только приземлились – Большой Человек бежит. Где бандероль?

Я подаю ему бандероль – мне ее летчик на хранение сдал, а Человек-то этот, Большой, и говорит:

«А ты кто такой?»

Так и так, отвечаю.

«Как? – Человек-то говорит. – Неужто ты и есть самый дед Аверя?»

А как же, отвечаю, я это он и есть.

«Золотой ты мой, – говорит Большой-то этот Человек. – Да ведь я твое письмо знаешь где храню? На сердце».

И тут достает из сердечного кармана письмо, которое я ему прошлый год писал.

«Я, – говорит, – твое письмо каждый день на ночь читаю и плачу».

– Ну и ну! – восхищался капитан, слушая деда. – Во ведь как бывает. Плачут Большие Люди.

Капитан хлопал себя по коленям, а меня по плечам, приглашая изумляться вместе с ним. Но я помалкивал, отвлекался от рассказа, помешивая уху. Дед Аверя заметил это.

– Ты на тракторе катался? – спросил он меня.

– Катался.

– А на самолете?

– Катался.

– А на смеси самолета с трактором катался?

– Нет.

– А я вот катался, – сказал дед Аверя и засмеялся радостно.

– Не понимаю, зачем вам смесь самолета с трактором, – сказал я, – с такой головой, как у вас, в Москву и без смеси слетать недолго.

Дед Аверя обернулся и внимательно посмотрел мне прямо в глаза.

– С такой головой, как у меня, – сказал он, – можно генералом стать. Да я, вишь, пастух – генерал коровий.

– Ничего, – сказал я, – не огорчайтесь. Не у всякого генерала есть такая голова.

– Это верно, – сказал дед Аверя, улыбаясь.

– У генералов голова крепко к телу прикручена, – продолжал я, – не оторвешь, а у вас сама летает, где хочет.

– Голова у меня легкая, – смеялся дед Аверя. – Сижу, бывало, под сосной, а голова то в Москве, то в Харькове.

– Телу-то без головы небось скучно.

– Как то есть? – не понял дед. – Чего ему сделается, телу?

– Ну как же, – сказал я, – голова летает, а тело сидит.

– Да ведь и голова сидит, – сказал дед, наивно мигая болотными глазками. – Голова в мечтаниях летает, а на теле-то сидит пока крепко.

И он хихикнул, покачал обеими руками голову, подергал и за волосья.

– Не открутишь, – сказал он.

– Ладно тебе, отец, – не выдержал я. – Я сам видел, как тело ваше сидело под сосной, а голова над болотом болталась.

Глава XV

Капитанская уха

– Ты что городишь? – сказал капитан. – Какая голова над болотом?

– Евонная, – ответил я, указавши на деда, и передернулся, потому что никогда в жизни не произносил этого дикого слова – «евонная».

– Евонная? – переспросил капитан и тоже передернулся, но только не от слова, а от его смысла.

Капитан поднял в воздух руку и постучал своим пальцем мне по лбу.

– Ты что, шутишь?

– Ты лучше деду постучи, – сказал я, отмахиваясь. – Глядишь, головка и слетит с места, как жаворонок.

– Да ты что, парень, – сказал дед обиженно. – Что ты на меня нападаешь? Чего я тебе сделал?

Дед явно прикидывался дурачком, делал вид, что не понимает, как это голова может жить без тела.

– Ладно, – сказал я, – плевать я хотел на вашу летающую голову. Летает она и пускай летает.

– Что такое-то с тобой? – сказал капитан, пораженный моим внезапным сумасшествием. – Дедушка! Не слушайте его, он нанюхался болотных газов.

Высказавши эту неожиданную белиберду, капитан замолк. К слову «евонная» он умудрился пристегнуть «не слушайте» и совершенно надорвал общий язык, который до этого находил с дедом.

Капитан-фотограф и дед Аверя сидели друг напротив друга возле костра и глядели в воздух, в котором и висел надорванный их язык. Ясно было, что говорить на нем они уже не могут. Дед Аверя даже высунул свой язык, чтоб сказать что-то, капитан высунул из солидарности свой. Пару секунд болтали они в воздухе языками, но не могли поймать ни слова.

– Слушайте, слушайте, – сердито сказал я, – евонная не летает, а ваша где хочешь болтается. К тому же она из травы сплетена. Но меня все это не интересует. Меня интересует только одно – уха. Как там, не готова ли? Жалко, что у нас одни окуни. Эх,

сейчас бы лещовую головку! Ставлю лещовую голову против летающей!

– Вот это ты, парень, верно сказал, – с некоторым облегчением вздохнул дед, – лещовая головка сладкая.

– У леща в голове как у купца в сундуке, – вставил и капитан, которому пора было вернуться к разговорной жизни.

Капитан немного успокоился, достал из рюкзака насквозь прокопченную варезку и снял с костра ведро ухи.

Из прибрежных кустов налетел комар, закружился в пару над ведром. Пар, пропитанный каплями окуня, вкусный пар, густой, как кучевые облака, обволок наши лбы, затуманил глаза, прочистил мысли. Я не знаю, о чем думал летающий лоб деда Авери, но чистый лоб капитана в пару разгладился и думал о лавровом листе.

«В жизни все сложно, – размышлял я, – все непонятно. Но пора же отведать ухи!»

Под корнями высоких сосен мы сидим вокруг ведра с горячей дымящейся ухой. Мы не размахиваем ложками, не набрасываемся сразу на уху. Мы знаем, что она должна чуть поостыть. Мы внимаем ее аромату.

Невозможно сказать – «мы нюхаем уху». Мы – дышим ухой.

Ложки у всех в руках, миски стоят на земле. Пора, кажется, начинать?

Я переглядываюсь с капитаном. Он делает бровями некоторый знак, который можно прочесть так: «Вечно ты торопишься. Дай ей поостыть».

Летающая Голова – дед Авери не вмешивается. Как человек, приглашенный к ухе в гости, он терпеливо ждет и смотрит на дальние озера.

Я поднимаю ложку. Некоторое время я играю ею в воздухе, заслоняю солнечный луч, поглаживаю край миски, протираю черенок ольховым листом. Я делаю вид, что это не ложка, а, может быть, бабочка, порхающая над ухой, как над ромашкой.

Мне не хочется сразу огорчать уху, ведь она еще спит, еще не знает, что скоро будет съедена без остатка.

Я ввожу ложку в нежный организм ухи с тысячью предосторожностей.

– Поехали, – говорит уховар-фотограф и теперь тревожно заглядывает мне в глаза, спрашивая «ну как?».

Никак нельзя торопиться, пробуя уху. Хорошую уху нужно есть так, как писали стихи древние эллины. Хорошую уху нужно есть гексаметром.

Отведав ухи, стоит задуматься, отложить ложку в сторону, отчего нервно вздрагивает душа уховара, и только потом степенно заметить:

– Ничего, неплохо. И соли в меру.

– Подходяще, – вздыхает Летающая Голова.

Уховар сияет, наливает всем добавки. И добавка сближает нас, а уж после третьей добавки мы все становимся родные братья, потому что никто и никогда на земле не ел этой ухи вместе с нами.

И я пожалел, что нет сейчас Орлова и Клары, Петюшки и милиционера-художника, и тех других людей, о которых не пишу здесь, в книжке. Конечно, с ними можно отведать и другой ухи, но ведь никогда не знаешь, получится ли она в жизни.

– А вы на Илистом-то озере бывали? – спросил дед Авери.

– Не бывали.

– Вот где рыбы-то. И лещ, и карась, и окунь. Там ведь и Папашка живет. Разморенный ухом дед Аверя прилег на травке, скинул с ног валенки, в которых оказался босиком.

– Папашка? – поперхнувшись, переспросил капитан.

– Папашка, ага, – подтвердил дед Аверя. – У него две головы и тело на подводных крыльях.

– Две? – переспросил капитан. – А мы слышали – три.

– Откуда ж три? Две. Одна – щучья, другая – медвежья. Я его недавно видел, когда клюкву брал. Да недалеко отсюда-то – от деревни Коровихи три километра.

– Неужели вы видели Папашку? – взволновался капитан.

– Да что ты удивляешься, – сказал я. – С такой головкой, как у нашего деда, не только Папашку – самого черта повидать можно.

Дед Аверя засмеялся, толкнул меня пальцем в бок.

– Нравишься ты мне, парень, – сказал он, – ей-богу, нравишься.

– Да и ты мне нравишься, – улыбнулся я, – особенно головка твоя.

– О-хо-хо! – смеялся дед. – Ну чего ты к голове моей привязался?

– А чего она летает?

– Да кто тебе сказал?

– Я сам видел. А тебе, дед, стыдно врать. Если летает, так и скажи: летает, мол.

– О-хо-хо! – смеялся дед. – Ладно уж, тебе скажу. Уха мне ваша понравилась. Но чтоб никому ни слова.

Дед Аверя наклонился ко мне поближе и сказал:

– Голова-то моя, конечно, летает. Но не шибко далеко – километров на пятнадцать.

Глава XVI

Давай-давай, матушка!

Бедняга мой друг-капитан-фотограф все-таки надорвался.

– Ты что говоришь, дед? – сказал капитан, обиженно протирая глаза. – Как так – летает?

– По воздуху, парень, – пояснил дед. – Но не больно высоко, сила земного притяжения мешает. А вдаль, пожалуйста, но тоже недалеко, тело назад тянет.

– Эх, дед-дед, – сказал укоризненно капитан, – старый человек, а чего мелешь?

– Чего мне зря молоть? – усмехнулся дед. – Вот и друг твой видал.

Капитан усмехнулся в ответ.

– Если не врешь, – сказал он, – тогда покажи.

– Чего? – не понял дед.

– Покажи, как она летает.

– Пожалуйста, – ответил дед, – хорошим людям могу и показать.

Дед поднял с земли валенки, которые скинул прежде, сунул в них ноги.

– А то без головы замерзнуть могут, – сказал он, – когда она улетит. Ну теперь, ребята, держись! Сейчас пойдем на взлет.

Он вдруг раскинул, как птица, руки, прищурил глазки, а потом вытаращил их и

зарычал как самолет: ддрдрдрдрдрдр... Головою же он завихлял из стороны в сторону, зверски поглядывая то на меня, то на капитана.

Мы невольно отодвинулись от деда, не зная, чего можно ожидать при взлете человеческой головы. Голова, впрочем, пока не взлетела, а только лишь рычала, вертась.

– Ддрдрдр... стоп, – сказал дед и опустил руки, – чего-то не летит, застряла.

Тут он вдруг хлопнул себя по затылку и закричал, как на лошадь:

– Но-о-о-о... давай-давай! Трогай потихоньку, матушка!

Голова никак не реагировала и крепко сидела на плечах.

Стараясь расшевелить свою голову, дед подтягивал ее за уши кверху и даже, схватившись одной рукою за нос, другой пинал себя в затылок, чтоб оторвать голову от тела. Голова упиралась.

– Вот старый пень! – хлопнул вдруг дед себя по лбу. – Да я же с тормоза не снял!

Он торопливо расстегнул рубашку, выкатил голый живот и, надавивши себя в пупок, сказал:

– Чик! Чик!

– Ддрдрдр... – зарычал он снова и рычал так мощно, что на лбу его выступил пот.

– Вот так всегда с нею мучаюсь, – сказал он наконец. – Стоит как вкопанная. Сейчас сделаем так: я буду мотором работать, а вы кричите: давай-давай! Все вместе-то небось стронем.

И дед зарокотал, раскинув руки, а мы с капитаном – два балбеса под сосной – дружно гаркнули:

– Давай-давай, матушка!

Но голова сидела на месте. Дед уж рычал так и сяк, то и дело чикал себя в пупок, но взлета добиться не удавалось.

– Тьфу! – плюнул капитан. – Так и знал, что все это вранье.

– Напрасно так говоришь, парень, – сказал дед, – обижаешь. Голова старая, поношенная, сразу с места ее не сдвинешь, приходится попотеть.

– Да ты дай ей передохнуть, – сказал я.

– И то верно, – согласился дед, вытирая пот со лба, – пусть передохнет, а то прямо закружилась.

– Вранье, – махнул рукой капитан, – смесь самолета с трактором.

– Ты что ж, не веришь, что ли? – спросил дед.

– Конечно, не верю.

– Мне, Аверьяну? – и дед ударил кулаком себя в грудь. – Мне не веришь? А если взлетит, сапоги даешь?

– Ну уж нет, – неожиданно пожадничал капитан. – Сапоги мне самому нужны.

– А лука даешь три головки?

– Даю.

– Ну смотри, парень, – угрожающе сказал дед и так яростно затряс головой, что она и вправду могла каждую секунду оторваться.

Бешеными порывами, грубо, как мотоцикл, тряслась голова и вдруг обернулась носом в сторону спины.

Дед еще принажал рычать – и медленно закружилась на месте голова. Она вертелась быстрее, быстрее, мелькал только нос и слышался голос:

– Давай-давай, матушка!

И, разинувши рты, мы увидели, как Аверьянова голова отделилась от пиджака и поднялась в воздух над нами. Приподнявшись метра на два, она перестала кружиться и сказала сверху капитану:

– Гони, парень, луку три головки.

Глава XVII

Глыба Разума

Ох и нанюхался же я все-таки болотных газов, нанюхался! Но не знаю, когда именно – здесь ли, в макарке, или когда-нибудь раньше, совсем давно. Только нанюханный может увидеть такую несуразную картинку вроде отрыва головы от пиджака с карманами.

А самая легкая лодка? Она-то откуда взялась? Кому она нужна, кроме нанюханного? Только нанюханный может построить такую лодку и плавать на ней, чтоб нанюхиваться и дальше.

И я всегда знал, всегда предчувствовал, что самая легкая лодка в мире заведет меня неведомо куда. Но только думал, что это будет когда-нибудь потом, немного позже.

И вот прямо перед нами висела в воздухе Аверьянова голова. Она чуть шмыгала носом. Она висела легко и просто, и даже коровы не обратили на взлет ее никакого внимания.

Рядом с безголовым туловом сидели под сосной мы с капитаном.

Зачарованно смотрел капитан на дивное творение природы, висящее в воздухе. Страх и счастье, восторг и полоумие играли в его глазах. Как ребенок, он дергал меня за рукав, тыкал пальцем в воздух.

Я хоть и нанюхался болотных газов, а сидел на месте спокойно. Не дергался, не кричал. В этой чудовищной сцене, когда одна голова болтается в воздухе, а другая сходит с ума, мне была отведена одна роль – роль Глыбы Разума. Неторопливо превращался я в эту глыбу. Каменели лоб и затылок.

– Ты видишь? – толкал меня капитан. – Видишь или нет?

– Вижу, – таяжко, как жернов, провернулась в ответ Глыба Разума.

– Вот ерундовина-то, а?

– Точнее не скажешь, – туго сработала Глыба.

Обнюхивая веточки, Летающая Голова поднялась выше, добралась до сосновой макушки.

– Далеко-то как видать, – мечтательно сказала она, – все леса видны, все озера. Вот так, бывало, люблюсь, люблюсь, насмотреться не могу... Пстой, кто это там на озере? Ну точно, Леха Хоботов. Не мою ли сетку проверяет?

– Вот так дед! – вскрикивал капитан. – У него голова как одуванчик, самая легкая в мире. У нас – лодка, у него – голова.

– А ты еще сапоги жалел, – хихикал сверху дед Аверя.

– Бери! – кричал вверх капитан. – Бери сапоги вместе с луком. Хочешь, дадим тебе лаврового листа?

– А чесноку у вас нету? – спрашивала Голова, опускаясь пониже. – Мне бы чесночку пару зубчиков, но главное – сапоги. Потому как валенки текут.

– Бери! – орал капитан. – Спускайся и бери.

– Ну спасибо, парень, – сказала Голова. – Спасибо, удружил.

И тут тело, которое сидело до этого спокойно, вдруг протянуло капитану руку.

– Что такое? – не понял капитан.

– Спасибо, – повторила Голова, а тело все протягивало руку, как видно, для рукопожатия.

Оглянувшись на меня, капитан робко пожал телу руку. Тулово, однако, на этом не успокоилось. Ткнув меня в бок, оно и мне сунуло руку, а Голова сверху крикнула:

– Спасибо и тебе.

Безголовое рукопожатие немного расшевелило Глыбу Разума, прочистило что-то в каменном мозгу.

– Сапоги не отдам! – крикнула Глыба гранитным голосом. – Луку бери три головки – и точка. Неизвестно, сколько вас тут с летающими черепами, сапогов не напасешься.

– Да нету больше ни у кого! У Лехи Хоботова рука летает, да и то рядышком, возле деревни.

– Не знаю, не знаю, но сапоги нам самим нужны.

Голова обиженно чихнула, повернулась к нам затылком, а тело вдруг зашевелилось. Оно сунуло руку в капитанский рюкзак, нашарило там пакет с луком и, отобравши три луковицы покрупнее, сунуло их в карман пиджака. После этого оно подняло руку к небу и пальцем поманило Голову к себе.

– Ну чего тебе надо? – сказала Голова. – Сиди спокойно.

Но тело изо всех сил махало правой рукой, а левую прижимало к сердцу, умоляя Голову скорей вернуться назад.

– Вот так всегда, – огорченно вздохнула Голова. – Только разойдусь – оно к себе тянет. Ну чего тебе надо, глупое? Дай погулять-то!

Тело разволновалось. Вскочив на ноги, оно подпрыгнуло, чуть не ухватив Голову руками.

Голова увернулась, прикрикнув:

– Цыц! На место!

Тело прыгнуло еще раз, но снова промахнулось.

– Сидеть! – крикнула Голова, отлетая в сторону, а тулово, воздев руки к облакам, побежало за ней.

– Осторожнее! – кричала Голова. – Ногу сломишь! Постой!

Тело не унималось. Спотыкаясь и падая, оно бежало вслед за Летающей Головой.

Голова в конце концов даже развеселилась.

– Не догонишь! – кричала она. – Не поймаешь!

Чуть не плача, тело сделало рывок, каким-то отчаянным козлом подскочило в воздух, схватило Голову за уши и крепко нахлобучило на законное место.

Глава XVIII

Горемыки

Ох, туман, туман. Да что же это за туман в моей-то бедной голове? Какой уж тут гранит, какая Глыба Разума – мутный, полусонный и беспросветный туман. И в тумане этом не моя ли нанюханная оторвалась от земли голова? Прав капитан, прав, нанюхались мы болотных газов, дурмящих болотных трав. Но если я и нанюхался их, то не здесь, не в макарке, а очень-очень давно, в сороковых годах XX века.

Превратившись снова в единое целое, дед Аверя вернулся к костру. Он налил из ведра в миску остатки ухи и залпом выпил.

– Ну ладно, – сказал он, отдуваясь. – Луку хоть заработал на уху.

Дед немного побледнел, видно, устал. Он сел, прислонившись спиной к сосне, прикрыл глаза.

Капитан-фотограф порылся в рюкзаке, достал пару головок чесноку, добавил к ним несколько перьев лаврового листа. Завернув все это в тряпочку, протянул деду.

– А за сапоги прости, – сказал капитан. – У меня-то голова пока не летает. Куда я в болоте без сапог?

Дед молчал, прикрывши глаза.

– Да что, обиделся, что ли? – спросил я. – Из-за сапог?

– Не в сапогах дело, – махнул рукою дед. – Так чего-то жалко стало. Летаешь, летаешь, а толку...

– Так ведь и мы, – сказал я, обняв деда за плечи. – Пльвем, пльвем, а что толку?

– Да, – вздохнул дед, – горемыки мы.

И капитан-фотограф шумно вздохнул, неожиданно почувствовав себя горемыкой. Так мы сидели и вздыхали некоторое время, и особо тяжкие вздохи выпускал, как ни странно, капитан. В конце концов это стало меня раздражать.

– Ты-то отчего горемыка? – спросил я.

– Сам не знаю, – ответил капитан. – Тяжело как-то...

– Вот и я не знаю, – сказал дед. – И голова у меня вроде бы летает, а на душе как-то тяжело.

– А чего твоя голова делает, когда летает? – спросил я. – Чего она делает в воздухе?

Дед хмыкнул:

– Какие же там дела-то могут быть? Никаких делов.

– Значит, только природой любуется?

Дед хихикнул, потупил глаза.

– За воробьями гоняется иногда, – смущенно улыбаясь, признался он.

Тут и капитан хихикнул, сообразив, что не такие уж мы горемыки, если наши шальные головы гоняются еще за воробьями.

– Пора в путь, – строго сказал я. – Дальше, на Илистое озеро. Как, дед, доплывем мы по макарке?

– По макарке не доплыть. Я ее всю заколами перегородил. Плыть надо по Кондратке. А Кондратка вон там, за полем. Лодку недолго перетащить.

Хлюпая по болоту, мы с капитаном добрались до закола, взгромоздили на плечи «Одуванчик», вынесли его к трем соснам. Пока мы собирались, дед Аверя сидел, прислонившись спиной к дереву, и подремывал.

– До свиданья, – сказал я деду. – Спасибо тебе.

– Не за что, – усмехнулся дед. – А вы знаете что? Оставайтесь у меня, а? Пойдем сейчас в деревню, я вас молочком отпою.

– Нам надо дальше плыть.

– Ну, воля ваша, – вздохнул дед. – А как лес проплывете, сразу увидите деревню. Это и есть Коровиха. Там живет мой кум – Кузя. У него и молочком отопьетесь.

– У кума-то Кузи ничего не летает? – осторожно спросил капитан.

– Куда там, – засмеялся дед Аверя. – У него хозяйство. Куры, овцы, корова. Куда ему летать.

Мы надели рюкзаки, подняли на плечи «Одуванчик». Нос лодки лег на плечо капитана, на мое – корма. Неторопливо пошли мы через поле к недалекому лесу. «Одуванчик» раскачивался в такт нашим шагам, скрипели его стрингера и шпангоуты.

– Поклон куму не забудьте! – крикнул вдогонку дед Аверя.

Кондратка и вправду оказалась сразу за полем. Пошире макарки, текла она, прижимаясь боком к старым дремучим елкам. А другой ее берег тонул в луговых цветах. Синие и хрустальные стрекозы летали над Кондраткой.

Мы опустили лодку на воду, и, пока капитан укладывал вещи поудобнее, я оглянулся.

Недолго, кажется, мы шли через поле, а как уже далеко-далеко остались три сосны и маленькая фигурка под ними, взмахивающая на прощанье рукой.

Горемыки мы все-таки, горемыки! Горемыки оттого, что расстаемся друг с другом.

– Подожди минуту, – сказал я капитану и побежал через поле обратно.

Дед Аверя стоял под соснами, грустно опустив летающую свою голову. Мы обнялись на прощанье, и я отдал ему пачку хорошего индийского чая, того, что называется черный, байховый.

Глава XIX

Кумкузя

И течение в Кондратке оказалось куда быстрее.

По макарке медленно влеклись мы, а тут подхватила лодку резвая волна, полетел «Одуванчик» весело и быстро. Капитан вовсе не брал весла, а я чуть загребал и притормаживал, опасаясь коряг и подводных камней.

Но не было в речке Кондратке коряг, вода здесь была синяя и молодая. В ней вспыхивали ослепительные диски – солнечные блики, голавлиные бока.

И птиц было много, и все больше куликов. Они бежали перед нами по берегам, взмахивали белыми хвостами, взлетали с криком.

– Кулики взлетают! – радостно сообщал капитан и добавить к этому сообщению больше ничего не мог.

Развеселила нас Кондратка-речка, отвлекла от горемычной нашей судьбы.

– Кулики взлетают! Кулики! – вскрикивал капитан. – Это не Голова Летающая, а – кулики!

– Летающая Голова куликам не помеха, – заметил я. – Пускай летают и те, и другие.

– Чепуха это, – сказал капитан. – Пускай кулики летают, а голова человеческая на плечах сидит.

В душе-то своей я был согласен с капитаном. Я всегда восхищался полетом куликов. На первый взгляд, вроде и нет у них особого полета, а только взлет с пробежкой по песочку и крик: кууууу-лик! Но есть он, есть полет, который быстро уходит из глаз и еще быстрее из памяти. И с этим бессмертным полетом нечего рядом болтаться человеческой голове.

– И вообще я не верю, что у деда голова летает, – сказал неожиданно капитан.

– погоди, но мы ведь сами только что видели. Летала, еще и чесночку просила.

– Обман это, – сказал капитан. – Чикнул в пупок – и голова полетела. Чушь! Голова наша и с телом-то вместе летать не может. И это хорошо, даже замечательно.

– Чего ж в этом хорошего?

– Телу человеческому летать не нужно, – твердо сказал капитан. – Самое лучшее в человеке – это голова. А тело – чепуха, подпорка и ящик для питания головы. Взять, к примеру, живот – это ведь ужас! Нет, я вовсе не хочу, чтоб мой живот летал. А вот голова – хорошо бы, да не дал Бог.

– А что ты к животу привязался? – сказал я. – Чего он тебе сделал? Пускай и он полетает немного.

– Терпеть не могу живот! – раздраженно отвечал капитан. – Тут уж матушка-природа не расстаралась. Все так здорово придумала в человеке, и вдруг – живот!

– Успокойся, – сказал я, – вряд ли есть на свете летающие животы.

Но капитан не мог успокоиться. Он ругал живот на все корки и совершенно захаял это создание матушки-природы.

Природа же матушка легкою волною несла нашу лодку мимо древних елок и сосен, среди березняков и перелесков, как будто намекая капитану, что ею создано и кое-что получше живота.

Лес, что тянулся по левому берегу, кончился. Вместе с Кондраткой вылетел «Одуванчик» в поле, на простор, и мы увидели деревню Коровиху.

На холмах, рассеченных заборами, лежала деревня Коровиха. Низкие серые дома ползли вверх по склонам, а вниз, к речке, скатывались с холмов баньки. Никаких коров видно не было, но в деревне, в линиях холмов было и вправду что-то коровье.

Разыскав по огородам Кузин дом, мы постучались в окно.

Тут же стекла распахнулись, на улицу высунулась женщина с пунцовыми щеками, в белом платке. Как видно, кума.

– Не здесь ли Кузьма живет? – спросил я. – Аверьянов кум? Мы ему от деда Авери поклон принесли.

Недоверчиво осмотрев нас, женщина захлопнула окно и спряталась в доме. Никаких признаков жизни из окна более не являлось.

Подождав пару минут, я снова стукнул в стекло. Пунцовая кума быстро высунулась

наружу.

– Дома хозяин-то?

– Дома.

– Так пускай на улицу выйдет.

Кума задумалась и, сомневаясь, покачала головой.

– На улицу он выйти не может.

– Что такое с ним? Не заболел ли?

– Да вроде нет, – ответила кума, призадумавшись.

– Ну пускай в окно выглянет.

– Ну уж нет, – сказала кума, – этого никак нельзя. Да вы заходите в дом.

Слегка растерянные, мы с капитаном поднялись в сени, скинули сапоги и вошли в избу. Из открытой двери вкусно пахло рыбными пирогами, топленым молоком. В огромной семиоконной комнате стоял вдоль окон стол, у которого и сидела пунцовая кума. Кума Кузи видно не было.

Отчего-то робея, мы с капитаном прошли в носках по чистым половичкам, присели у стола.

– Где же кум-то Аверьянов, Кузя? – спросил я.

– Кузя-то? – переспросила кума. – Здесь Кузя.

– А где он? Что-то его не видать.

– Да он на печке спрятался, – ответила кума.

Не успели мы с капитаном удивиться, как с печки раздался решительный голос:

– Помалкивай!

Кума прикрыла рот платком, а я обернулся к печке. Лежанка была задернута занавеской, за которой кто-то шевелился.

– Дядя Кузя, – сказал я, – вы там?

– Тут я, на печке, – послышался в ответ кумов голос.

– Спускайтесь сюда, – пригласил я, – мы поклон вам привезли.

– От Авери, что ль?

– От него. Слезайте, познакомимся.

– Зачем же я буду слезать? – сказал кум. – Я ведь спрятался.

Мы с капитаном окончательно оробели.

– Ну мы тогда пойдем, – сказал капитан.

– Куда это? – крикнул с печки кум. – Самовар горячий, садитесь чай пить.

– Как же мы будем чай пить, если хозяин прячется?

– Да пускай прячется! – встряла кума. – Эка невидаль!

– Помалкивай! – немедля крикнул кум. – Неси молоко! Рыбник ставь! Только и знает языком болтать.

Кума метнулась в сени, притащила горшок молока, вытащила из печки рыбник, который был похож на перевернутый кверху дном коричневый таз.

В пироге что-то тихо и яростно клокотало.

Из-под ржаной корки, из трещинок в пропеченном тесте струился лучной и рыбный пар. Так и хотелось отодрать корку, глянуть, кто там таится под ней.

– Самовар-баранки! – крикнул кум, и баранки с самоваром явились на стол.

Самовар завывал и гнусавил носом, булькал рыбник, тихо шептала что-то пенка парного молока – все двигалось и жило на столе, даже баранки чуть шевелились, легонько подталкивая друг друга маковыми боками.

Скромно положив руки на колени, недвижно сидели мы, не понимая, можно ли пить чай, если хозяин прячется. Капитан пришел постепенно к выводу, что это невозможно.

– Мы вам, наверное, помешали, – сказал он, вставая. – Зайдем в другой раз.

– Куда это? – крикнул кум с печки. – Пейте чай. Рыбник ешьте.

– Нет, нет, не можем, – мотал головой капитан. – Не можем, когда хозяин прячется.

– Да пускай прячется, – не выдержал я и протянул руку к пирогу. – Попробуем рыбника.

Капитан хлопнул меня по руке и сказал:

– Пошли.

Пришлось встать, но тут же кума ухватила меня за локоть и стала уговаривать.

– Нет, нет, – твердил капитан, – дядя Кузя, очевидно, нас напугался. Мы пойдем.

– Да я не напугался, я так просто спрятался.

– А для чего?!

– Сказать, что ли?! – задумался на печке кум.

– Давай я скажу! – не утерпела кума.

– Помалкивай!

– Ну дай же сказать-то! – крикнула кума. – Очень уж хочется.

С минуту они торговались, кому сказать, наконец кума переборола мужа, наклонилась к самовару и сказала тревожным шепотом:

– Его оса укусила.

Глава XX

Где Кумкузя чай пил

Капитан измученно вздохнул и сел на место, пытаясь понять, что, собственно, было сказано.

– Оса? – переспросил он. – Большая оса?

Слово «большая» он раздул так сильно, как будто подозревал осу величиной с теленка.

– Большая, батюшка, – ответила кума, снижая все-таки размер осы до барана.

– И куда ж она его укусила? – осторожно спросил капитан.

– В щеку, – шепнула кума.

– И чего ж он прячется?

– Помалкивай! – грянуло с печки, но кума не могла удержаться и быстро прокричала:

– Всю рожу разворотило, неловко людям показаться, он и спрятался.

Кум грозно елозил на печке и чуть не рычал, возмущенный болтовней супруги.

– Дядя Кузя, – сказал капитан, – что за ерунда? Что мы, укушенных, что ль, не

видали? Слезайте с печки.

– Не могу, – ответил Кузя, – стесняюсь.

– Кончайте стесняться, подумай – ерунда.

– Никак не могу, – ответил кум, – очень уж сильно стесняюсь.

– Вот он какой у нас человек! – с некоторым восхищением сказала кума. – Другие с такой рожей вылезли бы на улицу людей пугать, а Кузьма Макарыч не может.

– Прекратить болтовню! – рявкнул кум.

– Кузьма Макарыч, – сказал я, – слезайте, пожалуйста. Посидим вместе, чайку поьем.

– Вы пейте, а я тут буду лежать.

– Ну нет, – сказал капитан, – если не слезете, уйдем!

Капитан встал, и снова кума ухватила его за рубаху, а другой рукой придавила меня к столу.

– Уйдем, и все! – вскрикивал, вырываясь, капитан.

– Стойте! – крикнул кум. – Я слезу!

Кума отпустила нас, и капитан, взволнованный победой, плюхнулся за стол.

Кум слезать, однако, не торопился, и волей-неволей заворуженно глядели мы, когда же, черт возьми, откроется занавеска.

Наконец дрогнул голубенький ситец, и появилась кумова голова, которая оказалась в зимней солдатской шапке, шнурками завязанной на подбородке. Под шапку накручена была розовая тряпка, из которой, как булыжник, выпирала вбок укушенная щека. Стараясь не смотреть на щеку, мы пожали куму руку, кума нацедила всем чаю.

Мы обрадовались было, что Кузя с нами, но быстро поняли, что радость преждевременная. Рот кумов был намертво замотан тряпкой, так что чаепитие не могло состояться.

Тут все стали уговаривать кума, чтоб он ослабил узел. После долгих запирательств и мотаний головой Кузя ослабил путы, выпустил из тряпки свежерыжие усы и глотнул чаю. Все облегченно вздохнули.

– Вы рыбник-то любите есть? – спросил кум, поворачиваясь к нам неукусенной щекой.

– Любим, – радостно отозвались мы с капитаном.

– А чай пить?

– Очень любим, – ответил капитан, – Мы из Москвы, а там все чай пить любят.

– Я в Москве-то бывал, – похвастался кум. – Чай в Москве пивал.

Я подвинул к себе рыбник и ласково отодрал его верхнюю корку. Пар лучной и рыбный, который прежде чуть пробивался сквозь крышку, теперь хлынул в комнату. Огромный карась с головою и хвостом лежал под коркою абсолютно запеченный.

Отломив от крышки кусок, я ухватился за карасевую голову. Капитан взъерошил бороду и вцепился в карася с другой стороны.

Широко открывши глаза, глядели кум и кума, как мы взламываем рыбью голову, как сыплются на стол обсосанные бронзовые щеки, хрустальные втулочки, винтики, костяные трапеции, из которых построена карасевая голова.

– А вы в Вологде-то пивали чай? – спросил кум.
– А как же! – мычал капитан. – Пивали.
– А в Архангельском?
– Пивали.
– И я тоже! – крикнул кум и весело ударил ладонью об стол. – Значит, мы теперь как родные! А вот я интересуюсь, вы в Харькове пивали чай?
– Нет, не пивали, – признался капитан.
Кум засмеялся потихоньку.
– А я и в Харькове пивал, – радостно сообщил он. – Да вы не поверите, если скажу, где еще чай пивал.
– Где же?
– В Хабаровске! Вот где! Уж там мало кто чай пивал!
– Это редким человеком надо быть, чтобы в Хабаровске чай пивать, – сказал капитан подхалимским голосом.
– Вот я и есть такой человек! – счастливо засмеялся кум.
– Кузьма Макарыч, – сказал я, – а вы с Папашкой, случаем, не пивали чай?
– Что ты, батюшка! Какой чай с Папашкой? Что ты говоришь?
Кум, показалось мне, немного напугался. И кума, прикрывши рот кончиком платка, выглянула в окно. Мой неловкий вопрос заглушил беседу, и некоторое время все молча пили чай.
– Извиняюсь, Кузьма Макарыч, – сказал капитан, – а вы знаете про Папашку?
– Что ты, что ты, батюшка. И слушать не хочу. На кой он мне?
– Странно, – сказал капитан, – живете рядом с Илистым озером, а Папашку не знаете. Вы что ж, на озеро не ходите?
– Ходить-то ходим, – стеснительно ответил кум, – да к воде не подходим.

Глава XXI

Илистое озеро

«Одуванчик» наш спокойно и быстро плыл по Кондратке, и снова по берегам взлетали кулики, выдры или ондатры шевелились в тростниках, над которыми вставало солнце.

Переночевав у кума на сеновале, с восходом отправились мы дальше и рассчитывали чай утренний пить на берегах Илистого озера.

А восход был необыкновенный, невероятный какой-то восход. И багровый туман, и бледное солнце, и по-ночному еще темные воды, и елки остроголовые – все это смешивалось перед нами и вокруг нас и лежало слоями, и не понять, в каком слою был «Одуванчик» – то уходил он с поверхности реки в туманные струи, то плыл прямо по еловым верхушкам.

И долго так плыли мы, и, если бы пришлось плыть обратно, я никогда бы в жизни не узнал этих берегов – никаких примет, кроме елок, тумана да солнца, выходящего к нам то справа, то слева.

Наконец туман немного развеялся, речка вдруг сузилась, вдруг расширилась, снова

сузилась, и тут открылось Илистое озеро.

Оно лежало среди лесов, и с одного его берега возвышался голый холм, а на другом желтело моховое болото, заросшее мелким сосняком.

Посреди озера подымался из воды маленький, длиною в пять шагов, островок. Он зарос травой, среди которой виднелись и белые цветы. Издали показалось, что это таволга.

– Подплывем к острову? – спросил капитан. – Или туда... на берег.

– Давай к острову, – сказал я, – а на берег потом.

Дружно и как-то особенно сильно и старательно мы ударили веслами, и в тот же миг лодка ткнулась носом во что-то твердое. Послышался странный звук, который я бы назвал «чпок», и сквозь оболочку лодки выскочил между бамбучин короткий и черный, острый и злой клык. И сразу же фонтаном брызнула в лодку вода.

Будто подброшенный, вылетел из лодки в небо капитан-фотограф. Каким-то неловким колесом в болотных сапогах и с крыльями он ухнул боком в черную воду.

Я вскочил, упал на колени, схватился за клык, сжал вокруг него оболочку. Фонтан угас, но вода струилась между пальцев.

Вцепившись рукой в борт, вынырнул капитан-фотограф. Лицо его было торфяным.

– Это сучок! – бормотал он, отплеываясь. – Держи воду, держи! Сейчас я выдерну сучок.

Я и так изо всех сил «держал воду», но удержать никак не мог. Она хлестала между пальцев.

– Там, в рюкзаке, пластырь! – кричал капитан. – Я выдерну сучок, а ты ищи пластырь.

Одной рукой сдерживая воду, я шарил по рюкзаку, но вместо пластыря попадались мне малосольные огурцы, которые дал нам на дорогу кум. Капитан выдернул сучок, и вода хлынула в лодку изо всех сил.

– Пластырь, скорее пластырь, – булькал и хрипел капитан. Он зажимал снизу дырку ладонью.

Пластырь нашелся наконец, но пластины его слиплись между собой, и, пока я отдираю их, вода все прибывала. Отодрав одну пластину, я отдал ее капитану, и он как-то подвел ее к дырке, наклеил.

Я лепил пластырь сверху, изнутри лодки. В воде пластырь наклеился плохо, но все-таки кое-как прицеплялся к мокрой ткани. Течь понемногу прекратилась.

За какие-то две минуты в «Одуванчик» набралось столько воды, что я уже промок по пояс. Выхватив из рюкзака котелок, я стремительно стал отчерпываться.

– Давай к берегу! – кричал капитан, плавая вокруг лодки.

Пристроившись к корме, он сильно толкнул «Одуванчик» к берегу. Я хватался то за весло, то за котелок, берег приближался, а воды в лодке не убавлялось, она сочилась сквозь криво наклеенный пластырь. Коряга, на которую мы напоролась, плыла отчего-то за нами. Полузатонувшая, она была сплошной скользкой гнилью и трухой, только лишь один острый и крепкий сучок сохранился в ее старом теле.

Нос лодки ткнулся наконец в прибрежную траву, капитан-фотограф вывололся из воды, и мы сразу подхватили «Одуванчик» на руки, потащили его подальше от озера, на

холм.

На вершине мы остановились, перевернули лодку вверх дном.

– Где спички? – бормотал капитан, стаскивая с себя мокрую рубаху, галлонами выливая воду из сапог.

Спички, конечно, намокли, промокло все, что могло промокнуть, только фотоаппарат, который капитан таскал с собою, но так и не открыл до сих пор, остался сухим. Он был засунут в сверхнепромокаемый мешок.

Каким-то чудом мне удалось извлечь огонь из газовой зажигалки, и костер в конце концов запылал. На веслах, воткнутых в землю, развесили мы мокрую одежду, стали разглядывать пробоину. Она была невелика, размером в пять копеек, и залепить ее было нетрудно.

– Это все Папашкины штучки, – сказал капитан. – Это он подсунул корягу. Не хотел, чтоб мы на остров вылезли. Он на этом острове сам на солнышке греется.

– Ладно тебе, – сказал я, – помалкивай. Пошли за дровами.

В лесу, лежащем за холмом, полно оказалось белых грибов. Окутанные мхом, осыпанные хвоей, они стояли вдоль по опушке, и трудно было удержаться – не сорвать гриба.

Вместе с дровами натаскали мы грибов, и капитан затеял сварить грибную похлебку.

Пока сушились вещи, пока варилась похлебка, я взял удочку и спустился вниз, к озеру, к воде.

У подножия холма в заливе я увидел два плота. Они стояли рядышком под черемухой. Один плот был старый и гнилой, а другой – на вид совсем новый, крепкий. Бревна, составляющие его, скреплены были железными скобами. Ни весла, ни шеста я не нашел. Срубил сухую березку, забрался на плот. Я решил доплыть до островка и половить там.

Березой я попробовал упереться в дно, чтоб оттолкнуть плот, но дна не достал. Тогда взмахнул березой как веслом и, загребая то с одного борта, то с другого, медленно поплыл к острову.

Неожиданно начался ветер. Он дул мне навстречу, и скоро я понял, что стою на месте. Бросил грести, и ветер отогнал меня к берегу.

– Ну и ладно, – сказал капитан. – Там, на острове, Папашка тебя живо схапает. Лови с плота.

Я закинул удочку и очень долго глядел на поплавок, который, чуть покачиваясь, стоял в воде. Рыба не брала.

Перебросив удочку, я случайно зацепился крючком за соседний плот. Дергая лесу, я старался отцепить крючок, но ничего не получалось. Примерившись, я прыгнул на середину второго плота.

Ни минуты не раздумывая, плот затонул, и я с головою ушел в воду.

На редкость колючей, холодной и душной показалась мне вода Илистого озера. Прежде чем вынырнуть, я на миг приоткрыл в воде глаза и увидел под светлой поверхностью озера темный провал, ведущий на дно. Из провала подымалось ржавое облако ила, в котором поблескивали зеленые угольки.

– Я уж думал, – все, тебе конец! – взволнованно кричал капитан, подбегая к берегу.
– Папашка за ногу сдернул! Бросай рыбалку, пойдем лучше похлебки похлебаем!

Похлебка из белых грибов получилась у капитана густой, наваристой. Серповидные и круглые куски грибов были мягки, как масло.

– Как думаешь, – сказал капитан, – вправду здесь Папашка живет?

– Что ж такого. Есть же в Англии озеро Лох-Несс, в нем, говорят, живет чудовище.

– Мне кажется, в нашей стране чудовищ нету.

– Кто знает.

– Интересно было бы сфотографировать Папашку.

– Действительно, – сказал я. – В чем, собственно, дело? Почему ты до сих пор ничего не фотографировал? Даже камеру не достал?

– А нечего было.

– Чего нечего?

– Фотографировать.

– Вот так раз. А Багровое озеро? А макарка? А Кумкузя со щекой? А Летающая Голова?

– Летающую Голову можно было бы щелкнуть, да ведь никто бы не поверил, что кадр подлинный. Сказали бы – монтаж. Потом иди доказывай. А на Багровом снимать было нечего – трава да вода. Не кувшинки же щелкать для девушек.

– А Кумкузя?

– Да кому он нужен со своею щекой? Он бы и сниматься не стал, такой стеснительный.

– Странно у тебя получается, везешь с собою камеру, а даже и не щелкнешь.

– Будет кадр – щелкну. А пока кадра нет, чего зря щелкать?

– Когда же будет этот кадр?

– Не знаю, но когда-нибудь будет. Его можно ждать хоть всю жизнь.

Капитан меня озадачил. На мой-то взгляд, нас окружали десятки и даже сотни кадров. Прямо отсюда, не сходя с места, я мог бы нащелкать целую пленку – и лес за озером, и остров, и наш костер, над которым болтались носки на каких-то невероятно корявых палках. И носки, и палки, и озеро казались мне необыкновенными и невиданными никем в мире.

– И вообще-то, – сказал капитан, – вообще-то зачем фотографировать? Я хоть и фотограф, но в принципе против фотографии. Долой вообще эти камеры. Видишь мир – так и фотографируй его глазами, щелкай ими, хлопай вовсю. Снимай кадр и отпечатывай в душе на всю жизнь.

– Не знаю, – сказал я. – По-моему, это какая-то чушь – фотограф, который не фотографирует. Ну а для меня ты можешь снять кадр? Сними хоть меня-то у костра.

– Вот еще, – сказал капитан. – Чего тебя снимать? Неохота.

– Ну а Папашку? Папашку можешь снять для меня?

– Папашку? Ну что ж, может, это и вправду будет тот кадр – один на всю жизнь. Да вот я не знаю, можно ли вообще снимать Папашку? Ведь не все можно снимать, что снимается. Ну ладно, на этот раз рискну.

Капитан задумался, взял аппарат, треногу, спустился к озеру. Пока я сушился, он то

уходил от костра, то возвращался. Попросил у меня самый большой крючок и самую крепкую леску. Отрезал кусок сала, взял топор и унес все это.

Я пошел к берегу посмотреть, что он делает.

Кусок сала капитан насадил на крючок и положил его на камень, лежащий на берегу у самой воды. Леска тянулась от крючка к фотоаппарату, который стоял неподалеку на трех алюминиевых ногах. На березке висел и черный ящик с батарейками, из которого выглядывало зеркало вспышки.

– Расчет простой, – пояснил капитан. – Папашка вынырнет и схватит сало. Дернет за леску, и тут аппаратура сработает.

– А если Папашка утащит под воду аппарат?

– А топор-то на что?

В землю, неподалеку от камня, капитан врыл топор – острием вверх. Леска лежала на лезвии топора, и при сильном натяжении, по расчетам фотографа, топор должен был ее разрезать.

...Приблизился вечер. Стемнело. С того берега, из болот, потянулся холодный туман.

Мы пили чай у костра и смотрели, как неподвижно лежит, не шевельнется среди лесов Илистое озеро.

Глава XXII

Папашкина ночь

И снова к полуночи явился над озером туман. Он заволок поверхность воды, спрятал остров, укрыл подножие холма, только до вершины, где сидели мы с капитаном, не добрался.

Костер угас, и мы разгребли уголья, постелили еловые ветки и легли на землю, нагретую костром. Жар земли охватил нас, и казалось, что мы лежим внутри горячего черного шара, заброшенного с Земли на другую планету.

– А мне кажется, мы у Папашки в брюхе, – шептал капитан.

С озера не слышалось ни шелеста, ни плеска. Тихо было в лесах и болотах, только очень далеко, у деревни Коровихи, скрипел однообразно дергач.

В жаркой темноте отяжелела голова, я приклонил ее к плечу капитана, и капитан прикорнул, и мирно уснули мы на берегу Илистого озера рядом с многоглавым Папашкой.

Странные далекие сны пришли ко мне. Мне приснилась скульптурная группа «Люди в шляпах», Орлов и граммофон, девушка Клара Курбе. Милым, добрым был мой сон и длился долго...

Пробудился я часа через три-четыре.

Тьма была непроглядная, а с озера слышалось негромкое бульканье, будто ручей потек с холма. К бульканью добавились вздохи и шипенье.

– Пар спускает, – шепнул капитан, просыпаясь.

– Чего?

– Папашка пар спускает. Высунул хобот из воды и дышит. Слышишь?

Бульканье затихло, и теперь с озера не доносилось ни звука, и все-таки я слышал что-то, а что – не понимал.

– Он на берег вышел, – шепнул капитан. – Сейчас на холм полезет.

Приподнявшись на локте, я вслушивался, и верно, чудилось – шаркают босые огромные ноги по мокрой траве. И мерещилось – оживает озеро, шевелится, дрожит, а холм поворачивается медленно, круче наклоняется к озеру, чтоб сбросить нас в воду.

– Сюда идет, – тревожно шептал капитан. – Неужели сало не заметил? Сало-то белорусское, с чесноком!

Прижимаясь ко мне, капитан шептал о сале, цепляясь за него как за последнюю надежду. Все страшно, все зыбко, все непонятно было в окружающей нас ночи, кроме куска сала, лежащего где-то на берегу.

«Какой черт занес нас сюда? – думал я. – И чего мы хотим? Только глянуть, есть ли и вправду на земле Папашка? Но зачем это дурацкое сало на крючке? Вот схватит сейчас капитана да рявкнет: „Сало, подлец, на крючок насаживаешь! Хочешь поймать на кусок сала?“»

– Зря я с этим салом связался, – вздохнул потихоньку капитан. – Вопьется крючок Папашке в губу – вот заорет-то! Пойдет крушить направо и налево!

– Тише, – шепнул я.

Теперь уж совсем неподалеку слышались шаги. Без гула земли, без топота – скользкие и летящие. По траве ли, по воздуху?

«Ауа, – послышалось, – а-а-у-у-а...»

«Папашка! Это Папашка! – думал я. – Неужто сожрет и сало, и нас с капитаном?»

Когда мы плыли на озеро, я еще не знал, еще не понимал, есть ли и вправду на белом свете Папашка, и только сейчас, ночью, понял, что он – рядом. Что же он сделает сейчас – протянет ли из темноты руку, чтоб схватить нас, или ласково погладит по голове думающего о сале капитана? А может, просто глянет всевидящим оком и уйдет, не сказавши слова?

Черные руки летали в темноте перед моим лицом – искали нас с капитаном.

«Ауа, а-а-у-у-а-а...»

Я совершенно затаил дыхание и боялся, что капитан откроет рот и брякнет что-то о сале. Но капитан дышал тихонько, как мотылек.

Душная и мрачная Гора надвигалась на нас, вот-вот навалится на грудь и плечи. Я задохнулся, еще бы минута, и, наверно бы, закричал, но Гора отодвинулась, скользнула за спину, с озера повеял ветерок. Ни шага, ни шелеста не было больше слышно. Пропал Папашка – то ли прошел мимо нас, то ли пролетел над нами.

– Прошел, – шепнул капитан. – Не заметил.

И ночь над нами внезапно зашевелилась. Подул ветер – ночь сдвинулась в сторону. За дальним берегом, за болотами объявилась в небе серенькая полоса. Она отделила небо от земли, отразилась в озере, и стал виден на воде маленький темный островок.

Близкий рассвет обрадовал нас. С надеждой смотрели мы, как расширяется его полоса, наливаясь розовым чайным тоном. Только остров на озере был черен и густ, как бархат. Не островом казался он сейчас, а спиною дракона, выставившего гребень из воды.

– Смотри-ка, – сказал капитан и схватил меня за руку. – Смотри на остров... Он шевелится...

– Не болтай... – прошептал я.

– Шевелится, говорю! Плывет по воде!

Я всматривался в черный гребень – нет, не плыл, не шевелился остров, это волны, поднятые ветром, колыхали его, притапливали и подымали.

Сбоку где-то зашелестели камыши... И вдруг раздался плеск, потом гулкий удар по воде – и мигнуло электричество на берегу.

– Вспышка сработала! – крикнул капитан, сорвался с места и побежал к берегу.

Я поспешил за ним.

В предутреннем свете мы увидели, что ни фотоаппарата, ни треноги, ни сала на крючке нигде нету. Только топор, врытый в землю, торчит острием вверх.

Дрожь била капитана.

– Смотри же! – сказал он и указал в озеро омертвевшим пальцем.

Я оглянулся и увидел, что и острова, заросшего болотными травами и таволгой, не видно нигде.

Глава XXIII

Папашкин след

С рассветом снова запылал на холме наш костер.

Мы вскипятили чай и, попивая его, глядели на озеро.

Ни травинки не подымалось из воды в том месте, где вчера еще был остров. Налетела стайка чирков, опустилась на середину.

– Бывают на свете плавающие острова, – заметил я.

– Бывают, – устало согласился капитан. – Но это был не остров, а Папашкин хребет.

– Таволга там росла, – сказал я. – Таволга.

– Какая таволга? Ты еще молочай поищи! Шерсть рыжая, аж зеленая, а на ней – пена. Не пойму только, зачем ему фотоаппарат.

С капитанским аппаратом действительно было все непонятно. Куда он пропал, куда девался?

Мы обшарили весь берег, прибрежную траву и кусты. Не было видно никаких следов – ни зверя, ни человека. Шестом пытались шарить в воде, но дна не достали. Сразу же у берега начиналась адская невыносимая глубина – бездна.

– Папашка это, – сказал капитан. – Засосал камеру вместе с салом, а треногу где-нибудь на глубине выплюнул.

Сверху, с холма, было хорошо видно, как четко отпечатались на седой от росы траве наши с капитаном следы. Они вели от костра к берегу и обратно.

Никаких других следов не было. Но в некоторых местах трава была не седой от росы, а зеленой. Здесь она была суха, будто кто-то слизнул росу. Суха, но не примята.

– Это и есть Папашкин след, – сказал капитан. – Он траву не мнет, идет, чуть касаясь.

– Отчего же трава высохла?

– Подошва горячая.

Еще раз внимательно я оглядел зеленые пятна. Они были велики и казались бесформенными. Ни звериного, ни человеческого следа не угадывалось в них. Пятна подымались от озера на холм.

– Как же он не наступил на нас?

– Пожалел, – пожал плечами капитан.

– А может, и наступил, да мы не заметили. Я чуть не задохнулся.

– Ты думаешь, у него такая легкая нога?

– Почти воздушная.

Мы замолчали, пытаюсь хоть как-то связать воздушную ногу с утонувшим островом. Но это никак не увязывалось, и если утонувший остров был и вправду хребтом Папашки, то откуда у такого чудища воздушная нога?

– В конце концов все можно объяснить, – сказал я. – Сало схватила здоровая щука или выдра, а остров утонул сам по себе.

– А воздушная нога?

– Какая нога? Ты что, видел ее? Хватит с нас Летающей Головы!

– Ты ничего не понимаешь, – сказал капитан, – все дело в том, что мы перешли границу.

– Какую?

– Нормальную границу. Границу нормальной жизни. Я думаю, что это случилось на Багровом озере, а мы и не заметили. Как только у деда Авери оторвалась голова, я сразу понял – мы в ненормальном мире.

– С головой это действительно черт знает что, – сказал я, – но в остальном все в порядке. А остров сам по себе утоп, бывает.

– Ну нет, – сказал капитан, – если голова летает, значит, и все остальное – чушь. Мы в ненормальном мире.

– А Кузя как же? Кум Кузя-то здесь живет! Чем Кузя ненормальный?

– Кузя – нормальный. Но и в ненормальном мире может жить хоть один нормальный человек. Так и Кузя, живет кое-как, чай пьет, стесняется.

«Прав капитан, прав, – думал я. – Мы в необычной, волшебной стране. Ну и что ж такого? Для этого я и строил „Одуванчик“, чтоб попасть в места необыкновенные».

– Что ж теперь будем делать? – спросил я.

– Дальше плыть. На Илистом озере мы побывали, надо теперь добраться до Покойного. Вон там, в том углу, очевидно, протока, которая ведет в Покойное.

Капитан затоптал костер. Спустившись к воде, смело ступил на плот, ополоснул ведро и котелок.

– Нам нечего бояться, – сказал он, – плывем себе, никого не трогаем.

Капитан был, конечно, прав. В конце концов, головы летают, острова тонут, а нам-то надо плыть дальше.

Спокойно, неторопливо собрали мы вещи, уложили рюкзаки, спустили на воду «Одуванчик». Пробоину залепили мы крепко, надежно, течи не было.

Капитан, как всегда, устроился на носу, я – в корме, и вот уже плавно пошел

«Одуванчик» через Илистое озеро. Спугнув чирков, проплыли мы и над тем местом, где затонул островок. Напряженно всматривался я в воду, и мне казалось – вот сейчас подыметесь остров и мы окажемся на мели, на Папашкином хребте. Но никто не подымался со дна, спал, видно, Папашка, сосал капитанское сало.

– Вон и протока, – указал капитан.

Среди моховых низкорослых сосен бежал по болоту узкий ручеек – протока, ведущая к Покойному озеру.

Неторопливо вошел в нее «Одуванчик», несколько взмахов весла, и пропало за спиной Илистое озеро вместе с Папашкой, дремлющим на дне.

– Интересно, – сказал капитан, – как называется эта протока. Там у нас была Кондратка, а это что?

– Акимка, наверное, – сказал я.

– Акимка, – повторил капитан. – Неплохо.

Тихо текла Акимка среди моховых сосновых болот. Кончились болота, пошли по берегам луга. Лес то подходил к воде, то отступал подальше. Ни стога на лугу, ни забора, ни срубленного дерева в лесу – никаких признаков человека не было вокруг – чистый, нетронутый мир.

– Как тихо, – сказал капитан, – как спокойно. Знаешь, что, давай договоримся, если что-нибудь произойдет там, впереди, не будем удивляться или пугаться. Нас ведь, пожалуй, теперь ничем не удивишь.

– Идет, – сказал я, и мы с капитаном пожали друг другу руки.

Довольные таким уговором, поплыли мы дальше, никак не ожидая, что удивиться нам придется через десяток минут.

Акимка вынесла лодку на широкий солнечный луг, и мы увидели на берегу кусты козьей ивы, за ними – забор и где-то неподалеку за забором – крышу, крытую еловой щепой. Меж кустами козьей ивы бродили козы с козлятами.

Но ни забор, ни крыша, ни козы не удивили и не напугали нас.

На мостках, которые спускались к воде, стоял странный человек и приманивал нас издали пальцем.

– Эй! – покрикивал он. – Давайте сюда! Я уж вас жду-жду, никак не дождусь.

– Только не пугайся, – шепнул капитан, и я не напугался, не выпал из лодки, я стал шарить в рюкзаке в поисках малосольного огурца.

Перед нами на берегу Акимки стоял на мостках художник Орлов.

Глава XXIV

Сила малосольных огурцов

Если б не малосольные огурцы, я, наверно, с ума бы сошел.

В кармане рюкзака нащупал я огурец, данный нам кумом Кузей, вытащил его и откусил с хрустом.

– Оставь огурчика! – кричал Орлов, к которому мы неминуемо приближались. Удивительно, как это он издали разглядел, что я ем.

Нос лодки уткнулся в песок, я вылез на берег. Мы обнялись, мешая огурцу.

В жизни я и прежде не раз полагался на малосольные огурцы. В печали и в радости огурец был мне верный товарищ, помогал найти себя, принять решение.

Стоит порой в минуту колебаний откусить огурца – и вдруг просветляется взор. Если есть в голове твоей усталая мысль, если есть на душе тревога и туман, огурец всегда отведет ее, сгладит, оттянет. Малосольный огурец оттягивает.

Полупрозрачный, пахнувший укропом и окрепшим летом, совсем немного соли добавляет он в нашу жизнь, но облегчает душу.

О, лекарственный!

Капитан-фотограф выудил из рюкзака еще пару огурцов, сунул огурчик Орлову, и с минуту мы трое хрумкали, разглядывая друг друга.

Я молчал, ожидая, когда прочистятся мозги, когда начнет действовать целебная сила огурца. Но мозги не прочищались, а вся сила малосольного снадобья ушла на то, чтоб немного меня успокоить.

Я глядел на Орлова, я глядел на старого друга, узнавая родное московское лицо. Вот – нос, вот – бледный глаз, вот и орел усов расправляет крылья. Боже мой! Московское лицо! Откуда оно взялось?

Нет, никак не могло оно, московское лицо, оказаться здесь, неподалеку от Илистого озера. Оно осталось далеко-далеко, там, в нормальном мире, и никакой огурец не в силах был объяснить его появление.

Между тем огурец капитана оказался мощней моего. Засосав препарат вместе с хвостом, капитан хлопнул Орлова по плечу.

– Орлов, – удивленно сказал он, – ей-богу, это Орлов!

– Конечно, Орлов, – сказал Орлов. – А кто же еще? Конечно, это я – Орлов.

– А откуда ты взялся?

– Из Москвы, откуда же еще... Решил вас догнать.

– Да как же так? – продолжал капитан. – Как же это «нас догнать»? Догнать-то ведь нас невозможно.

– Почему это невозможно? – хмыкнул Орлов. – На автобусе я доехал до Керосинова, ну а уж оттуда до Коровихи пешком...

– Автобус, – повторил капитан и потер лоб, мучительно вспоминая, что означает это слово. – Непонятно, – сказал он, обернувшись ко мне. – Автобус...

Я молчал, цепляясь за огурец. Никакой автобус на свете не мог привезти сюда Орлова, и все-таки Орлов стоял передо мной и говорил:

– Чего ж тут непонятного? В Керосинове все знают, что два каких-то типа по болотам лазят. Я и пошел в Коровиху, а Кузьма Макарыч сказал, что вы поплыли на Илистое. Тогда я и решил вас перехватить, и Кузьма Макарыч привел меня сюда, к шурина своему. Это ведь дом его шурина, Шуры.

И Орлов махнул рукой в сторону крыши за забором.

Все вроде было просто. Орлов сам помогал огурцу, прочищал нам мозги, которые отчего-то отказывались прочищаться.

Капитан достал еще огурец и принялся обдумывать эту простоту. По огурцу капитанскому складывалось, что всего этого быть не могло, слишком уж просто и подозрительно.

Но чего уж такого подозрительного? Вот стоит Орлов, чистый и ясный, старый друг, смотрит на меня с печалью. Он явно не понимает, почему я не прыгаю от радости, не обнимаю его, не хлопаю по плечам.

– Решил нас догнать, – задумчиво сказал капитан. – Ты решил нас догнать. А зачем?

– Что зачем?

– Зачем тебе нас догонять? Сидел бы себе в Москве.

Орлов слегка нахмурился.

– Я догонял не тебя, – сказал он капитану. – А его.

– Догнал ты нас обоих, – сказал капитан, решительно откусив огурца. – Так что объясни – зачем?

– Погодите, ребята, – сказал я, – давайте присядем. Орлов, дорогой мой, как я рад тебя видеть! Ведь ты мне сегодня снился! Как же это ты нас догнал?!

Я обнял Орлова, усадил его на травку, сам присел рядом.

– Ты понимаешь, – объяснил я Орлову. – Мы тут в таких местах побывали, такого понавидались, что немного... устали... не обращай внимания. Ты-то на автобусе, а мы-то – по болотам... Да присядь ты, капитан, посиди, успокойся.

– Пускай объяснит, зачем нас догонял, – жестковато повторил капитан.

– Ты понимаешь, – сказал Орлов и положил руку мне на плечо, – трудно объяснить, зачем догонял. Просто душа за тебя болела. Лодку мы строили вместе, а поплыл ты один. Нехорошо, что я бросил тебя. Вот я и решил догнать. Нельзя так в жизни бросать друг друга. Должны уж как-то вместе. Вместе строили – вместе надо плыть. Понимаешь?

– Ну конечно, – сказал я, – конечно, понимаю.

– А я не понимаю, – сказал капитан. Он по-прежнему стоял в стороне, не желая подсаживаться к нам.

– Садись, – протянул я ему руку, – чего ты не понимаешь?

– Не понимаю, как он мог нас догнать. Ведь он знает, что в лодку влезает только два человека. А нас уже двое.

– А ведь правда, – вспомнил я, – в лодку влезает только два человека. Как же теперь быть?

– Вдвоем и поплывем, – сказал Орлов и хлопнул меня по плечу.

– А капитана куда девать?

– А он пускай домой едет, автобусы ходят через день. Поплавал, и хватит.

Совершенно посеревший капитан, прищурившись, смотрел то на меня, то на Орлова.

– Да ты не обижайся, – сказал ему Орлов, – ты меня просто на время заменил. Мне ведь тоже охота поплавать. А мы и бамбук вместе доставали, и лодку вдвоем строили. Понимаешь?

– Понимаю, – сказал капитан, – прекрасно понимаю, что все это Папашкины штучки. Вначале хотел нас подошвой раздавить, а теперь вон что придумал – Орлова нам подсунул, чтоб мы дальше плыть не могли. Но только ни черта из этого не выйдет. С лодки я не слезу.

– Что ты говоришь? – сказал Орлов. – Какой подошвой? Какой Папашка?

– Тот самый Папашка, двухголовый. А тебе, дураку, надо было в Москве думать. А то вдруг явился, покататься на лодочке ему захотелось. На автобусе катайся!

– Что ты кричишь? – сказал Орлов. – Не тебе решать, кому плыть. Ты к лодке никакого отношения не имеешь. Настоящий капитан он, – и Орлов указал на меня пальцем, – ему и решать.

Понурившись, сидел я на траве. Смотреть не хотелось ни на Орлова, ни на капитана.

«И вправду, – думал я, – все это похоже на Папашкины штучки. Надо же, такой сюрприз – Орлов на берегах Акимки!»

– Что ж ты молчишь? – сказал Орлов. – Или не рад, что я появился? А помнишь, как мы лазили в подвал за бамбуком?

– Помню, конечно, помню. И очень рад, что ты появился. Только настоящий капитан у нас – фотограф. Он капитан, а я – матрос. Ему и решать.

– Я уже решил, – твердо сказал капитан, – мы плывем дальше, а Орлов, если хочет, может идти за нами по берегу.

– По этим-то болотам, – сказал я, – разве он пролезет?

– Пролезет, – сказал капитан, – с Папашкиной помощью.

Широко открыв глаза, смотрел на меня Орлов. Обняв колени, сидел он, сгорбленный и жалкий, и в спине его торчал нож, всаженный мною. Он-то мучился, он-то переживал, он-то рвался догнать друга – и догнал, а получилось, что он никому не нужен, в лодку его не берут, и какой-то капитан-фотограф запросто решает судьбу нашей дружбы.

– И вообще ты мне не нравишься, – сказал капитан, подозрительно оглядывая Орлова. – Я тебя как-то не вижу. Странно, что ты тут появился.

– Чего же странного?

– Очень странно, – повторил капитан и остановился, потоптался на этих словах, поставил знак особенного препинания. – Очень и очень странно, что ты не расспрашиваешь про Папашку. Ты раньше слыхал о нем? Или вы знакомы? А может быть, это он тебя и подослал?

– Кто такой Папашка? – сказал Орлов, ошеломляясь. – Не знаю никакого Папашку.

– Что-то вроде дракона, – пояснил я. – Двухголовый. Живет здесь, неподалеку, в Илистом озере.

– Вы его видели?

– Чувствовали, – четко выговорил капитан. – А хребет видели... И сало он мое сожрал, – неожиданно добавил капитан укоризненным тоном.

– Сала я вам привез... – сказал Орлов, – но теперь не знаю, что мне и делать... Это... Дело в том, что... Короче... Не знаю, как и сказать... Вместе со мной приехала эта... ну... Клара Курбе.

Глава XXV

Шуршурин дом

Самый пупырчатый, самый укропистый малосольный огурец помочь мне теперь решительно не мог.

Выход к морю, всю жизнь я искал выход к морю, мечтал о корабле и построил лодку и вот наконец уплыл, распрощался. Нет, я не забыл оставленных людей, но все-таки ушел от них надолго, а может, и навсегда. Ведь никогда не знаешь, вернешься ли туда, откуда отплывал. И в душе я всегда прощаюсь навеки, на всякий случай.

А тут – выход к морю, самая легкая лодка, и уже нанюхался болотных газов, и оторвался, оторвался, и вдруг опять – Орлов, да и не только Орлов, там где-то и Клара.

Значит, я не оторвался, значит, надо еще шевелить, бить веслом?

– А граммофон ты с собой не привез? – спросил капитан.

– Не привез, – краснея, ответил Орлов. – Я и Клару брать не хотел, но она напросилась.

– Странно, – сказал капитан-фотограф, неприязненно качая головой. – В лодке только два места. Ты приехал сам, да еще и Клару с собой приволок.

– Я думал, как-нибудь обойдется. Покатаем ее в лодке, и поедет домой.

Эти сбивчивые и какие-то детские объяснения Орлова ничего, конечно, не объясняли. И слова «покатать Клару» звучали дико и неестественно. Мы тут мучаемся в болотах, тонем и мокнем, преодолеваем, а они приехали «покататься»! Черт знает что!

– Слушай, Орлов, – сказал капитан, – говори прямо. Зачем приехал сам? Зачем привез Клару? У вас с Кларой, может быть, это... как это называется... – И капитан повернулся ко мне в поисках нужного слова.

– Чувство...

– Вот именно... Может, между вами – чувство?

– Ты что, с ума сошел! – воскликнул Орлов. – Просто покататься просила. Какое чувство!

Орлов покраснел и насупился. Я же вдруг вспомнил ромбическую коробку, с которой явилась Клара, когда провожала нас. Вспомнил и розу, которой не коснулся. А почему я, собственно, не притронулся к розе? Роза-то, похоже, была для меня. И тут вдруг у меня неожиданно гукнуло сердце. Боже мой! Роза! Неужто для меня была?

– Никакого чувства! – повторил Орлов. – Напросилась покататься!

– Катайтесь в парке культуры, – сказал капитан, – а мы плывем дальше.

И капитан, не прощаясь с Орловым, шагнул к лодке. Опираясь на весло, перекинул он ногу через борт, уселся на свое место. Волей-неволей и я потянулся за ним. Орлов потрясенно молчал.

– Садись, – приказал мне капитан, и я сел в лодку, взял весло.

– Что же это вы делаете? – сказал вслед Орлов. – Зайдите хоть в дом. Там уж все собрались, ждут вас обедать.

– Нечего нам там делать, – сказал капитан. – А Кузьме Макарычу поклон передай.

Решительно взмахнув веслом, капитан двинул «Одуванчик». Мы отошли от берега.

– Неловко как-то, – потихоньку сказал я капитану. – Все-таки ждут нас. Зайдем хоть на полчаса.

– Не тянет, – сказал капитан, – нельзя нам туда заходить. Опасно.

– Да ничего страшного, – сказал я, – подумаешь – Клара. Наплевать. Зайдем. Орлова жалко.

– Это не Орлов, – прошептал капитан. – Это подделка.

– Господь с тобой, что ты говоришь? Опомнись. Какая подделка? Самый натуральный Орлов.

– Не верю, – сказал капитан. – Орлов сюда никак не может добраться. Это все вранье.

– Ладно тебе, успокойся. Надо все-таки вернуться. Хоть на полчаса.

– Ну смотри, – сказал капитан, разворачивая лодку. – Мое дело предупредить. Эй, – крикнул он Орлову, – погоди, мы возвращаемся!

Нос «Одуванчика» снова уткнулся в берег рядом с мостками, мы вылезли и как-то порознь – впереди капитан-фотограф, за ним Орлов, сзади я – пошли через поле к дому Шурина Шуры.

Дом этот был стар и кособок. Нижние венцы его прогнили, осели глубоко в землю, крыша от этого задралась острым горбом. Над крыльцом, над окнами дома – повсюду были натянуты какие-то шпагаты и веревочки, на которых сушились белые грибы и черные окуни. Весь дом был завешан сухой рыбой и грибами, а в палисаднике перед домом бушевали свирепые заросли крыжовника и малины.

Шуршащие под ветром сухие чешуистые окуни, шелестящие грибы, скрипящие ступени – весь дом был пронизан тихими шорохами, и название «шуршурин» очень подходило к нему.

Капитан поднялся на крыльцо и вошел в дом, за ним – Орлов.

Я замешкался на пороге, снимая сапоги. Босиком прошелся я по гусиной травке, короткой и мягкой, которой заросла лужайка у крыльца. В дом идти не хотелось.

Умылся под рукомойником и, выставив к солнцу лицо, решил обсохнуть, как-то не хотелось пока идти в дом.

Сзади послышался шорох.

– Добрый день.

Я оглянулся.

Из палисадничка, из какой-то земляничной калиточки в заборе вышла Клара Курбе.

В сарафане, украшенном голубыми цветочками, босиком, с распущенными до плеч волосами. В руках она держала блюдо, наполненное и смородиной, и малиной, и крыжовником. Удивительно еще, что в блюде не оказалось огурца.

– Привет, – ответил я. – С приездом... только должен сразу сказать, что в лодку мы вас взять никак не можем... места мало. Мы, знаете, дальше поплывем, а уж вы...

Клара поставила тарелку на ступеньку, подошла ко мне поближе и вдруг поцеловала меня в губы.

– О Боже! – бормотал я, вырываясь. – С приездом, с приездом...

Глава XXVI

Нога в крапиве

Кумкузя сиял.

Щека его, укушенная, почти вошла в свои берега, и тряпочку розовую кум с головы снял, оставил только шапку-треух. Одно ухо треуха торчало к потолку, другое прикрывало все-таки укушенную щеку.

– Вот и свиделись! – вскрикивал кум, обнимая меня, тиская капитана. – Будто не расставались!

Шурин Шура, человек с виду маленький и невзрачный, с красными слезящимися глазками, сидящий за столом без рубахи и босиком, качал головой, разглядывая нас, и повторял вслед за кумом:

– Вот и свиделись!

Из погреба и из чуланов шурин вымел на стол, очевидно, все огурчики и сметану, выставил квасу жбан, рыбник щучьей длины занимал полстола, а рядом с ним стояла глубокая глиняная миска. Там, в этой миске, в коричневатой утомленной сметане плавали целенькие беленькие грибки.

Поближе к миске пристроились Орлов и Клара, напротив присоседились к рыбнику и мы с капитаном. Сбоку от капитана сидели рядышком кумкузя и шурин Шура, а справа от меня некоторый человек Леха Хоботов, тот самый, у которого – по рассказам деда Авери – летала рука.

Волей-неволей косым глазом поглядывал я на Лехины руки. Правая пока спокойно лежала на колене, а левая нервничала. То совалась она к рыбнику, то к грибочкам, но тут же убиралась назад, не решаясь притронуться ни к тому, ни к другому. Как видно, она ждала сигнала.

И сигнал не заставил себя ждать.

– Дядя Кузя, – сказал шурин, – все собрались. Можно начинать?

Кум ласково оглядел всех, улыбнулся и сказал радостно:

– Налетай!

И тут же руки Лехины вспорхнули с колен, закружили над столом, как две корявые птицы. То одним, то другим коготком схватывали они сальца, баранки, пельменчика и прямо с лету совали это в рот птенцу, на которого никак не был похож носатый Леха Хоботов.

Вслед за Лехиными и другие руки залетали над столом, как чайки над причалом.

Орлиные лапы капитана пали на рыбник, взломали хрустящую корку, из которой высунулась злая щучья голова.

В общем хоре летающих рук я не замечал рук Клары. Девушка Клара Курбе как-то терялась за столом и руки свои прятала под скатертью. Зато уж орловские длани парили вокруг Клары и пикировали каждую секунду на ее тарелку, с голубиной ловкостью подкладывая то грибок, то луковку.

– Скушай сальца с горчичкой, – ворковал Орлов, и Клара благодарно улыбалась. Даваясь горчичными слезами, жевала сало.

Орлов, однако, не унимался. Следующим заходом он тащил ей без разбора и пельмень, и сотовый мед. Клара, к удивлению, глотала все это как тарантул.

Пришибленно следил я за ними. Напрасно капитан соблазнял меня щучьей головкой, я чуть притронулся к ней. Дикий, неуместный, несуразный Кларин поцелуй

все еще висел у меня на губах. Ни сало с горчицей, ни рыбник, ни грибы, ни питье кваса не помогли – поцелуй никак не отваливался. Он прирос к моим губам, как грибок к березе.

Между тем руки над столом стали летать помедленней, зато языки подразвязались. Первым подразвязался язык шурина Шуры.

– Вы – художники, люди ученые, – говорил шурина. – А мы тут живем в глуши – люди неученые. Но и у нас есть памятник культуры.

– Что за памятник? – спросил Орлов.

– Да там, – сказал шурина, – там вон, у нас за сараем, в крапиве памятник культуры валяется. Очень интересный памятник.

– Знаешь что, Шура, – неожиданно сказал Кумкузя, – помолчал бы ты лучше.

– Почему? – удивился шурина.

– Потому что неприлично за столом про памятники рассказывать.

– Да? А я и не знал, – сказал шурина. – Ладно, не буду.

– Нет-нет, расскажите, – сказал Орлов. – Это интересно.

– Я извиняюсь, – сказал кум, – а вы в Вологде пивали чай?

– Пивал, – ответил Орлов.

– А в Архангельском?

– Чего в Архангельском?

– Пивали чай?

– Да что вы мне про чай! Расскажите, что за памятник в крапиве.

– Нога! – послышался вдруг резкий голос с другого конца стола. Это открыл рот Леха Хоботов.

– Нога? – удивился Орлов. – Какая нога?

– Нога в крапиве, – повторил Леха и высосал бокал квасу.

– Эх, Леха, Леха, – укоризненно покачал головой кум, – как неловко – про ногу за столом. Некультурный ты.

– Балабол, – подтвердил шурина Шура.

– Какая нога? – приставал Орлов. – Объясните толком.

– Памятник культуры – нога, – досадливо пояснил кум. – Мужская каменная нога. Валяется в крапиве. В доисторические времена она была приделана к каменному телу. А ты, Леха, не очень культурный – про ногу за столом!

– Балабол, – снова подтвердил шурина.

– Кто сказал, что я балабол? – тяжело проговорил Леха Хоботов.

– Это я сказал, Леха, потому что некультурно за столом про ногу говорить.

– А кто начал про памятник культуры?

– Я и начал, Леха. Но ведь я не сказал про ногу, потому что дядя Кузя сказал, что это некультурно, а про ногу сказал ты, и тогда я сказал, что ты балабол... но я не...

Довести свою мысль до конца шурина не успел.

Правая Лехина рука, не дослушав Шуру, внезапно и быстро отделилась от тела.

Она пролетела над столом и, обогнув самовар, с ходу хлопнула шурина по зубам.

Охнув, шурина грохнулся на пол, а рука, описав в воздухе дугу, как австралийский бумеранг, вернулась к хозяину и, грубо говоря, присобачилась к телу.

В наступившей тишине послышался голос кума:
– Я извиняюсь, а вы в Архангельском пивали чай?

Глава XXVII

Щучья голова

Ответить на вопрос кума Орлов пока не мог.

Зрелище полета Лехиной руки потрясло его. Орлов окаменел не хуже той ноги, что валялась в крапиве.

Да и все общество как-то притихло и вращало глазами. Главное, неясно было, как и на что надо реагировать: на полет или на удар по зубам?

Пожалуй, реагировать приходилось на полет. Удары-то мы видывали и от нелетающих рук, а вот полеты наблюдали нечасто.

Шурин между тем довольно весело привскочил с пола и, потирая челюсть, замахал на Леху укоризненно пальцем.

– А ты, Леха, – сказал он. – Ты, Леха, не только балабол. Ты еще и забияка.

Орлов зашевелился.

– Это что же такое? – обиженно почему-то сказал он. – Это рука, что ли, летала?

– Да нет, – сказал кум, – это так, ничего особенного.

– Как же ничего особенного? Ведь если в Москве рассказать, что тут руки летают, знаете, что будет?

– Что?

– Ну я не знаю, но что-то будет!

– А ничего и не будет.

– Да ведь она же летает!

– Пускай летает, – сказал кум. – А я вот интересуюсь, вы в Харькове пивали чай?

– В Харькове я пивала, – неожиданно открыла рот Клара Курбе. – Чай был индийский со слонем, а к чаю варенье клубничное. А вот насчет полета отдельных частей тела я и прежде слыхала, но наблюдаю впервые. Интересно, как вы этого достигаете?

Обмакнув вареник в сметану, Леха улыбнулся.

– Тренировка, – сказал он.

Между тем капитан мой фотограф на полет Лехиной руки вниманья не обратил. Так и сяк обсасывал он щучьи плавники, запивал квасом, заедал коркою рыбного пирога.

Я тоже особо не взволновался. Куда больше тревожил меня непонятный, все еще висящий на губах Кларин поцелуй.

«Рука летающая ладно, – думал я, – пускай летает, а вот поцелуй – странный фрукт».

Где-то в самой глубине души зрела у меня мысль, что не худо бы этот фрукт повторить.

Думая о поцелуе, я все-таки отметил про себя, что рука Лехина отрывалась вместе с рукавом пиджака, а потом рукав как бы пришился. Это было забавно.

– Странно, очень странно, – сказал Орлов, удивленно оглядывая нас с капитаном.
– Все восхищаются, что у человека летает рука, а эти – ноль внимания.

Капитан оторвался от блюда, поднял к Орлову глаза.

И тут я заметил, что не только Орлов, но все общество, собравшееся за столом, удивленно разглядывает нас. Дескать, как же так – у человека летает рука, а эти не замечают, будто стрекоза пролетела.

И даже шурин смотрит обиженно. Похоже, он больше обижался на нас, чем на Леху, от которого получил по зубам. И я понял, что шурин нарочно «подставился», подыграл Лехе, чтоб тот показал, на что способна его рука.

– А чего тут восхищаться, – сказал капитан, – она ведь не только летает, она еще по зубам бьет... Если б она собирала цветочки.

– По зубам это я так, для примера, – сказал Леха, – можно и цветочки.

И он крутанул рукой, примериваясь к форточке.

– Да ладно, верю, – сказал капитан, но Леха уже сделал бровями какое-то метательное движение, и рука шмыгнула по воздуху к окну, через форточку улизнула на улицу.

Все замерли. И даже шурин перестал жевать. Неудобно все-таки есть пельмени, когда чья-то часть тела покинула общий стол. Несколько минут все напряженно молчали. Наконец послышался стук в дверь.

– Войдите! – крикнул шурин.

Дверь распахнулась, и рука Лехина ворвалась в дом, зажав в кулаке ромашку. Галантно изогнувшись в воздухе, она поднесла цветок девушке.

– Спасибо, – сказала Клара Курбе и тут же вплела ромашку в волосы.

Все дружно заплодировали. С ромашкой в каштановых волосах Клара была... гм... дьявольски хороша.

– А теперь капитан доволен? – спросила она.

– Меня все это не касается, – хмуро ответил капитан.

– Да он просто завидует, – подал голос Леха Хоботов. – У него-то ничего не летает.

– Завидовать тут нечему, – сказал капитан. – Видали мы кое-что похлеще летающей руки... А вот некоторые девушки меня удивляют.

– Чем же? – спросила Клара.

– Не знаю, как это объяснить... но нельзя брать ромашку у той самой руки, которая только что зубы дробила.

Капитан встал, тронул меня за плечо.

– Пойдем, – сказал он, – нужно поговорить.

– Куда это? – крикнул шурин. – А самовар пить?!

– Сейчас вернемся, – сказал капитан, – две минуты.

Мы вышли на крыльцо. Капитан держал меня за руку, и я чувствовал, как мелко и нервно дрожит он.

– Отойдем подальше.

У забора, под шуруриным окном, мы остановились.

– Слушай, – сказал капитан, – ты сказал, что Орлов снился тебе там, на берегу

Илистого.

– Снился.

– А Клара?

– Снилась, – чуть смутившись, подтвердил я.

– Да, – задумчиво сказал капитан, – теперь все ясно.

– Что тебе ясно?

Капитан не ответил.

– Загляни в окно, – неожиданно сказал он, – погляди, что они делают?

Я поднялся на цыпочки, заглянул в окно и вздрогнул. Вся компания, что сидела за столом, – и Кузя, и шурин, и Леха Хоботов, и Орлов с Кларой – все смотрели в окно, прямо мне в глаза. Я отпрянул.

– Поздно, – сказал капитан. – Заметили. Догадались, что я догадался. А я уж давно все понял, но когда она взяла ромашку...

– Что ты понял? Объясни.

– Папашка раздвоился. У него же две головы – щучья и медвежья. Ну вот, щучья – это Клара, а медвежья – Орлов. Приделал к головам по телу и явился к нам. Настоящий Орлов сидит в Москве, и Клара там, а эти – поддельные. Подсмотрел твои сны – и раздвоился.

– Что ты говоришь?! – сказал я. – Я с Кларой только что целовался.

– Это не Клара, – сказал капитан. – Это – гидра.

Где-то в доме хлопнула дверь. По ступенькам крыльца спускалась Клара. Она встала у забора, у земляничной калиточки, и задумчиво глядела на дальние леса, на небо, на закат.

– Щучья голова, – шепнул мне капитан. – Оставаться нам здесь нельзя.

– Слушай, отойди на минутку, – заикаясь, сказал вдруг я.

– Куда это?

– Не знаю... ну, погляди, цел ли «Одуванчик».

– Да я отсюда вижу – все в порядке, – сказал капитан. Но все-таки он обеспокоился, вытянул шею, шагнул в сторону.

– Не вздумай с ней целоваться, – буркнул он.

Капитан пошел к берегу, и, как только он отдалился, Клара сразу направилась ко мне.

Я видел, как сияют и колеблются ее глаза, как горит в волосах ромашка.

– Не смейте меня целовать, – сказал я дрожащим голосом.

Глава XXVIII

Падение желудей

Долго, очень долго приближалась ко мне Клара.

Между нами и было три шага, но, кажется, она сделала все пятнадцать. Она шла ко мне, но то и дело сворачивала в сторону. Уже подойдя вплотную, она завернула, и я думал – пройдет мимо – и уже прошла, уже миновала, – но все-таки схватила меня за руку. Пальцы ее были сухими и слишком горячими для щуки.

Взяв меня за руку, Клара повлеклась куда-то, и удивительно, что я поплелся за нею, безвольный и податливый.

– Что вам угодно? – сказал наконец я.

– Ничего.

– Ну я тогда пошел.

И я вправду куда-то пошел, но рука моя по-прежнему оставалась в руке Клары. Клара двигалась к лесу, я – к реке, потом она повернула к забору, я направился к сараю. Так вроде бы мы и шли куда-то, но и оставались на месте. Она не отпускала моей руки, но поворачивалась ко мне боком, а я к ней все больше спиной.

– Поговорим, – шепнула Клара.

– Говорить я с вами не намерен.

– Почему?

– Потому что вы – гидра. Приехала с Орловым, а целуется со мной.

– Я приехала к вам.

Клара застыла, замерла. Глаза ее то меркли, то переливались. Вдруг она выхватила из волос ромашку и бросила на землю. Бросанье ромашки как-то притормозило меня. Раздражала все-таки эта ромашка, привнесенная летающей рукой.

– Возьмите меня в лодку, – шепнула Клара. – Самая легкая лодка в мире – это смысл жизни. Возьмите меня.

Клара прикрыла глаза, отчего еще сильнее заблистала под ресницами какая-то ртуть.

– А как же капитан-фотограф?

– Мне надо в лодку, – шептала Клара и тянулась ко мне.

– А куда ж я дену капитана? – ошеломленно твердил я и уже тянул к ней губы, подобно степному дудаку, хотя откуда же у дудаков губы, у них же эти, клювья... О Господи, не все ли равно – клювья ли, губы, все это ерунда, ромашка, Папашка, борьба борьбы с борьбой... Нет, но поцелуй все-таки странный фрукт – не груша ли он? Впрочем, с чего это, почему это поцелуй – фрукт? Он совсем непохож на фрукт. Кто же он? Не дерево ли?

Наконец, обвешанный поцелуями как дуб желудями, я оторвался от предмета неожиданной моей страсти. В двух шагах от нас стоял художник Орлов. Он был потрясен, скомкан и смущен. Дерево поцелуев остолбенило его.

Остолбененный, глядел он на нас, хотел отвернуться и не в силах был, застигнутый врасплох.

– Вы что это? – испуганно сказал он. – Целуетесь, что ли?

– Между нами – дерево, – ответил я, полагаясь на головокружение.

– Да нет, почему, пожалуйста, – сказал Орлов. – Приехала со мной, а целуется с тобой. Все правильно.

– Орлов, пойми, – сказала Клара, – мы теперь поплывем вместе.

Голова моя кружилась, вертелась и таяла. Обремененный желудями, стоял я перед Орловым. Желуди звякали и стучались под ветерком, щелкали друг друга лакированными боками.

– Интересно, – усмехнулся Орлов, – меня на лодку не взяли, мешал капитан-

фотограф. А тут – никто не мешает.

Клара промолчала. Просто и тихо она поцеловала меня в щеку.

Это, пожалуй, было лишнее. Я и так уж кренился под тяжестью. Даже самый могучий дуб не может держать на плечах желуди всего леса.

Послышался легкий стук о землю. Это сорвался последний лишний желудь.

Тут же и несколько собратьев его посыпались с ветвей, позавидовав легкости паденья.

– Как у вас просто и быстро, – сказал Орлов. – Меня побоку, капитана – за борт. Уже плывут, уже мечтают.

– В любви всегда так, – ответила Клара.

Еще парочка желудей щелкнула об землю.

– О любви мы не говорили, – сказал я сбоку. – Мы только целовались.

– Поцелуй – это язык любви, – пояснила мне Клара ласково.

– Поцелуй – это желудь, – заплетаясь, заупрямился я. – А о любви мы не говорили.

Желуди сыпались с меня как какие-то семечки.

– Что такое? Что такое? – заволновалась Клара и быстро-быстро стала нацеловывать меня в щеку. Это была диковинная картина – одни желуди нарастали, а другие отваливались.

– Нет-нет, меня это не устраивает, – вырывался я. – Только поцеловались – и вот на тебе! – бросай капитана-фотографа, бог знает кого сажай в лодку... Ну ладно, хватит, я пошел...

– Куда ты! Постой! – воскликнула Клара, схватила меня за руку.

– А ну отпустите его! – послышался грозный голос, и, тупо топя болотными сапогами, из-за забора вырвался капитан-фотограф.

В два прыжка он пересек двор, с разгону толкнул плечом Орлова.

Потрясенный художник свалился в малину.

И тут послышался гулкий, как землетрясение, звук. Качнулась земля под ногами. Это рухнули с дуба остатки желудей.

Глава XXIX

Скрип дергача

Сумерки, сумерки, сумерки!

Сумерки опустились на землю – из небесных глубин, из кисейного облака.

В сырых лугах заскрипел однообразно дергач, бесконечные звезды поднялись над лесами, притягивая все глаза земли.

Нет ничего страшнее этих далеких звезд, этих дивных расстояний, непонятных ни глазу, ни сердцу. Лишь бедный ум старается их постичь, но, заторможенный скрипом дергача, вязнет в пространстве.

Как прочно, как чудесно для моего сердца связан этот скрип и вечерний запах близкой реки, посеревшие в сумерках кусты козьей ивы и посиневшие леса, как надежно связаны они с вечным мерцанием далеких звезд. В сумерках слился с березой, растущей у крыльца, шуршурин дом, потемнел, огорбел. Как бык или дикий вепрь,

пополз по берегу, выставив клыки столбов и щетину забора. Сумерки, сумерки!

Гневен в сумерках был капитан-фотограф. Тяжело дыша, привалился он к моему плечу, готовый отбиваться. Капитан был твердо уверен, что перед ним раздвоившийся Папашка. И вот – медвежья голова валялась в малине, а щучья – всхлипывала у забора.

Я чувствовал напряженное плечо капитана, но никак, конечно, не верил, что такое безобразие, как раздвоение Папашки, на свете возможно. Ну, летающая симпатичная голова деда Авери, ну, рука-бумеранг, но раздвоение... нет, никогда!

А орловская в сумерках и впрямь медвежьей оказалась голова. Лохматая борода слилась с лицом, высунулись откуда-то невероятные уши, покраснели от обиды и угрюмости бледные глаза. Тяжело и грозно подымался на ноги Орлов, медведем смотрел на нас из малины.

В самое глупое, самое бессмысленное положение попал он в жизни. С чистым сердцем догонял он друга, а друг отвернулся, отказался, да еще принялся целовать девушку, в которую Орлов частично влюблен.

Оскорбленному, обиженному, ему еще бьют под ребра, методом подлой подножки бросают в малину. Тут уж поистине любая честная русская голова может превратиться в медвежью.

– Эй вы! – покрикивал капитан. – Оборотни! Соединяйтесь! А мы поглядим, как это делается.

– Что с тобой, боцман? – сказал Орлов, медленно ворочая глазами.

– Брось прикидываться, медвежья башка! На автобусе он приехал! Подсмотрел наши сны и раздвоился!

– Я никогда не раздваивался, – сказал Орлов. Мрачно и молча стоял он перед нами. Сгущались сумерки вокруг его головы.

Крик дергача-коростеля стал к ночи свежее и ярче. Так упорно, так настойчиво пел-скрипел коростель, как будто звал кого-то.

– Ну, вы, мракобесы! Будете воссоединяться или нет? – покрикивал капитан.

Будто вняв капитанскому призыву, Клара отошла от забора, взяла Орлова под руку. Приподнявшись на цыпочки, она приблизила свою голову к орловской. Светлым в полутьме сарафаном она закрыла от нас художника, и вот уже две головы вознеслись над сарафанным телом, и ничего страшнее, чем этот сарафан, увенчанный двумя головами, видеть мне в жизни не приходилось. Головы, пока еще человечьи, вот-вот должны были преобразиться.

Но ничего такого не произошло. Кларина голова шепнула что-то орловской и отпрянула. За головою двинулся сарафан – Клара направилась к нам. Орлов же подошел к дому, поднялся на крыльцо, хлопнул дверью, скрылся.

– Отойди, – сказал я капитану. – Отойди, дай поговорить.

Капитан затыркался, замычал отрицательно, но все-таки шагнул куда-то в сторону, в темноту.

Темным, совсем темным в сумерках было лицо девушки Клары Курбе. Растрепанные волосы соединились в воздухе с ветками шуршуриной березы – сквозь волосы ли, сквозь ветки пробивались звезды?

«Северный Крест, – подумал я, узнавая созвездие. – А Орион выйдет позже, совсем

поздно, в предутренних сумерках».

– Мы устали, – сказал я Кларе, – мы сдвинулись от летающих рук, все в голове смешалось... я не против желудей.

– Говорите.

– Представьте, капитан вообразил, что Орлов – медвежья голова, а вы... рыбная... Ерунда, конечно...

Я замолчал, перевел дыхание. Клара слушала меня, но неясно было, понимает она что-нибудь или нет.

Дергач, который все кричал в лугах, постепенно приближался к шуршуриному дому, к реке. И наконец, откуда-то снизу, с реки, из-под кустов козьей ивы, ему отозвались. Речной дергач скрипел помедленней, поленивей, но тоже двигался к нам.

– Скажите еще... – повторила Клара.

– Я же говорю, он вообразил, что у вас от рыбы...

– Это бред. Скажите другое.

– Он вообразил... ну ладно, вы поймите, не могу я так сразу бросить капитана, сажать вас в лодку.

– Сразу не можете? А как вы можете?

– Не знаю... – сбился я.

Клара отвернулась от меня и пошла к дому.

– Эй, постойте! – крикнул я.

– Чего ждать? Вы же не можете.

– Я не знаю, – бормотал я. – Как-то все внезапно... Потом, когда я вернусь из плаванья...

– Потом сможете?

– Еще не знаю, но думаю... Я же не против желудей, деревьев...

– Желуди, деревья... – повторила Клара. – Я все поняла. Ум у вас маленький, а мир – большой. Вы дурак и недостойны иметь самую легкую лодку в мире.

Клара взбежала на крыльцо, хлопнула дверь, и больше никогда в жизни я не видел девушку Клару Курбе, а если и видел, так только краем глаза.

Глава XXX

Вяжем ли мы?

Потом-то я часто вспоминал, часто думал, что же должен был сказать Кларе, и никогда не мог придумать ничего путного.

Мой невеликий ум никак не мог вместить в одну лодку и Клару, и Орлова, и капитана-фотографа. Но ведь все на свете имеет свои пределы, свои возможности. А ум мой давно раздулся от материала, который ему пришлось вместить. Папашка и бесы, летающие руки и головы, желуди и деревья плавали в нем, и только крик дергача казался светлой соломиной, за которую и хватался я, утопающий в собственном переполненном уме.

Много раз в жизни слышал я этот странный – сырой и вечерний – скрип дергача.

Стрелкой вытянув шею, приклонив к земле острую голову, ходит дергач около

дома в густой траве. И кажется, вот он, рядом, под этим лопухом. Зажжешь фонарик – и не видно никого в траве – то ли пропал дергач, то ли спрятался, то ли вовсе не было его.

Невидимый, неуловимый, скрипит он под нашими окнами каждую ночь, а глазу не поддается.

Между двух дергачей стоял я. Скрипуны медленно приближались друг к другу, и я стоял на том самом месте, где они назначили встречу. Место это надо было скорее освободить.

Вдруг дергачи замолчали. Наверно, подошли ко мне так близко, что скрипеть было стыдно. Притихли дергачи, которых иначе называют коростелями, а над лесом, над шуршуриным домом стоял огромный Северный Крест, который, кстати, иначе называют – созвездие Лебедя.

– Капитан! – крикнул я. – Пошли в дом. Надо попрощаться и плыть дальше.

– Давай так поплывем, – неожиданно близко отозвался капитан. – Давай так поплывем, не прощаясь. Заночуем в лодке. А то как бы чего не вышло.

– Обойдется, – сказал я и вошел на крыльцо.

Приоткрыв дверь, мы заглянули в комнату. Орлова и Клары за столом, к удивлению моему, не было. У керосиновой лампы сидели кум, Леха и шурин.

У каждого из них мелькали в руках сверкающие стальные прутики. Остро отточенные, они шевелились, позвякивали, а у Лехи даже прищелкивали. У него и прутики были особенные – с красными кровавыми шариками на концах.

– Двадцать два, двадцать три, добираю... – бормотал Леха.

– Сорок восемь... – под нос себе колдовал шурин.

Увидев эти прутики, ум мой невеликий оторопел. Особенным колдовским прибором показались мне они в первую минуту, и поразительно было, что у шурина на концах этих прутиков шевелился черный мужской ножной носок с огромной пяткой.

Тут я заметил, что и у других приделано что-то к прутикам. У Хоботова – варезка с охотничьим пальцем, а у кума что-то длинное и черное, отчасти похожее на штанину.

Наконец я сообразил, что прутики – это вязальные спицы, и понял, чем занимается вся компания. Они – вязали.

Мирное это занятие показалось мне диким, несуразным, предательским и опасным. Жутковато было, что и летающая рука занималась этим немужским делом.

Никто не поднял головы, когда мы вошли в комнату, никто не оторвался от вязанья.

Завороженно глядя на сверкающие спицы, мы присели на лавку у стены.

Картина неуместного вязанья сразила капитана. Сидя на лавке, тревожно вертел он головой.

– Извиняюсь, – сказал он, откашлявшись. – Вы что же это – вяжете, что ли?

Никто не ответил. В тяжелом и мертвом молчанье из-под стола вдруг выкатилось какое-то черное пушистое и круглое существо. Повертевшись посреди комнаты, оно всосалось под стол. Это был пухлый и мохнатый кошачьего склада клубок шерсти.

Кум наконец щелкнул спицами, положил вязанье на стол и поднял к нам глаза. Внимательно-внимательно, строго и сосредоточенно разглядывал он нас с капитаном.

– Вот вы спрашиваете, – сказал кум, – вяжем ли мы? Отвечу откровенно: да, мы вяжем. Но и нас интересует: вяжете ли вы?

– Как то есть? – не понял капитан.

– А так, очень просто. Вяжете вы или нет?

Расширивши глаза, глядели мы с капитаном на кума Кузю и не знали, что же ответить на этот простой и чудовищный вопрос.

«Что за наваждение? – думал я. – Откуда взялось это вязанье? Какое отношение имеет оно к самой легкой лодке в мире, к моему плаванью, к мечте? Нет, никогда в жизни не увязать мне, что происходит в мире, в людях, во мне самом. Пора в конце концов подумать: вяжем ли мы?»

Глава XXXI

Мыльные пузыри

– Что ж вы молчите? – сказал кум. – Вопрос очень простой: вяжете вы или нет?

Капитан оглядывался на меня, но я ничем не мог ему помочь. Растерянно, как школьник, капитан ответил:

– Нет, мы не вяжем.

– Вот и я чувствую, что вы не вяжете, – сказал кум. – А ведь надо вязать.

Оглядываясь на меня, капитан разводил руками. Он явно не понимал, как выплыть из этого дурацкого разговора.

– Мы постараемся, – неожиданно пообещал он. – Мы вообще-то давно мечтали вязать и, если надо – будем.

– Что за чушь? – сказал я. – С чего это мы будем вязать?

– А что? – спросил капитан.

– А то, что плаванье и вязанье несовместимы. Лично я вязать не собираюсь.

– Напрасно, – мягко заметил кум. – Вязанье в жизни необходимо.

– Не вижу такой необходимости, – ответил я, – я вязать не буду и капитану не дам.

– Это почему же ты не дашь мне вязать? – раздраженно спросил капитан.

– Не дам, и все.

– А я буду вязать! – повысил голос капитан. – Подумаешь! Он не хочет вязать – значит, никто не должен. Я давно мечтал вязать. Одолжите мне спицы.

Шурин Шура, ухмыляясь, вскочил с места. Он заподмигивал капитану, нырнул в сундук, вытащил оттуда запасные спицы и клубок шерсти. Капитан же фотограф, который прежде и спиц-то в глаза не видал, схватил их и довольно шустро принялся рыться ими в клубке.

– Хочу и буду, – бубнил он себе под нос.

– Вот и молодец, – отечески поощрил его кум. – Вязанье способствует хорошему сну, располагает к миру. Не мешает оно и чаепитию.

Неожиданное предательство капитана на почве вязанья взбудоражило меня. Сжав кулаки, наблюдал я, как он тыкает вслепую спицами, пытаюсь ухватить их кончиками тонкую нить. На старого китайца, который ест палочками рис, похож был сейчас капитан-фотограф. Всем ясно было, что вязать он никогда не научится, а сейчас водит

спицами просто так, чтоб позлить меня.

«Боже мой! – думал я. – А я-то ссорюсь из-за него с Орловым, не пускаю в лодку девушку, которую, черт побери, почти что полюблю. А он – вяжет мне назло».

Капитану-фотографу я просто-напросто надоел. Несколько дней подряд терпел он меня, мои слова, мои суждения, а может быть, и глупые поступки. Капитан устал от меня, и его неожиданно прорвало.

«Хоть мы и плаваем в одной лодке, – как бы говорил капитан, – а совсем разные люди».

– Положи спицы, – сказал я. – Надо нам плыть.

– Вот повяжу с полчаса, и поплывем, – ответил капитан. – А то он не хочет, значит, никто не должен.

– А ну брось спицы! – крикнул я. – Брось немедленно.

– Ни за что. Я давно мечтал вязать. Мне нужен свитер.

В глазах у меня потемнело. Я подпрыгнул, вырвал спицы из рук капитана и бросил со звоном на пол.

– Или спицы, или лодка! – задыхаясь, крикнул я. – Выбирай!

Капитан вскочил с места, как теленок, наклонил голову, будто собираясь бодаться. Леха Хоботов бросил спицы и стал принакручивать правой рукой, целясь мне в ухо.

Кум, однако, перехватил руку его.

– Ты что, нельзя! На место! – сказал кум. – Он же из Москвы...

– Хочу вязать... хочу вязать, – насупившись, бубнил капитан. – Что я тебе сделал?

– Пускай вяжет человек, – сказал Леха, убирая руку в карман. – А то спицами бросаешься на пол.

– А ты, Леха, помолчи, – сказал я. – Ты со своими руками разберись. То она у него вяжет, то летает. Выбери что-то одно. Или – вязать, или – летать.

– У Лехи рука хоть и летающая, но трудовая, – сказал кум. – Мы его нарочно так приучиваем, чтоб его рука не только в воздухе болталась, но и делом занялась.

– Не верю, – сказал я, – не верю, чтоб летающая рука вязала варежки. Все ваше вязанье для отвода глаз. Не понимаю только, от чего вы наши глаза отводите.

– Мы любим вязать в свободное время, – сказал кум членораздельно, глядя мне в глаза. – И никому ничего не отводим.

– Вы просто не хотите, чтоб мы плыли дальше. Это Папашка велел остановить нас?

– Что за глупость? Что вы придумали? Никакого Папашки и на свете-то нет. Ну а плыть вам дальше не советую. Опасно – болота, топи. Пожили бы здесь, у Шуры, – рыбалка, грибы, ягоды. И ваши друзья с вами – Орлов, Клара...

– А где они сейчас, Орлов и Клара? – спросил я, глядя куму в глаза.

– Да здесь они, неподалеку. Пошли прогуляться, на звезды поглядеть.

– Ерунда, – сказал я. – Их здесь и вовсе не было. Настоящие Орлов и Клара в Москве сидят, а эти – поддельные, мыльные пузыри.

– Да уж, – неожиданно и обиженно вставил капитан, – сам с Кларой целовался, а теперь – пузыри.

– Сдуру я могу и с пузырем поцеловаться, – сказал я. – Но где сейчас Клара? Где?

Возникла на миг – и пропала.

– А ведь в жизни всегда так, – сказал неожиданно шурин. – Возникнет на миг – и пропадет. И ты, и я, и все мы.

– Но мы с капитаном пока еще не пропали, – сказал я. – Брось спицы. Мы плывем дальше.

– Куда это вы плывете? – прищурился шурин. – Папашку, что ль, искать?

– Да нет, так просто поплывем, сами по себе. А Папашка, если надо, сам нас найдет.

– Вот это верно, – засмеялся шурин. – Но, по правде говоря, Папашка вас давно уже нашел.

– Как это? – не понял капитан.

– А так, – ответил шурин. – Папашка – это я.

Глава XXXII

Разговор с кустами козьей ивы

Капитан-фотограф все-таки не удержал спицы в руках. Со звоном упали они на пол, клубок шерсти покатился под стол.

– Так вот кто Папашка... – заикнулся капитан. – А я-то думал...

– Да, я – Папашка, – подтвердил шурин. – А дядя Кузя с Лехой – моя бригада.

Шурин гордо оглядывался. Его некрупные малоголубые глаза с большим достоинством мигали над щеками.

– Самый незаметный, самый скромный, – сказал капитан. – Его бьют по щекам, он падает на пол, и он же – Папашка.

– Пускай бьют, – сказал шурин. – Пускай тиранят. Но Папашка – это я.

– И он еще вяжет! – воскликнул капитан.

– Да, я вяжу, – скромно подтвердил шурин. – Вяжу носок для каменной ноги. Скажу вам честно, что в крапиве валяется вовсе не памятник культуры. Это моя собственная запасная нога. Ей бывает холодно во время заморозков. Конечно, я мог заказать этот носок Лехе или дяде Кузе, но решил связать носок для своей ноги собственноручно. Ей это будет приятно, потому что пользуюсь я ей сейчас редко, тяжеловата. Пусть хоть погрееется бедняга моя.

Выслушав всю эту ерунду, кум Кузя и Леха Хоботов закатили глаза, сложили руки на груди и стали глядеть в потолок, выражая тем самым свою печаль по поводу одиночества каменной ноги.

Я не выдержал и засмеялся.

– Что тут смешного? – нахмурился шурин. – Окаменелая нога валяется в крапиве, ей одиноко, холодно, неудобно.

– Жалко ногу, – сказал я, – но просто смешно слушать все это вранье. Шурин Шура – Папашка, ну, уморили! Кому нужен Папашка, который вяжет носки, подставляет свою морду под удары летающей руки! Это не Папашка – это дубина стоеросовая!

– Почему же нельзя прикинуться? – сказал шурин. – Я скромный.

– Нельзя, никак нельзя прикидываться, – сказал я. – Настоящий Папашка – это

остров, тонущий в озере, это ночь, которая давит на сердце, это два дергача.

Сам не знаю для чего, я вскочил с места, подлетел к шуруину и слегка дернул его за нос.

– О! – закричал ошеломленный Шура, а я побежал к двери, и сразу же ринулась за мной летающая Лехина рука. Забыл, забыл-таки Леха Хоботов, что я – москвич! Уж не знаю, что хотела сделать со мною его рука – поймать ли, задержать, дать по шее, но не был бы я москвичом, если б вдруг на пороге не прищемил дверью Лехину конечность, а дверь заклинил на крючок.

В непролазной, прочной и безымянной тьме добежал я до берега и увидел светлую лодку на черной воде. Я прыгнул на свое бамбуковое место, и «Одуванчик» сразу вынес меня на середину реки. Я и весла-то взять не успел, а «Одуванчик» уже летел по реке подальше от шуршуринового дома.

Есть на свете такие люди, которые умеют убежать.

Сидят, сидят вместе со всеми за дружеским столом, едят, пьют, смеются – и вдруг вскакивают, хлопают дверью – и бегут!

За ними гонятся, кричат, извиняются, уговаривают, а они бегут, бегут, убегают. А потом уж падают в траву и плачут.

Мне такие люди не очень нравятся, но я, между прочим, и сам такой человек. Не знаю почему, но порой я и сам так вскакивал и убегал, прятался и плакал, а потом уж бежал дальше. Где бы я ни был, где бы ни жил, я в конце концов обязательно оттуда убегал, только скорость убегая была разной – то помедленней, то побыстрей.

Вот и сейчас я убегал, но не плакал, а смеялся. Мне было легко и весело, и, если б настигла меня сейчас летающая рука, я бы ее немедленно утопил.

Но летающая рука не настигла меня и не могла настигнуть. Летающие руки обычно ленивы. Летать-то они летают, но зачем им, скажите на милость, без толку летать? Ну, настигнет, ну даст по зубам, а дальше-то что?

А ведь ночь была уже на земле. Полная, окончательная ночь. Ничего светлого не светило в ней – только серебряный «Одуванчик» да немислимый Орион.

Под Орионом перед «Одуванчиком» уже шевелился, уже мутно набухал новый досолнечный туман. От берегов, от корней осин, из осок выплывал он, но был еще легок и нежен, тающ и невесом.

«Э-э-э...» – послышалось издалека.

«Капитан-фотограф зовет, – подумал я. – Эх, надо возвращаться, бросать его нельзя. Я и так уж его обидел – помешал вязать. Интересно, чего это я так восстал против вязанья? Ну, сидел бы себе на носу лодки и вязал. А Орлов и Клара? Их тоже жалко бросать. Настоящие они или поддельные – все равно друзья. Да, жалко, что я построил самую легкую лодку. Надо бы строить понадежней, покрепче, чтоб все влезли – и Орлов, и Клара, и капитан. А так – неловко получилось, построил для себя – сам и поплыл».

Я развернул «Одуванчик», взмахнул веслом и скоро увидел свет в окнах шуршуринового дома, два темных куста козьей ивы, как два темных шара на берегу.

– Ты куда делся? – послышался голос, и в одном из кустов вспыхнул огонек орловской папироски.

– Надоело в доме сидеть, – сказал я, – решил покататься.

– А меня, что ж, бросил? – слышался голос капитана-фотографа из другого куста. Этот куст был плотней орловского, вместительней и гуще.

– Да нет, что ты, – ответил я. – А насчет вязанья ты не обижайся. Вяжи сколько душе угодно. Сиди на носу лодки и вяжи.

– Насчет какого вязанья? – слышался третий голос из капитанского куста. Как ни странно, это была Клара.

Капитан что-то забормотал ей в ответ, я не мог расслышать, разговор их увязал в кусту. Ясно было, что они пререкались.

– Вылезай на берег, – сказал Орлов. – Пошли спать к шурину на сеновал.

– Да нет, – сказал я, – мы дальше поплывем. Эй, капитан, садись на корабль.

– Давай у Шуры переночуем, – ответил капитан. – А завтра поплывем.

– В лодке переночуем, – сказал я. – Не тяни, спускайся к воде.

– Эй вы! – крикнула вдруг Клара. – Плывите один, капитана я не отпущу.

В капитанском кусту снова начались какие-то пререкания и взволнованный шепот.

– Видал? – сказал Орлов. – Она его уже не отпускает.

– Ерунда, – отозвался капитан, – никто меня не удержит. Завтра, после обеда, поплывем.

– Ну да, конечно, – иронически протянул Орлов. – Завтра, после обеда. Нет, брат, не жди капитана, плыви один.

– Капитан... – укоризненно сказал я. – Капитан-фотограф, милый, вяжи, делай что хочешь, только не покидай корабль. Мы ведь с тобой только вперед идем.

– Слушай, давай завтра. С Кларой хочется еще поболтать... интересно, знаешь... борьба борьбы с борьбой...

– Может быть, ты со мной, Орлов?

– Да ведь я опоздал. А кто опоздал – тот опоздал. Плыви один, не теряй времени. Скоро и луна взойдет.

Я шевельнул веслом, отвел лодку от берега – «Одуванчик» заскользил мимо темных кустов.

– Ну ты что, плывешь или на месте стоишь? – спросил Орлов. – Я не вижу в темноте.

– Боюсь оставить капитана, – ответил я. – Не гидра ли она?

– Да ничего страшного, – сказал Орлов. – Все обойдется. Ну, так ты что – плывешь или стоишь?

– Я еще не знаю, – сказал я. – Я думаю.

Сено, про которое я совсем забыл, сено, которым наполнена была лодка, шевелилось и шуршало. Запах сухого клевера и зверобоя, подмаренника и душицы охватывал меня. Я был в середине огромного букета, собранного со всей земли.

– Так ты что? Плывешь или на месте стоишь? – негромко повторил вдали Орлов. – Плывешь или стоишь? Я не вижу в темноте.

Раздумывая, как мне быть, сидел я в лодке, и течение несло «Одуванчик» вперед, к Покойному озеру.

Глава XXXIII

Волчья дрема

Снова туман охватил мою лодку, а в тумане напала на меня волчья дрема.

Я то прикрывал глаза и дремал, то вдруг просыпался и озирался тревожно кругом, да не видел ничего – туман.

Туман и волчья дрема – это уже чрезмерно, слишком много оболочек для небольшого сознания. Не разобрать, где ты сам-то – в тумане ли, в волчьей ли дреме?

Я не брал весла, вполне доверяя лодке, и, подремывая, засыпая и пробуждаясь, сплавлялся по реке.

Вдруг я открыл глаза и увидел – о Боже мой! – ладьи!

Те самые старинные лодки с деревянно вытянутой шеей, лодки, названием – ладьи – увидел я. Больше я вроде не видел ничего, кроме этих длинношеих широкобедрых лодок. Взор был прикован к ним.

Конечно, краем глаза, тем особенным краем, которым видишь все, я заметил над туманом черноголовые островерхие еловые вершины, а над ними какие-то белые стены, какие-то далекие купола. Я не мог хорошенько рассмотреть стены и купола, потому что имел право глядеть на них только лишь краем глаза.

Вообще-то я люблю смотреть краем глаза. Я нарочно учился видеть все краем глаза, когда неудобно пялиться впрямую. За долгие годы я, пожалуй, развил края своих глаз неплохо.

И вот – в тумане ли, в волчьей ли дреме – краем глаза я увидел елки, а над ними – белые стены, башни, и купола, но впрямую мне были показаны ладьи.

Они стояли у причала, на который наплывал «Одуванчик».

Ладьи шевелились. Они покачивались на волне, терлись друг о друга, роняя в воду капли и щепочки. Они толкались боками, но самое нечеловеческое было то, что они вытягивали шеи.

У них вытягивались шеи, и каждая увенчана была резною главой.

Вот у первой – лебязья была голова, вот – рысья с кисточками на кончиках ушей, вот – карпья с толстой обиженной губой. На деревянных шеях склонялись головы друг к другу, шептались на ухо.

Мы приблизились. Мы проплывали от них не дальше вытянутого весла.

«Одуванчик» как-то притормозил, клюнул носом, и рысья вдруг отомкнулась губа.

– А мы тебя давно ждем, – послышался хриплый и мяукающий голос. – Бесы с Багрового озера рассказали, что ты плаваешь здесь. Нам и захотелось глянуть на самую легкую лодку в мире.

Дрогнули кисточки на кончиках ушей, сморщился лесной кошачий нос, резным зеленым глазом глядела рысь на мою лодку. К лодке были обращены ее слова. К лодке, а не ко мне.

– Легкая лодочка, легкая, – провещилась голова Лебязья. – Не соврали бесы.

– Бесы, бесы! – недовольно хрюкнула Карпья. – Заладили одно – бесы да бесы. А им, бедолагам, только и надо – веревки в воде мочить. Ты, «Одуванчик», не думай, что они рыбу ловят. Какой дурак клюнет на такой ржавый крюк? Ездют – воду мутят.

Бесов я и слушать бы не стала. На кой мне черт слушать бесов?

Тут Карпья голова затряслась раздраженно. Она чмокала толстыми губами и чуть не плевалась, вспоминая про бесов.

– Бесы да бесы... тьфу... Если б не батюшка Аверьян Степаныч, я б сюда и не приплыла. Чего мне самая легкая лодка в мире? На кой она мне? Но Аверьян Степаныч сказал: надо поглядеть, и я приплыла. Аверьян Степанычу нельзя не доверять. Сказал: надо, значит – надо. А тут как раз его уважаемая головушка прилетала рыжичков поглядеть и говорит: надо. Я и приплыла. А уж потом, конечно, Папашка подтвердил. А бесов я и слушать бы не стала, наплетут всегда с три короба.

– Очень важно, очень важно, – пропела Лебяжья девичьим голосом. – Очень важно, «Одуванчик», что ты понравился Папашке. Он ведь у нас неугомонный, осердится – беда. Вначале-то он тебе еловый клык подсунул и вовсе утопить хотел, да уж потом смягчился. Он отходчивый. А шурин-то Шурка никакой не Папашка. Он самозванец и дурак.

Карпья голова снова раздраженно захлопала губами. Глаз у нее налился кровью.

– Шурин! Вот дубина! Я его давно терпеть не могу. Только и ходит в Керосиново бутылки сдавать.

– Очень важно! Очень важно! – снова пропела Лебяжья. – Очень важно, «Одуванчик», что ты всем нравишься. И мне нравишься, такой худенький, слабенький, легонький. Только этот тип, что сидит в тебе, мне не нравится. Плотный.

– В лодках всегда кто-то сидит, – задумчиво отозвалась Рысья голова, – неважно кто, такова лодочья судьба. Лодка сама по себе, а в ней кто-то сидит. Это жизнь.

– Все-таки неприятно, когда в тебе сидит черт знает кто, – забормотала Карпья. – Как-то раз этот самый шурин-то Шурка попросил подвезти его в Керосиново, а в мешке-то у него полно бутылок. Я сдуру согласилась, поплыли, а бутылочки-то лязг-лязг, лязг-лязг. Противно было.

– Этот Плотный не лучше шурина будет, – сказала Лебяжья. – Я бы давно его выкинула и утопила.

– Пустяки, – заметила Рысья. – Утопишь, а после сядет кто-нибудь другой, еще плотнее. Да еще станет лодку веслом понукать.

– Лодка не лошадь, – каркнула Лебяжья. – Лодка сама по себе. Выкинь его, «Одуванчик», да и утопи. Сидит в тебе – только вид портит.

– А шурин-то, когда бутылки сдал, – сказала Карпья, – вздумал на обратном пути песни орать. Орал, орал, во мне-то сидючи. А после стал про каменную ногу плакать. Жалко, дескать, сиротинушку.

– Я бы эту ногу на шею ему привязала – и за борт, – сказала Лебяжья.

– Пустяки, пустяки, – вздохнула Рысья. – Впрочем, шурин и мне ужасно надоел. Жалко, нога эта очень тяжелая, до берега не дотащить.

– Да что вы все шурин да нога! Этот-то, Плотный, тоже не сахар.

– Не мед, не мед. Можно при случае и в воду.

– Очень важно, очень важно, – запела Лебяжья, – очень важно, «Одуванчик», что ты – лодка. Лодка – это самое свободное существо. Лодки свободней птиц. А у птиц вечные проблемы – кормежка, зимовки, яйца, птенцы. Я, например, никого давно уж

не пускаю садиться в себя. Сама по себе плаваю.

– Пустяки, – заметила Рысья, – можно быть свободным, даже если в тебе кто-то сидит. Сидит и пускай себе сидит. А этого, Плотного, лучше бы, конечно, утопить, да ведь неудобно. Он и придумал лодку, и построил.

– Построил? Мало ли кто чего построил?! Придумал, построил, поплавал – и конец. В воду его! Чего тянуть?

Уважительно, с достоинством проходил «Одуванчик» мимо старинных лодок. Притормаживал, кланялся. И хорошо, что не сказал ни слова, хотя имел на это полное право. А действительно, зачем самой-то легкой лодке в мире попусту болтать? Ее разговор – легкость, скорость, движение.

Плавно миновали мы причал, у которого стояли старые, тертые лодки, ушли за поворот, и скрылся лодейный берег. А все-таки не такую уж плохую построил я лодку – скромна, умна, нетороплива, верна. Господи, чего еще надо?

Вдруг я вспомнил про край глаза.

Про край-то глаза я ведь совсем забыл, а там были белые стены, башни, купола.

Я поскорее глянул на лес впрямую и не увидел ни черных елок, ни белых стен – ольха да козья ива, стога да туман над лугами.

Проворонил, проворонил, увлекся лодейной болтовней. А ведь, наверно, стены эти и купола было самое важное. В краю-то глаза всегда бывает самое важное.

Глава XXXIV

Разговор краями

Туман растекался от берегов реки, уходил по лугам на лесные поляны. «Одуванчик» плыл по течению. Он не тыкался носом в берега, обходил острова и коряги.

Я так и не трогал весла. Весло – это приказ для лодки, весло – точное направление, а откуда я сам-то знаю точное направление?

Долго мы плыли – всю ночь, а берега реки как-то особенно не изменились. Все будто то же самое – и кусты козьей ивы, и луга, и стога. И главное – солнце. Оно подымалось медленно за туманом – розовое и молочное, но вставало оно вроде бы там, куда вчера садилось.

Неужели это так? Неужели так вертится, так крутит речка Акимка? Неужели все бежит по одному и тому же лугу?

Я увидел какой-то забор на берегу, а за ним очень знакомую крышу. Шуршурина, ей-богу, шуршурина, только с другой стороны. И на эту сторону он навешал сушеных грибов да соленых окуней. Огромную петлю по лесам и лугам совершила за ночь речка и снова вернула меня к дому шурина Шуры.

Ладно, хватит с меня шуршуриных крыш. Повернусь-ка к ней боком, погляжу краем глаза. Может, пронесет? Может, не заметят?

– А я тебя давно поджидаю, – послышался голос. – Речка-то все кружит на одном месте, и ты тут обязательно должен был проплыть. Вот я и жду.

«Край глаза, – думал я, – вот важная штука. Вон в краю глаза виден художник

Орлов. Стоит себе на берегу, усы топорщит. Интересно глядеть краем глаза. Надо как-то научиться еще и говорить краями. Хватит с нас этих прямых разговоров. Будем говорить краями».

– А ты-то, наверно, и не ожидал, что река так кружит? – сказал Орлов. – Думал – уплыл навеки, а оказался на старом месте. – И Орлов засмеялся. – Что ж ты молчишь-то? – сказал он. – Небось не ожидал?

«Надо что-то ответить, – думал я, – но ответить краем. Только с какого же краю приступить к ответу?»

– Так что, ожидал или не ожидал? – повторил Орлов.

– А туман-то, парень, пожалуй, развеивается, – ответил я и почесал в затылке.

Край, за который я для начала ухватился, лежал на поверхности, в будущем надо было как-то углубляться.

– Давай-ка вот сюда. Здесь удобно пристать, песочек. Табаку вот только мало, – сказал я, – и спички отсырели.

Орлов пока не понимал, что я разговариваю с ним краями. Он забрел в воду и, когда «Одуванчик» проходил мимо, ловко ухватил лодку за нос.

– Я все-таки решил с тобой плыть, – сказал Орлов. – У шурина мне делать нечего. Не грибы же с Кларой собирать. Пускай капитан собирает. Его-то место в лодке пока свободно? Так, что ли?

– Вот только лопаты нету, – заметил я, – придется щепкой ковырять.

– Какой лопаты? – поражаясь, спросил Орлов. – Чего ковырять?

– Потому что червь для язя – первое дело, – сказал я. – Да и окунь червя уважает. Ну а язь не возьмет – так на уху всяко сорожонки надергаем.

– Так ты чего? Я не понял: берешь меня с собою или нет?

– Надо, парень, червей копать. Никуда не денешься.

Орлов замялся, не зная, как понять края моего разговора. А я краем глаза видел, что он действительно готов в плаванье. За плечами его был рюкзак, в руке – удочки, забрал, видно, у шурина свои вещички.

– Щепкой наковыряем, – сказал наконец он и, перешагнув через борт, устроился на капитанском месте.

– Долго же ты плавал, – сказал он. – Всю ночь. А я поспал и пошел тебя встречать. А вот червей накопать не догадался, у шурина-то лопата есть. Я уж точно знал, что ты покрутишься, да и назад вернешься. А если сам не захочешь, река тебя вернет. Так ты что – сам вернулся или река вернула?

– А без окуня какая же уха? Без окуня – не уха, а так – рыбный суп. А от сорожонки чего? Сладость, и все.

– Это верно. Без окуня какая же уха, – послышался на берегу голос капитана. В краю глаза, в кустах таволги маячил на берегу капитан-фотограф, рядом с ним светилось призрачное голубое пятно, которое в краю глаза пока что не умещалось.

– Вы что же это, поплыли? А нас бросили? – спросил капитан. – Мы тоже с вами.

– Куда это? – недовольно сказал Орлов. – Лодка перегружена. Вам никак не влезть.

– А мы рюкзаки на руки возьмем, – сказал капитан. – А сами на место рюкзаков сядем.

Орлов молчал. Я хотел сказать что-нибудь каким-нибудь краем, да края-то мои почти что исчерпались. Ну, одну, две фразы я бы еще мог найти, но ведь не больше.

– Так вы что же? Не согласны, что ли? Бросаете нас? – настойчиво сказал капитан.
– Если не согласны, так и скажите.

– А туман-то, парень, – сказал неожиданно Орлов. – Туман-то, пожалуй, развеялся.

Ломая кусты таволги и молочая, капитан-фотограф вылез на берег, хлюпая по воде огромными сапогами, вошел в воду, ухватил лодку за борт. Голубое и призрачное пятно потихоньку пробивалось за ним.

– Убери-ка ногу, – сказал капитан Орлову. – И эту убери, вот сюда передвигайся, сюда, сюда, на пассажирское место. Рюкзак будешь в руках держать.

Орлов молча задвигался, а капитан сопел и ковырялся в лодке у меня за спиной. Я как-то не обращал на все это внимания и даже отключил от всех этих дел края своих глаз. Я глядел на поверхность реки – не выйдет ли и вправду язь. Должен он здесь быть, должен. Вполне на вид язевая речка. Как ни крути, а уху-то варить надо.

– Снимай кеды, – командовал за спиной моей капитан. – Босиком заходи в речку, вода теплая. Ну а теперь залезай.

Колыханье, шелест за моей спиной усилились, лодка закачалась, осела в воде.

– Потонем, – сказал Орлов и ткнул меня в спину. – Пойдем ко дну, как миленькие.
– Они оба залезли.

Глубоко, очень глубоко погрузился в воду «Одуванчик». И все-таки я как-то верил, что он выдержит весь этот чудовищный груз – все эти рюкзаки, котелки, сарафаны, бороды, бахилы.

И он держался. Когда все уселись, отошел потихоньку от берега, вышел на середину. В лодке, конечно, обязательно должен кто-то сидеть, не важно, тонет она или плывет.

Капитан взмахивал веслом, обдавая нас неловкими брызгами.

– Только бы волны не было, – сказал капитан. – Для нас волна опасна.

– Какое счастливое утро, – сказала Клара. – А я никогда в жизни не плавала на лодке.

– Ты-то что молчишь? – сказал Орлов и снова ткнул меня в спину. – Потонем или доплывем?

– Конечно, язь и на майского жука берет, – ответил я. – Да только где возьмешь майского-то жука на исходе лета?